

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1977

СОДЕРЖАНИЕ

- Р. А. Б у д а г о в (Москва). Заметки о русском языке в современном мире . 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

- А. Д. Ш в е й ц е р (Москва). Философские основы американской социолингвистики 16
В. И. М а к с и м о в (Ленинград). Грамматическая теория и практика изучения языка 28
Р. К. П о т а п о в а (Москва). К типологии временной организации речи в германских языках 39
И. Р. Г а л ь п е р и н (Москва). К проблеме зависимости предложения от контекста 48

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

- Н. С. Г р и н б а у м (Кишинев). О диалектной основе языка древнегреческой хоровой лирики 56
А. А. Ю л д а ш е в (Москва). Лексикализация тюркских грамматических форм как объект словообразовательной морфологии и словаря 62
М. Я. Р а п о п о р т (Москва). Сдвиги гласных в истории нидерландского языка 74
Ю. П. К о с т ю ч е н к о (Ленинград). Значение деятеля при страдательном залоге (агенса) и творительный падеж в славянских языках 84
Г. Н. А к и м о в а (Ленинград). О некоторых особенностях поэтического синтаксиса 96
О. Д. К у з н е ц о в а (Ленинград). О причинах лексикализации в русских говорах 109
А. И. С о л о г у б (Москва). О склонении существительных женского рода единственного числа в русских говорах 115

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

- Д. К а р а м ш о е в (Душанбе). Новое в памирской филологии 126

Рецензии

- Г. Ф. О д и н ц о в (Москва). *V. Kiparsky. Russische historische Grammatik. III* 134
А. Д. Д у л и ч е н к о (Ашхабад). *L. Hadrovics. Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert* 140
Н. Г. К о м л е в (Москва). *E. Albrecht. Bestimmt die Sprache unser Weltbild?* 144
В. Л. Г е о р г и е в а (Ленинград). *И. М. Мальцева, А. И. Молотков, З. М. Петрова. Лексические новообразования в русском языке XVIII века* 148
А. А. Б р а г и н а (Москва). *Н. Б. Бахилина. История цветообозначений в русском языке* 150

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

- Хроникальные заметки 154

Р. А. БУДАГОВ

ЗАМЕТКИ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

1

Как это и ни странно, положение русского языка среди языков мира только в самое последнее время стало привлекать к себе специальное внимание исследователей. До этого лишь отдельные ученые, и прежде всего акад. М. П. Алексеев, тщательно и успешно занимались и занимаются изучением этого вопроса, весьма важного во многих отношениях¹. Гораздо больше анализировалась другая проблема, впрочем тесно связанная с языком, — проблема влияния тех или иных больших русских писателей на мировую литературу, на литературные направления в разных странах. В таком плане возникали исследования о Тургеневе и Достоевском, о Льве Толстом и Горьком, о Чехове и Шолохове и о других писателях.

Что касается русского языка и его положения среди языков мира, то до сих пор эта проблема обычно исследовалась в одном направлении: какие слова русского происхождения проникли в тот или иной иностранный язык, насколько прочно они там «обосновались», какими словарями зарегистрированы, в каких текстах и у каких писателей встречаются. Иногда речь идет не только об отдельных словах, но и об отдельных словосочетаниях. Статьи и заметки на эту тему появлялись и появляются в разных изданиях.

Спору нет. Подобное изучение слов русского происхождения в языках мира представляет большой интерес и разыскания в этом направлении следует продолжать. Однако в последующих строках я попытаюсь иначе подойти к проблеме «русский язык в современном мире», обратив внимание прежде всего на некоторые теоретические вопросы, возникающие при контакте языков вообще и при воздействии русского языка на языки мира — в частности и в особенности.

В 1896 г. В. И. Ленин, отмечая большой интерес к России у К. Маркса и Ф. Энгельса, подчеркивал, что оба они знали русский язык и читали книги на русском языке². Ленин связывал подлинный интерес к определенной стране со знанием языка ее народа. Другими словами: без знания языка (в первую очередь без умения читать книги на данном языке) трудно говорить о серьезном изучении истории и культуры (в широком смысле) народа, говорящего на этом языке. Так возникает более общий вопрос:

¹ Библиографию работ М. П. Алексеева на эту тему см. в библиографическом издании: Михаил Павлович Алексеев, М., 1972. См. также сб. «Русский язык в современном мире» под ред. Ф. Филина, В. Костомарова, Л. Скворцова (М., 1974) и специальный журнал «Русский язык за рубежом» (выходит с 1967 г.). Новейшие данные о большом интересе к русскому языку в разных странах мира приводятся в статье: Е. Г. Кузьмина, Уроки русского языка по московскому радио, «Вестник МГУ». Журналистика, 1976, 1, стр. 45—55. С 1969 г. проводятся международные конгрессы преподавателей русского языка и литературы (в 1969 г. в Москве, в 1973 г. в Варне, в 1976 г. в Варшаве). См. также сб. «Восприятие русской культуры на Западе. Очерки», Л., 1975, 278 стр.

² В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 2, стр. 13.

в какой степени интерес к России и к СССР сопровождался и сопровождается интересом к русскому языку как к первому среди других равных языков нашей страны?

В такой постановке эта проблема и старая, и новая одновременно. Старая — она уже обсуждалась, новая — она возникает всякий раз, когда речь идет о культуре и языке русского народа.

В эпоху Пушкина, в частности, велись горячие споры о том, можно ли сочинения Байрона (весьма популярные в то время) изучать по переводам или о них можно судить по-настоящему, только читая их в подлиннике³? Этот спор, разумеется, так и не был закончен, но его обсуждение в определенную эпоху весьма знаменательно: как понимать знание культуры народа (художественная литература — одна из важнейших ее частей), в какой степени подобное знание обусловлено или не обусловлено, или лишь частично обусловлено, знанием соответствующего языка? С тех пор как культуру народа научились сознательно связывать с его языком (в Западной Европе и в России — конец XVIII — начало XIX вв.), подобные вопросы рождались неоднократно.

В шестидесятых годах прошлого столетия на протяжении ряда лет в мадридском высшем учебном заведении (Ateneo de Madrid) преподавал русский язык испанцам Константин Лукич Кустодиев. Мы не знаем, как он преподавал и какими учебными пособиями пользовался, но Кустодиев был убежден, что нельзя понять современных ему русских писателей без знания русского языка. В одном из писем своему корреспонденту в Москве Кустодиев сообщал в 1869 г.: «Здесьнее ученое общество Атений, где я состою членом, пригласило меня читать лекции, громко говоря, а попросту учить русскому языку с публичной кафедры... Думаю, что не вредно, если наш язык будет знать лишний человек на Западе... Как пойдет дело..., напишу вам. Испанским языком я владею...»⁴.

Дошедшие до нас письма Кустодиева показывают, что в Мадриде ему была предоставлена возможность «свободы выбора»: либо читать лекции о русских писателях (в частности, о Пушкине, Гоголе и Тургеневе), либо преподавать русский язык. Весьма знаменательно, что Кустодиев начинает с языка. Даже в сознании мало кому известного скромного чиновника шестидесятых годов прошлого столетия ясно вырисовывался путь: от знания языка к знакомству с культурой, в частности — к знакомству с великими художественными произведениями, созданными на данном языке.

Не говоря даже о том, что перевод (в том числе и отличный) не равен оригиналу, в особенности, если речь идет о больших писателях, следует учитывать и состояние переводческого «дела» в определенной стране и в определенную эпоху.

Когда в 1854 г. Э. Шаррьер впервые перевел на французский язык «Записки охотника» Тургенева, то в переводе книга называлась «Воспоминания русского дворянина, или картины современной жизни дворянства и крестьян в русских провинциях»⁵. Произвольные переводы выходили не только в прошлом веке. Они появляются и в нашем столетии. В двадцатых годах, в частности, очень вольно переводились на испанский язык

³ В. М. Ж и р м у н с к и й, Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы, М., 1924, стр. 34 и сл.; О. Х о л м с к а я, Пушкин и переводческие дискуссии пушкинской поры, сб. «Мастерство перевода. 1962», М., 1963, стр. 305—320.

⁴ М. П. А л е к с е е в, Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX веков, Л., 1964, стр. 211. О русских «темах» в испанской литературе см.: Н. И. Б а л а ш о в, Испанская классическая драма в сравнительно-литературном и текстологическом аспектах, М., 1975, стр. 7 и сл.

⁵ См. послесловие И. А. Лилеевой к кн.: П р о с п е р М е р и м е, Статьи о русских писателях, М., 1958, стр. 85.

многие русские классические произведения. В Испании и Латинской Америке «Отцы и дети» Тургенева долго были известны под названием «Нигилист», а «Бедные люди» Достоевского — под названием «Тайные трагедии» («Tragedias oscuras») ⁶. При сличении подобных «переводов» легко обнаружить, что искажались при этом не только названия произведений, но — это еще серьезнее! — и текст самих сочинений. Переводчиками русских повестей и романов нередко оказывались люди, плохо владевшие русским языком.

Разумеется, когда за переводы брались не случайные лица, а подлинники мастера своего дела, результат оказывался совсем иным. Как известно, почти параллельно с Шаррьером русских писателей переводил на французский язык и П. Мериме. Если в первом случае наблюдалось невнимательное отношение к русскому тексту, то во втором — пристальное и глубокое внимание к тексту. Переводя «Пиковую даму» Пушкина, Мериме неточно передал одно из предложений на французский язык. Впоследствии, когда обратили его внимание на ошибку, писатель очень огорчился. У Пушкина: «Томский закурил, затянулся и продолжал». Мериме не понял значения *затянулся* и передал текст иначе: «Томский закурил, *затянул кушак* и продолжал» ⁷.

Таким образом, когда речь идет о том, в каком соотношении находятся два фактора — знание языка подлинника и искусство перевода, — то ответ на этот вопрос находится в прямой зависимости не только от степени знания языка оригинала, как обычно считают, но в еще большей степени от чувства социальной ответственности переводчика. Одного первого условия недостаточно. Можно хорошо знать язык оригинала и переводить все же плохо: если речь идет о переводе художественного произведения, то, как известно, необходимо еще и литературное дарование (переводчик знакомит свою страну с культурой другой страны), если же речь идет о «деловом тексте», то, как минимум, необходимо чувство ответственности (в обоих случаях, разумеется, и хорошее знание языка оригинала).

С этой точки зрения история переводов на различные языки, прежде всего на наиболее распространенные языки народов мира, великих русских художественных произведений XIX—XX вв., к сожалению, еще никем не написана.

Разумеется, когда укрепляется искусство «точного перевода», тогда знание литературы может «обгонять» знание языка. Так, например, современные переводы сочинений Достоевского, Льва Толстого, Горького на языки мира, конечно, «обгоняют» знание русского языка в соответствующих странах. Но этот вопрос не решается так просто, как кажется с первого взгляда. Многое здесь зависит от взаимодействия культур. Так, например, проблема перевода французских писателей в России в начале XIX в. не стояла так остро, как, например, проблема перевода Гомера: французский язык был достаточно широко распространен среди русской читающей публики того времени, а древнегреческий язык был и остается доступным лишь небольшой группе специалистов. Поэтому проблема «русского текста Вольтера» в эпоху Пушкина не стояла так остро, как проблема «русского текста Гомера» ⁸.

Следует всегда помнить о большой социальной роли хороших переводов. А. Брандль, характеризуя давно уже ставший классическим полный перевод на немецкий язык сочинений Шекспира, выполненный в начале

⁶ В. В. Рахманов, Русская литература в Испании, сб. «Язык и литература», 5, Л., 1930, стр. 329 и сл.

⁷ «Временник Пушкинской комиссии», 4—5, М., 1939, стр. 342.

⁸ Специально о переводах Гомера: А. Н. Егунцов, Гомер в русских переводах XVIII—XIX веков, М.—Л., 1964, стр. 3 и сл.

прошлого столетия А. Шлегелем и Л. Тиком, подчеркивал, что переводчики настолько прояснили все темные места Шекспира, что изучать тексты английского драматурга без учета этого перевода теперь невозможно⁹. По-видимому, нечто подобное можно сказать и о некоторых русских переводах Шекспира, выполненных М. Лозинским, М. Кузминым, Б. Пастернаком, о русском тексте новелл Боккаччо, созданном акад. А. Н. Веселовским¹⁰.

И все же взаимоотношения между художественным переводом, степенью владения языком оригинала и дарованием переводчика остаются и в наше время весьма сложными. В 1949 г. в ГДР был объявлен конкурс на лучший новый перевод знаменитого «письма» Татьяны к Онегину из «романа в стихах» Пушкина. Как отмечалось в оповещении об этом конкурсе, существующие переводы «не достигают крылатой легкости пушкинского стиха, яркости оригинала, своеобразия его ритма, необычайной образной силы, выразительной меткости». Итог конкурса оказался все же печальным. Жюри рассмотрело 241 представленный перевод, но не сочло возможным ни один из них отметить первой премией¹¹.

Как это и ни парадоксально с первого взгляда, удельный вес переводов с одного языка на другой не всегда находится в прямо пропорциональном отношении к степени знания того или иного иностранного языка в данной стране. Подобное отношение может быть и обратно пропорциональным. Так, например, высокая степень знания русского языка в таких странах, как Болгария или Польша, может соответственно уменьшать степень необходимости тех или иных переводов. Лев Толстой и Максим Горький издаются в Болгарии и Польше не только в переводах на болгарский и польский языки, но и в русских оригиналах. Подобно этому и у нас в стране Диккенс или Бальзак, например, публикуются не только в русских переводах, но и в оригинале, соответственно на английском и французском языках.

Зависимость между степенью знания языка и широтой распространения переводов с этого же языка может быть разной и далеко не всегда односложной. Если до сих пор переводы с русского языка (не только художественной, но и научной литературы) обычно редко вызывали интерес к изучению самого русского языка, то в последние десятилетия первый процесс стал усиливать второй процесс. Казалось бы хорошие современные переводы должны были уменьшить интерес к русскому языку как таковому («я могу читать Толстого и Горького, Плеханова и Ленина в переводах на мой родной язык»). Между тем в действительности очень часто сейчас наблюдается другое: познакомившись с Толстым или Горьким в переводе, читатели начинают понимать, как важно знать язык того народа, представители которого создают такие произведения.

Здесь возникает и другая теоретическая проблема. Справедливо подчеркивая специфику подлинно художественных произведений, отмечая, что она «...отнюдь не сводится к особенностям тех или иных языков, на

⁹ A. B r a n d l, Shakespeare and Germany, London, 1913, стр. 11.

¹⁰ См. об этом мою статью «Академик А. Н. Веселовский как переводчик Боккаччо», ИАН ОЛЯ, 1958, 4, стр. 343—353.

¹¹ М. П. А л е к с е е в, «Евгений Онегин» на языках мира, сб. «Мастерство перевода», М., 1965, стр. 283. Роль хороших переводов в знакомстве с культурой того или иного народа высоко ценили многие выдающиеся писатели. В 1877 г. И. С. Тургенев перевел на русский язык две повеллы своего друга Г. Флобера. В письме к М. М. Стасюлевичу Тургенев так отзывался о своем переводе: «Изю всей моей литературной карьеры я ни на что не гляжу с большей гордостью, как на этот перевод. Это был tout de force заставить русский язык схватиться с французским и не остаться побежденным» (см. об этом: М. К л е м а н, И. С. Тургенев — переводчик Г. Флобера, в кн.: Г. Ф л о б е р, Собр. соч. в десяти томах, 5, М.—Л., 1934, стр. 143).

которых произведения созданы», М. Б. Храпченко делает, на мой взгляд, не вполне правомерный вывод: «Толстой на разных языках остается Толстым»¹². Между тем русский текст, например, «Войны и мира» все же во многом отличается даже от превосходных переводов этого романа на английский или японский языки. Я уже не говорю о стихах великих поэтов: Пушкин и Маяковский сохраняют огромную силу воздействия прежде всего на русском языке, а переводчики могут лишь стремиться в той или иной степени передать своим читателям часть подобной силы воздействия. Именно поэтому произведения великих русских писателей переводятся не один раз на тот или иной национальный язык, подобно тому, как и у нас появляются все новые и новые переводы на русский язык сочинений Данте или Шекспира, Гюго или Гете. Этим, в частности, определяется огромная роль хороших переводов в истории культуры разных народов. Нельзя при этом забывать и о роли языка в общении между народами¹³.

Перед исследователями русского языка возникает новая задача. Необходимо показать, как интерес к русской художественной и научной литературе, интерес к советской стране в целом, повышается и интерес к русскому языку, к его изучению в различных странах мира.

2

Не менее важная проблема может быть сформулирована так: когда, в какие эпохи, интерес к русскому языку за рубежом повышался и в какие эпохи понижался. В наше время интерес к русскому языку как к первому языку Страны Советов велик во многих странах. И это понятно. Но как обстояло дело в прошлом? Почему подобный интерес в истории может быть охарактеризован как бы «волновой теорией»: то он усиливался, то ослаблялся?

В Англии, например, стремление изучить русский язык оказалось велико уже в XVI—XVII столетиях. Сама королева Елизавета была не прочь говорить по-русски. Но этот интерес определялся прежде всего коммерческими соображениями: в то время Англия вела выгодную для себя торговлю с Россией¹⁴. Вместе с тем возникшее в Англии внимание к русскому языку имело важные последствия и для самого русского языка, для его истории. В 1619—1620 гг. Р. Джемс создает свой «Русско-английский словарь» («Dictionariolum Russico-Anglicum»), а в 1696 г. была обнаружена на латинском языке «Русская грамматика» («Grammatica Russica»), принадлежащая перу Г. Лудольфа. Эта грамматика сыграла важную роль не только в истории изучения русского языка за рубежом, но и в истории различных опытов описания русского языка в ту эпоху¹⁵.

¹² М. Б. Храпченко, Семиотика и художественное творчество, «Вопросы литературы», 1971, 9, стр. 74—75.

¹³ А. В. Чичерин, Иден и стиль, М., 1968 (особенно глава «Содержательность поэтической формы»). О трудностях воссоздания «русского текста» Шекспира см., в частности: А. А. Смирнов, Из истории западноевропейской литературы, М.—Л., 1965, стр. 209—218. Еще в двадцатые годы специалисты отмечали, что перевод индийских Вед на любой европейский язык требует от переводчика не только понимания «кусков» текста, но и умения так или иначе его интерпретировать в целом (Р. О. Шор, Ведийские заметки. К вопросу о принципах ведийской интерпретации, «Уч. зап. Росийской Ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук», I, М., 1927, стр. 110—115).

¹⁴ М. П. Алексеев, Английский язык в России и русский язык в Англии, «Уч. зап. ЛГУ», Серия филол. наук, 9, 1944, стр. 77 и сл.

¹⁵ Генрих Вильгельм Лудольф, Русская грамматика, Оксфорд, 1696, переизд., перевод, вступ. статья и примеч. Б. А. Ларина, Л., 1937. См. также: «Парижский словарь московитов», Париж, 1586, перевод, исследование и комментарии Б. А. Ларина, Рига, 1948.

В следующем, XVIII столетии в Англии наблюдается падение внимания к русскому языку. В начале XIX в. ситуация немного изменяется. Известную роль в распространении сведений о русском языке и русской литературе не только в Англии, но и в Америке сыграла антология русской поэзии в переводе Д. Боуринга, вышедшая в 1821 г. в Лондоне, а затем, через год, переизданная в Бостоне. Книга содержала переводы из произведений М. Ломоносова, Н. Карамзина, Г. Державина, В. Жуковского, И. Крылова, К. Батюшкова, И. Богдановича и других. В предисловии к своей антологии Д. Боуринг писал о русском языке, как о «языке гармоничном, полном ритма, разнообразном по звучанию и обладающем всеми необходимыми поэтическими достоинствами». Составитель книги называл «русский язык одним из наиболее богатых, если не самым богатым языком Европы»¹⁶.

Затем интерес к русскому языку в Англии вновь уменьшается, а с конца прошлого столетия резко увеличивается. Этому увеличению интереса способствовали английские переводы сочинений Достоевского, Льва Толстого, Горького. Произведения Пушкина, Лермонтова и Гоголя не вызвали процесса, аналогичного тому, который позднее возник в Англии в связи с публикацией английских переводов русских классиков второй половины минувшего столетия. Сочинения этих авторов затрагивали еще более широкий круг «общечеловеческих проблем» даже сравнительно с творчеством Пушкина и Гоголя.

Хочу подчеркнуть важность изучения вопроса, условно названного здесь «теорией волн». Необходимо установить социально-исторические причины роста интереса к русскому языку в одну эпоху и в одной стране и причины спада подобного интереса в другую эпоху и в другой стране («теория волн»). Простой ссылкой на торговые или культурные интересы (хотя они, разумеется, тоже существенны) здесь обойтись нельзя. Возникают добавочные вопросы: какие именно практические и культурные интересы вызывали и вызывают внимание к русскому языку, как подобные интересы претомляются в обществе, в среде его различных классов в одну эпоху и как — в другую эпоху?

Здесь же закономерен и иной вопрос — восприятие особенностей русского языка с позиции родного языка. В той же Англии, в минувшем столетии, русский язык воспринимался людьми, его в той или иной степени знавшими, как язык, который будто бы требует особо четкой артикуляции каждого слова. В противном случае, без соблюдения этого условия, русский язык «на слух» понять очень трудно. Так, в частности, думал В. Рольстон (1828—1889), автор ряда учебников русского языка и его страстный пропагандист¹⁷. Любопытно, что совершенно независимо от Рольстона и на пятьдесят лет раньше его, примерно об этом же писала госпожа Сталь в своей книге «Десятилетнее изгнание», впервые посмертно опубликованной в 1821 г. Недолго побывав в России в период своего изгнания из Франции, Сталь, отдавая должное «приятности и звучности русского языка», вместе с тем подчеркивала: «В русском языке есть что-то металлическое, слышатся словно удары по меди». Она же связывала возможность понять звучащую русскую речь с отчетливой артикуляцией каждого отдельного слова¹⁸.

¹⁶ Н. Н. Болховитинов, Русско-американские отношения 1815—1832 годов, М., 1975, стр. 625. См. интересную рецензию Б. Марушкина на эту монографию: «Новый мир», 1976, 3, стр. 279—282.

¹⁷ О В. Рольстоне как популяризаторе русского языка и русской литературы в Англии см.: А. А. Фет, Мои воспоминания, II, М., 1899, стр. 215—216.

¹⁸ «Литературное наследство», 33—34, М., 1939, стр. 271. Ср. также материалы в статье: М. Г. Долобоко, Юрий Крижанич о русском языке, сб. «Советское языкознание», 3, Л., 1937, стр. 7 и сл.

Любопытно, что в сознании представителей двух разных языков, английского и французского, русский язык воспринимался одинаково как язык, будто бы требующий особо четкой артикуляции каждого слова. С этим согласуется и мнение Байрона, который в своем «Дон Жуане» (песнь 7, строфа 15), говоря о трудности усвоения русского языка, подчеркивал специфическое для него (как казалось поэту) скопление согласных. Чтобы преодолеть подобную трудность, четкая артикуляция могла прийти на помощь¹⁹.

Впрочем здесь многое зависело и от того, какие языки между собой сравнивались. Когда композитор Ш. Гуно сопоставлял французский текст либретто своего «Фауста» с итальянским переводом этого текста, то Гуно отдавал предпочтение оригиналу. Композитору казалось, что слишком большое скопление гласных в тексте, звучащем на итальянском языке, сравнительно с гласными текста, звучащего по-французски, мешает восприятию музыки. Но мысли Гуно, язык не должен «перезвывать» функцию музыки: музыкальность — свойство прежде всего музыки, а не языка. Итальянский язык своими гласными звуками как бы нарушает подобное распределение функций между языком и музыкой и тем самым усложняет проблему²⁰. Как видим, понятие «музыкальности языка» и ассоциация этого понятия с количеством звучащих гласных во многом зависела от того, какие языки между собой сравнивались и кто проводил подобное сравнение. Все это подчеркивает и з м е н ч и в о с т ь к р и т е р и е в о ц е н к и сопоставляемых языков, когда подобное сопоставление ведется на основе чисто субъективного восприятия.

Любопытно, что если англичане долго воспринимали русский язык как язык «наполненный согласными» и поэтому требующий особо четкой артикуляции, то многим русским людям английский язык казался «свистящим». Грибоедов («Горе от ума», IV, 4), характеризую великосветского англомана князя Григория, замечает: «И так же он сквозь зубы говорит». Гоголь в «Мертвых душах» (I, гл. 8), сопоставляя разные языки, сравнивает английское произношение с «присвистыванием по птичьему», а уже в нашем веке поэт О. Мандельштам («Камень», Пг., 1916) вновь возвращается к аналогичной ассоциации: «Когда пронзительнее свиста Я слышу английский язык...».

Подобные представления о том или ином языке складываются в обществе, где обычно плохо владеют данным языком. Когда им владеют хорошо или сравнительно хорошо, тогда не возникают никакие «птички» или подобные им ассоциации. Любопытно, что с французским языком, который был гораздо шире распространен в минувшем столетии среди определенных социальных групп русского общества, никаких «странных» сопоставлений с птицами или животными обычно не возникало. То же нужно сказать и о русском языке в зарубежных странах. Лишь там, где русский язык представлялся языком «экзотическим», его артикуляции казались странными, требующими особых усилий со стороны говорящих.

Подобная зависимость между степенью знания языка в обществе и его кажущейся «экзотичностью» («странностью») является общим законом. Для современного исследователя этот вопрос представляет большой интерес: как за пределами науки о языке осмысливается один язык с позиции другого, обычно родного для самих «ценителей» языка?

¹⁹ «And Tschitshakoff, and Roguenoff, and Chokenoff, And others of twelve consonants apiece».

²⁰ М. Г ю и о, Искусство с социологической точки зрения, СПб., 1891, стр. 125. См. также сб. «Литература и музыка», под ред. Б. Г. Реизова, Л., 1975.

Теперь я попытаюсь подойти к проблеме, которая должна быть центральной в большой теме о русском языке за рубежом, о воздействии русского языка на языки мира.

Как только что отмечалось, эту тему нельзя сводить к перечню отдельных русских слов (к тому же часто «экзотических»), проникших в те или иные языки. Хотя сами по себе подобные перечни полезны и любопытны, однако гораздо важнее другое: многие интернациональные слова на русской «почве» получали и получают новое значение и в этом новом значении оказывают обратное воздействие на разные языки. Многие слова и словосочетания, не русские по происхождению, оказываются в дальнейшем как бы русскими по своей семантике, по характеру функционирования в том или ином языке. К сожалению, в этом важнейшем направлении проблема остается все еще очень малоизученной. Проиллюстрирую сказанное пока только одним примером.

Французское слово *avant-garde* в самом французском языке долгое время имело только специальное, военное значение («часть войск, находящаяся впереди главных сил»). Слово не употреблялось в переносном смысле. Лучшие словари французского языка вплоть до середины нашего столетия никаких переносных значений к слову *avant-garde* не дают. Между тем в русском языке в 40—60-е годы минувшего века слово *авангард* могло уже иметь не только военное значение, но и переносное осмысление («передовой отряд какой-либо общественной группы») ²¹. Следующий шаг по пути переносного осмысления слово *авангард* претерпевает в советскую эпоху: «передовая общественная группа», «передовой класс общества» ²². В переносном осмыслении *авангард* уже не соприкасается не только с военным значением, но и с понятием отряда. Под влиянием этих новых осмыслений *авангарда* в русском языке позднее возникают аналогичные осмысления *авангарда* и в европейских языках. Так, в первом томе большого толкового словаря французского языка Робера (1957) читаем: «1) передовой воинский отряд..., 2) в фигуральном смысле — движение, играющее или претендующее на то, чтобы играть ведущую роль в той или иной области, например, *авангард литературы*» ²³.

Здесь, хотя еще и не очень охотно («претендующее...»), уже признается переносное осмысление самого слова *авангард*. Аналогичную картину можно обнаружить и в других европейских языках, в частности, в английском и испанском. Что касается языков стран народной демократии, то переносное осмысление *авангарда* у них широко представлено.

Любопытно, что в одних европейских языках слово *авангард* в переносном осмыслении дальше «отрывается» от искомого военного значения и приобретает общее значение «чего-то передового» (обычно в общественном смысле). В других же языках, даже в переносном осмыслении, реминисценция «отряда» все еще сохраняется (например, «передовой *отряд* литературного движения»).

Итак, *авангард* в русском языке — заимствованное имя существительное. Однако это заимствованное слово, по-своему осмысленное в русском языке, в свою очередь оказало и оказывает в наше время семантическое воздействие на функционирование существительного *авангард* в других, самых разнообразных языках. Роль русского языка в росте переносных

²¹ Ю. А. Белычиков, Интернациональная терминология в русском языке, М., 1959, стр. 30.

²² «Толковый словарь русского языка», под ред. Д. Н. Ушакова, I, М., 1934, стр. 6.

²³ P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, I, Paris, 1957, стр. 357. В однотомном «Petit Larousse» 1974 г. переносное значение *авангарда* поясняется — «то, что обгоняет свою эпоху: *идеи авангарда* (les idées d'avant-garde)».

осмыслений *авангарда* оказалась решающей, так как именно в русском языке этот процесс произошел гораздо раньше, чем в западноевропейских языках.

Вообще переносное значение *авангарда* в современном русском языке встречается чаще его первоначального военного значения. Что касается образованных от него прилагательных, то одно из них интерпретируется положительно (*авангардный*), а другое — обычно отрицательно (*авангардистский*, ср., например, *авангардистские фокусы искусства*)²⁴.

К сожалению, вопрос о том, как заимствованные из других языков слова, словосочетания, идиоматические выражения, пословицы и т. д. начинают жить самостоятельно в русском языке и даже (обычно в переосмысленной функции) оказывать воздействие на другие языки мира, остается все еще почти совсем не исследованным.

Имея в виду своеобразную адаптацию иностранных слов и выражений, шире — тем и сюжетов, В. А. Жуковский в 1847 г., подводя итоги своей деятельности, писал Н. В. Гоголю: «У меня почти всё чужое... и всё, однако, мое»²⁵. Жуковский считал, что даже заимствованным из европейских языков словам и выражениям (не говоря уже о темах и сюжетах) он умел придать национальный колорит и своеобразную окраску. То же мог бы о себе сказать и Лев Толстой. Хотя в его «Войне и мире» целые диалоги ведутся на французском языке, тем не менее именно этот роман писателя сыграл выдающуюся роль в развитии языка русской художественной прозы второй половины прошедшего столетия.

Поэтому нельзя не удивляться, что проблема заимствованных в русском языке слов и выражений до сих пор изучалась односторонне, как проблема одностороннего влияния, без раскрытия процесса о б р а т н о г о в о з д е й с т в и я переосмысленных в русском языке слов и выражений (в их новой функции) на языки различных народов мира. Постараемся, здесь неизбежно бегло, хотя бы обратить общее внимание именно на этот процесс, неразрывно связанный с самим фактом взаимодействия культур и языков различных народов²⁶.

3

Зарубежные знатоки русского языка и русской литературы уже в прошлом столетии отмечали, что в центре русской культуры всегда находился человек и писатели умели изображать окружающий их мир с позиций человека, с позиций гуманизма. Француз Е. Эннекен, хорошо знавший русскую литературу минувшего века, писал, в частности, об И. С. Тургеневе: «Его книги никогда не жестки по отношению к человеку. К сожалению, этого нельзя сказать о лучших французских писателях»²⁷. Говоря далее о Льве Толстом, Эннекен отмечал любовь писателя не к «природе вообще», а к природе, тесно связанной с самой жизнью людей, с их трудом и отдыхом. Исследователь вспоминает фразу писателя из «Анны Карениной», относящуюся к Левину: «Константин Левин не любил говорить и

1 / ²⁴ О современных значениях слова *avant-garde* во французском языке см.: З. Н. К о з л о в а, Семантическая структура некоторых слов общего происхождения во французском и русском языках, «Вестник МГУ». Филология, 1967, 6, стр. 89—90.

²⁵ В. А. Ж у к о в с к и й, Собр. соч., IV, М.—Л., 1960, стр. 544.

²⁶ Заимствованные слова как проблема культурно-историческая — весьма обширная тема. Фундаментальное исследование немецкого филолога Ф. Зайлера (F. Seiler), *Die Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts*, Halle) вышло в конце прошлого века в двух томах, затем, позднее, — в четырех томах, еще позднее — в восьми томах. См. также двухтомную работу: Т. Е. Н о р е, *Lexical borrowing in the Romance languages*, Oxford, 1971.

²⁷ Е. Н e n n e q u i n, *Ecrivains français*, Paris, 1889, стр. 108.

слушать про красоту природы. Слова снимали для него красоту с того, что он видел»²⁸.

Подобную человечность русской культуры понимали не только отдельные иностранные исследователи, но прежде всего сами русские, создатели этой культуры. Как мне представляется, подобная человечность обнаруживалась не только в русской литературе, но и в русском языке, прежде всего в его лексике. В «Войне и мире» Толстого имеется такой эпизод. Накануне Бородинской битвы Пьер Безухов спрашивает одного из офицеров русской армии, как называется деревня, которая виднеется впереди. Офицер отвечает *Бурдино* и тут же поправляется — *Бородино*. Этим эпизодом Толстой как бы подчеркивает, что не «вещи» сами по себе (деревни, города, «предметы» в широком смысле) красят людей, а люди, их труд, их ум, их вдохновение, их бесстрашие делают «вещи» бессмертными. Бессмертным оказалось и название никому дотоле неизвестной деревни *Бородино*²⁹.

Уже семантика слова *авангард* показала, как именно на русской почве это слово стало «отрываться» от чисто военного значения и приобретать общегражданское (человеческое) значение. То же можно сказать о таких словах, например, как *прогресс* и *регресс*. Хотя в 1858 г. Александр Второй пытался наложить запрет на употребление слова *прогресс* в официальных бумагах, тем не менее это слово продолжало широко употребляться. Как показал В. В. Веселитский, уже с сороковых годов минувшего столетия у представителей передовой русской мысли слово *прогресс* получило революционное осмысление: движение общества вперед, движение человеческого знания. У Белинского: «Только в ходе человеческой мысли заключается *прогресс*»³⁰. Как ни старались консервативные «ревнители русского языка» изгнать существительное *прогресс*, как будто бы ненужное иностранное слово, из русского языка, оно именно на русской почве быстро стало получать передовое общественное значение. В шестидесятых годах прошлого века *прогресс* получает исключительно широкое распространение и начинает противопоставляться *регрессу*.

Еще более интересно в этом отношении существительное *интеллигенция*, иноземное по своему происхождению и чисто русское по своему значению. В русском языке оно появляется в самом конце шестидесятых годов минувшего столетия, но его еще нет ни у Добролюбова, ни у Писарева, ни даже у Чернышевского³¹. История слова *интеллигенция* особенно интересна тем, что перипетии его семантического движения на протяжении свыше ста лет (с 1869 г. до наших дней) не только не находились под западным воздействием, но сами оказывали воздействие на слова того же этимологического источника во многих европейских языках. Больше того. Слово *интеллигенция* настолько оказалось русским по своей семантике, что часто переводится на европейские языки как бы в русской огласовке — *intelligentsia*. Уже в 1934 г. критик Д. П. Мирский, хорошо знавший Англию, опубликовал книгу под названием «Интеллидженсия», в которой сообщал, в частности, какое сильное воздействие оказывало понятие «советской интеллигенции» на развитие европейской социальной терминологии. И уже в наше время об этом же сообщает французский прогрессив-

²⁸ Там же, стр. 128.

²⁹ Ср.: Н. Я. Берковский, О мировом значении русской литературы, Л., 1975, стр. 25.

³⁰ В. В. Веселитский, Развитие отвлеченной лексики в русском литературном языке первой трети XIX века, М., 1964, стр. 64—65.

³¹ См. материалы в книге: Ю. С. Сорокин, Развитие словарного состава русского литературного языка 30—90-х годов XIX века, М.—Л., 1965, стр. 144—148.

ный философский журнал «La pensée», повествуя о русском слове *intelligentsia* и о его влиянии на французскую социальную терминологию³².

В русском языке слово *интеллигенция* не сразу, разумеется, получает современное значение. В течение долгого времени оно означало «образованный класс общества», затем «мыслящая часть общества», позднее «работники умственного труда». В настоящее время эти значения могут сосуществовать в самом слове, выступая в разных контекстах с разными значениями, чаще же — с разными оттенками одного значения. Ср., например, *передовая русская интеллигенция* (в прошлом), *советская народная интеллигенция* (в настоящем). Особенно широко это слово стало употребляться у нас уже в советскую эпоху и в этом своем значении («работники умственного труда») воздействовать на соответствующие слова в европейских языках. Несомненно, что новое значение *интеллигенции* укрепилось под воздействием марксистско-ленинского понимания общества, его классов и социальных групп, весьма различных в разные исторические эпохи.

Свой путь развития в русском языке проходили и те слова, которые, будучи русскими по своему происхождению, вместе с тем ассоциировались со многими европейскими словами.

Слово *личность* было известно в русском языке уже в XVIII в. Но еще в 1847 г. академический «Словарь церковнославянского и русского языка» определял это слово так: «1) Отношение одного лица к другому. Никакая *личность* не должна быть терпима на службе. 2) Колкий отзыв на чей-либо отчет, оскорбление. Не должно употреблять *личности*». Как видим, существительное *личность* было еще далеко от своего современного значения. Поэтому, когда Белинский в эти же годы стал употреблять слово *личность* в новом значении («индивидуальность»), он связывал это значение с семантикой французского *personnalité*³³. Вся последующая история слова *личность* в русском языке развивалась, однако, независимо от европейских эквивалентов латинского слова *persona* и его производных.

На развитие семантики *личности* в русском языке повлияли такие события, как оживленные споры во второй половине прошлого столетия о роли *личности* в истории (работы П. Л. Лаврова и др.), а в конце этого же века — новое, марксистское истолкование подобной же роли *личности* (в частности, в знаменитой работе Г. В. Плеханова «О роли *личности* в истории»). Так постепенно складывались условия для новой семантики слова *личность* — «человек как определенная индивидуальность; человек как член определенного общества». Существительное *личность*, казалось бы навеянное иноземными источниками, получило свой путь развития в русском языке. Разумеется, и сейчас можно говорить о взаимодействии различных форм европейского слова *persona* и русского слова *личность*, но именно о взаимодействии, а не об одностороннем влиянии западных форм на русскую³⁴.

То же можно заметить и о многих десятках других слов самого различного происхождения. *Политический* и *социальный*, *идеология* и *философия*, *социализм* и *коммунизм*, *планировать* и *рационализировать* — эти, как и подобные им слова, именно на русской почве получили дальнейшее развитие. Впервые получив научное обоснование в работах Маркса и Энгель-

³² «La pensée», Paris, 1975, 179, стр. 119.

³³ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., под ред. С. А. Венгерова, IX, СПб., 1915, стр. 227; В. В. Виноградов, Из истории слова *личность* в русском языке до середины XIX века, «Докл. и сообщ. филол. фак-та МГУ», 1, 1946, стр. 10—12.

³⁴ В современном русском языке *персона* имеет либо ироническое значение (ну и *персона!*), либо специальное (обед на десять *персон*).

са, подобные слова уже в их «русском облике» стали воздействовать на лексику языков мира³⁵. Я уже не говорю здесь о так называемой безэквивалентной лексике, которая обычно не переводится на другие языки. Вот лишь немногие, самые различные иллюстрации: *комсомолец* и *стахановец*, *самодетальность* и *массовка*, *субботник* и *капустник*, *народный театр* и *народные таланты*, *общественная нагрузка* и *наказ избирателей* и т. д. Уже В. И. Ленин отмечал: «Наше русское слово „Совет“ — одно из самых распространенных, оно даже не переводится на другие языки, а везде приносится по-русски»³⁶.

Таким образом, проблема взаимодействия лексики русского языка и лексики других языков, даже в тех случаях, когда отдельные слова оказывались в русском языке этимологически заимствованными, — это действительно проблема взаимного воздействия друг на друга языков мира. При этом своеобразии развития русской культуры в прошлом и, особенно, после Октябрьской Социалистической революции привело и до сих пор приводит к весьма специфическому, гуманистическому влиянию русского языка, и прежде всего его лексики, на лексику различных языков мира. Здесь давались иллюстрации из европейских языков, но сказанное относится и к другим, самым несходным языкам.

Мировой язык — термин, теперь ставший неточным. В наше время он все больше и больше ассоциируется с понятием об искусственном языке, об искусственной языковой системе. Участь русского языка — совсем иная. Он существует, как и другие национальные языки, и будет существовать совершенно независимо от опытов построения подобных искусственных «систем». Судьба русского языка всегда связана с людьми, с их культурой, с их прошлой и с их будущей историей.

24 августа 1976 г. на страницах газеты «Правда» было опубликовано приветствие Л. И. Брежнева «Участникам III Международного конгресса преподавателей русского языка и литературы в Варшаве», в котором особо подчеркнута роль русского языка в современном мире, в общении между народами, во взаимопонимании и в сотрудничестве между ними. «Именно поэтому, — читаем мы здесь, — русский язык приобретает все больший авторитет на международной арене и вызывает желание овладеть им у миллионов людей планеты».

Изучение процесса возникновения и развития интереса к русскому языку в разных странах мира не имеет, разумеется, ничего общего с «навязыванием» русского языка другим народам мира, как это иногда стали утверждать в последние годы наши недруги. Каждый народ должен беречь и совершенствовать прежде всего свой родной язык — национальное и бесценное достояние. Вместе с тем (и здесь нет никакого противоречия) и в прошлые времена, и, особенно, в нашу эпоху, в эпоху интенсивного общения между народами, углубляется интерес к различным языкам мирового значения, к языкам-носителям великих культур. В старой России и, особенно, в СССР всегда наблюдалось и наблюдается стремление изучать такие языки, как французский и английский, немецкий и испанский, китайский и японский, как и многие, многие другие. В свою очередь быстро увеличивается желание у многих народов мира овладеть русским языком. Именно об этом и шла речь в предшествующих строках. О «навя-

³⁵ Попытка показать специфику русских осмыслении таких интернациональных слов, как *техника*, *машина*, *натура*, *культура*, *цивилизация*, *талант*, *гений*, *драма*, *комедия*, *романтизм*, *гуманность*, *ирония* и некоторых других, была сделана мною в книге: «История слов в истории общества», М., 1971.

³⁶ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 40, стр. 204—205. В 1825 г. Пушкин проинкновенно заметил: «Чужой язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством» (Полн. собр. соч., изд. АН СССР, XI, стр. 32).

звании» здесь могут говорить лишь явно невежественные (чтобы не сказать большего) люди.

Итак, проблема русского языка среди языков мира — это не только 1) проблема проникновения иностранных слов в русский язык и русских слов — в другие языки, но и 2) проблема обратного воздействия интернациональных слов, получивших на «русской почве» новое осмысление, на языки народов мира, 3) проблема исторической периодизации интереса к русскому языку в разные эпохи и в разных странах, 4) проблема неодинаковой оценки, неодинакового осмысления особенностей русского языка (не только его лексики, но и его фонетики и грамматики) с позиции носителей других, самых различных языков, 5) проблема сложных и не всегда прямых отношений к русскому языку за рубежом в связи с многочисленными переводами русских художественных произведений на языки народов мира, 6) проблема гуманистической основы той части русской лексики, которая оказалась в самой прямой связи с историей развития русской культуры, с историей советского общества. И это только некоторые из проблем, возникающих при исследовании «русского языка среди языков мира»³⁷.

При изучении проблемы взаимодействия языков мира советские лингвисты, тщательно анализируя западноевропейские и американские работы на эту тему, как и другие зарубежные разыскания, вместе с тем во многом идут своим путем в истолковании взаимоотношений между языком и обществом, в осмыслении социальной природы языка. К сожалению, в последние годы некоторые зарубежные лингвисты стали поощрять тех советских ученых, работы которых (по их же выражению) являются «лишь эхом западноевропейских и американских методологических концепций», в том числе и концепции взаимодействия между языками³⁸. Между тем расхождения по методологическим вопросам неизбежны в той мере, в какой существует различное понимание самой природы языка, его отношения к мышлению, его функций в обществе.

³⁷ В предшествующих строках речь шла о русском языке в странах Западной Европы. Не менее интересен и важен вопрос о распространении русского языка в таких государствах, как Индия, Япония, Соединенные Штаты Америки, страны Латинской Америки и многие другие. В особом освещении нуждается вопрос о роли русского языка как второго родного языка для народов Советского Союза. В разработке этой важнейшей проблемы у нас имеются и бесспорные достижения, и некоторые недостатки. На мой взгляд, журнал «Вопросы языкознания» должен вернуться к обсуждению этой проблемы. См., в частности, интересные суждения о сознательном и глубоко продуманном двуязычии у Чингиза Айтматова («Вопросы литературы», 1976, 8, стр. 162—163), который, как известно, сам пишет и на своем родном киргизском языке, и на русском языке.

³⁸ Такова, например, позиция постоянного рецензента «Вопросов языкознания» Р. Эрмита (L'Hermitte), ежегодно выступающего с обзорами этого журнала на страницах «Bulletin de la Société de linguistique de Paris». См., в частности, один из его последних обзоров (там же, 1975, 2, стр. 1, где сообщается об «эхе»).

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. Д. ШВЕЙЦЕР

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ АМЕРИКАНСКОЙ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ

Американская социалингвистика, сравнительно молодое исследовательское направление, возникшее лишь в начале 60-х годов, уже успела приобрести достаточно широкую известность за пределами Соединенных Штатов¹. Известно, что оценка любого научно-теоретического направления предполагает учет его методологической ориентации. Применительно к социалингвистике это означает в первую очередь позицию исследователя по таким кардинальным вопросам, как онтологическая природа языка, соотношение между языком и социально-классовой структурой общества, место языка среди других общественных явлений, характер воздействия социальных факторов на язык. Влияние, которое оказали на американскую социалингвистику те или иные философские течения, будет рассмотрено ниже в свете той позиции, которую занимают американские социалингвисты по основным философским проблемам социалингвистики. При этом будет обращено внимание не только на связь между тем или иным философским течением, оказавшим воздействие на формирование американской социалингвистики, и ее теоретическими построениями, но и на то отражение, которое находят лежащие в ее основе концепции в используемых ею аналитических процедурах.

Говоря о методологических основах социалингвистического направления в США, следует иметь в виду отсутствие у этого направления единой и достаточно четкой философской ориентации. Вместе с тем нельзя не заметить, что наибольшее влияние на американскую социалингвистику оказал позитивизм с его многочисленными модификациями, который, как отмечает А. Нойберт (ГДР)², на протяжении многих лет определяет интеллектуальный климат в Соединенных Штатах.

Общезвестно то влияние, которое оказал в свое время позитивизм и, в частности, бихевиоризм на дескриптивную лингвистику. Казалось бы, американская социалингвистика формировалась под знаком критического пересмотра методологических постулатов дескриптивной лингвистики и в том числе ее бихевиористской ориентации. В самом деле, социалингвисты решительно отвергли положение дескриптивизма об имманентности языка, о его самодовлеющей сущности, о жестком разграничении сфер интересов языкознания и других общественных наук, о необходимости анализировать язык лишь в терминах внутриязыковых отношений. И в то

¹ В частности, работы американских социалингвистов получили освещение в следующих публикациях: А. Д. Швейцер, Вопросы социологии языка в современной американской лингвистике, Л., 1971; «Новое в лингвистике», VII, М., 1975: С. Эрвин - Трипп, Социалингвистика в США, ВЯ, 1976, 1.

² А. Neuberger, Semantischer Positivismus in den USA, Halle (Saale), 1962.

же время нельзя не констатировать наличие определенных преемственных связей между американской социалингвистикой и ее структуралистскими предшественниками. Связь эта прослеживается прежде всего в известной общности методологической ориентации этих течений, в их порой сознательной, а порой неосознанной приверженности методологическим постулатам позитивизма.

Теоретический мост от ориентированного на бихевиористские идеи дескриптивизма к современной американской социалингвистике перебрал К. Пайк, автор фундаментального труда «Язык в отношении к унифицированной теории человеческого поведения»³, основанного на бихевиористской модели «стимул — реакция».

Несомненной заслугой Пайка было то, что он один из первых предпринял попытку отойти от дескриптивистской традиции и использовать социальный контекст для анализа языка. Вместе с тем, сохраняя верность бихевиористскому прецеденту, Пайк рассматривает язык лишь как поведенческий феномен, контекстом для которого служат лишь те поведенческие стимулы, которые вызывают языковую реакцию. Пытаясь найти метаязык, пригодный для описания языкового и неязыкового поведения, Пайк останавливается на метаязыке дескриптивной лингвистики, используя дистрибутивную модель, основанную на разграничении эмических и этических единиц. В предложенной Пайком унифицированной модели человеческого поведения эмический анализ исходит из соотношения между физическим субстратом поведенческого акта и той реакцией, которую он вызывает у его участников, а в качестве дискретных единиц человеческого поведения (речевого и неречевого) выступают «бихевиоремы», интуитивно выделяемые участниками того или иного поведенческого акта. Таким образом, делается попытка распространить дистрибутивную модель, разработанную на фонологическом и морфологическом материале, на анализ любой социально-коммуникативной деятельности.

Ориентированная на бихевиористскую интерпретацию языковых и социальных явлений, модель Пайка имеет весьма ограниченную эвристическую силу. В основном автор оперирует примерами строго регламентированного и в значительной мере предсказуемого поведения (игра в футбол, декламация стихотворения, обряд бракосочетания и т. п.). Ситуации, допускающие более творческий характер речевой и неречевой коммуникации, фактически оказываются вне поля зрения.

Анализируемые Пайком явления не определяют сущности речевых процессов и носят в основном периферийный характер. В целом «унифицированная теория речевого поведения» представляет собой лишь абстрактную таксономическую схему, не затрагивающую подлинной онтологической природы описываемых явлений.

Значение работ Пайка заключается, пожалуй, не столько в том прямом влиянии, которое он оказал на последующие труды социалингвистов (такое влияние было незначительным, если не считать переноса «эмической» терминологии в некоторые этнолингвистические исследования), а в том, что они знаменуют собой промежуточный этап в развитии американского языкознания. Это была попытка преодолеть ограниченность дескриптивизма в рамках дескриптивистской «эпистемологической парадигмы». Впоследствии методологические постулаты дескриптивной лингвистики были подвергнуты решительному пересмотру в работах американских социалингвистов. Однако отзвуки бихевиористских идей продолжают встречаться в современной американской социалингвистике. До сих пор

³ K. L. Pike, Language in relation to a unified theory of human behavior, I—III, Glendale, 1954—1960.

встречает сочувственный отклик взгляд на язык как на поведенческий феномен. Даже такой принципиальный противник дескриптивизма, как У. Лабов, характеризует язык в одной из своих последних работ как «форму социального поведения»⁴. Многие работы американских социолингвистов характеризует одностороннее подчеркивание поведенческих аспектов вербальной и невербальной культуры.

Отголоски бихевиористской традиции дают о себе знать в чрезмерном акцентировании шаблонных и ритуальных форм общения с их жесткой регламентацией речевого поведения, в попытках формализовать отношения между социальной структурой и языком в виде простой корреляции независимых и зависимых переменных без анализа причинных связей между ними.

Односторонний взгляд на язык как на поведенческий феномен характерен не только для тех американских социолингвистических исследований, в которых анализируется онтологическая природа языка, но и для работ, в которых делается попытка выявить отношение языка к другим общественным явлениям и, в частности, при решении проблемы «язык и культура».

Для американской социолингвистики характерны тесные контакты с ориентированной на позитивистскую философию социальной (культурной) антропологией. Мысль о примате поведенческого аспекта в изучении языка и культуры была выражена еще Б. Малиновским, оказавшим значительное влияние на разработку социолингвистических проблем не только в Англии, но и в Соединенных Штатах. В своей программной статье «Дилемма современной лингвистики» Б. Малиновский считает, что наука о языке должна стать наукой о речевом поведении, которое в полном соответствии с постулатами бихевиоризма рассматривается как «стандартизованный тип деятельности человеческого организма», представляющий собой один из видов приспособления человека к среде и к механизмам культуры⁵.

Некоторые идеи Б. Малиновского и его последователя Дж. Ферса получили дальнейшее развитие в теоретических трудах известного американского социолингвиста Д. Хаймса, посвященных так называемой «этнографии речевой коммуникации»⁶. Одним из основных принципов предлагаемого Хаймсом подхода является неразрывное единство языковой формы и ее функционального использования в речевом контексте. Концепция Хаймса сближается со взглядами Б. Малиновского и Дж. Ферса, настаивавших на изучении речи в контексте ситуации. По мнению Хаймса, проблема функционального использования языковых средств в речи является центральной проблемой социолингвистики.

Было бы неправильно усматривать (как это делает, например, Хомский⁷) в ситуативном подходе к языку обязательное проявление узкобихевиористской ориентации или же отрицание «творческих» аспектов речевой деятельности. Связь между ситуацией и речевой деятельностью вовсе не обязательно носит жесткий и однозначный характер. Творческое и нетворческое начала присутствуют почти в каждом речевом акте, тесно переплетаясь друг с другом. Представляется плодотворным предлагаемое В. Г. Костомаровым и Е. М. Верещагиным разграничение «стандартных

⁴ W. L a b o v, Sociolinguistic patterns, Philadelphia, 1972, стр. 183.

⁵ B. M a l i n o w s k i, The dilemma of contemporary linguistics, «Language in culture and society», New York, 1964, стр. 63—65.

⁶ Д. Х. Х а й м с, Этнография речи, «Новое в лингвистике», VII, М., 1975; D. H u m e s, Introduction: toward ethnographies of communication, «American anthropologist», 66, II, 1964.

⁷ J. V. P r i d e, The social meaning of language, London, 1971. Полемике с Хомским, считающим ситуативный анализ бесперспективным, посвящена гл. 10 этой работы.

и «вариабельных» (переменных) ситуаций (первые строго ограничивают выбор языковых средств, тогда как вторые предоставляют коммуникантам большую свободу выбора)⁸. Социальная детерминация речевого поведения — это сложный и многоаспектный процесс, никак не сводимый к элементарной формуле «стимул — реакция».

В своей ситуативной модели речевой деятельности Д. Хаймс сумел преодолеть некоторые недостатки концепции Б. Малиновского. Хаймс далек от того, чтобы считать речь единственно возможным предметом социолингвистического анализа. Нет в его работах и столь резко выраженной ориентации на бихевиоризм. Однако некоторые отголоски идей Малиновского и Ферса слышатся в утверждаемом им примате речи над языком, функции над структурой, контекста над сообщением, хотя и здесь категоричность формулировок Малиновского несколько смягчена оговоркой, согласно которой исследователь должен учитывать взаимосвязь между этими категориями.

Влияние социальных факторов, в том числе ситуационных, на речевую деятельность, действительно, является одной из важнейших проблем социолингвистики, но, разумеется, не исчерпывает социолингвистического анализа. Прав Р. А. Будагов, считающий изучение того, как социальная природа языка обуславливает функционирование самой его системы, важнейшей задачей социолингвистики⁹.

Одностороннее увлечение американских социолингвистов проблемами речевого поведения является, с одной стороны, своеобразной реакцией на господствующее в американской лингвистике представление о речи как об исходном материале (но не предмете) лингвистического анализа, а, с другой, данью позитивистской методологии, требующей ограничения предмета анализа «реально наблюдаемыми», «данными в опыте» явлениями. Не случайно в работах американских социолингвистов мы почти не находим описаний социально обусловленной вариативности на уровне языка и его систем.

Решая центральную для ориентированных на социальную (культурную) антропологию социолингвистических направлений проблему «язык и культура», многие американские социолингвисты пытаются анализировать язык, культуру и общество в рамках единой поведенческой модели, исходя при этом из теории изоморфизма языковых и социокультурных систем. Так, например, А. Гримшо, рассматривая язык в качестве неотъемлемой части процесса социального взаимодействия, приходит к выводу о наличии необходимых предпосылок для описания языка и культуры как единого структурного целого, анализируемого в единых терминах¹⁰.

Авторы теории изоморфизма фактически допускают подмену понятий: вместо языка они анализируют речевое поведение, а вместо социокультурной системы — нормы социального поведения.

Одной из немногих попыток эмпирического доказательства теории изоморфизма является ссылка на исследования оказавшего значительное влияние на американских социолингвистов английского ученого Б. Бернстайна¹¹, выдвинувшего гипотезу о наличии двух речевых кодов — «развернутого» и «ограниченного», разница между которыми состоит в том, что первый характеризуется меньшей степенью предсказуемости и

⁸ Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, *Язык и культура*, М., 1973, стр. 95—102.

⁹ Р. А. Будагов, *Человек и его язык*, М., 1974, стр. 20, 101—102.

¹⁰ A. D. Grimshaw, *Sociolinguistics*, сб. «Advances in the sociology of language», The Hague, 1971.

¹¹ B. Bernstein, *Language, primary socialization and education*, London, 1968.

более сложными синтаксическими построениями, а второй — высокой степенью предсказуемости и простотой синтаксических структур. В ранних вариантах своей теории Бернштейн пытался установить однозначные связи между дихотомией этих кодов и классовой структурой общества, сводимой к противопоставлению «средний класс/рабочий класс». «Ограниченный код», по мнению Бернштейна, — это код рабочего класса или во всяком случае его низших слоев, а «развернутый код» — код среднего класса, ориентированный на самовыражение и межличностное общение.

Вместе с тем, как убедительно показал У. Лабов¹², утверждение о том, что «низшие классы» используют более ограниченные и стереотипные речевые ресурсы, не имеет под собой никакой почвы. На самом деле представители различных социальных слоев достаточно эффективно используют ресурсы родного языка в тех ситуациях, в которых протекает их речевая деятельность. Однако нельзя не признать, что в обществе, построенном на социальном неравенстве, существуют резкие расхождения в самом наборе коммуникативных ситуаций, доступных его членам. Поэтому расхождения в речевом поведении, наблюдаемые Бернштейном, чаще всего свидетельствуют лишь о том, насколько привычна данная коммуникативная ситуация для той или иной группы информантов. Иными словами, эти расхождения соотносятся с социальной структурой лишь через посредство коммуникативной ситуации и других опосредующих звеньев, которые вносят существенные коррективы в наблюдаемую картину.

Более того, «развернутый код» отличается от ограниченного не качественными, а количественными признаками (степенью предсказуемости и числом сложных синтаксических построений). Таким образом, гипотеза Бернштейна, даже если бы она имела под собой эмпирические основания, никак не свидетельствует о наличии взаимооднозначных отношений между элементами языковых и социальных структур. Вместе с тем об изоморфизме можно говорить лишь тогда, когда «каждому элементу первой системы соответствует лишь один элемент второй и каждой операции (связи) в одной системе соответствует операция (связь) в другой и обратно»¹³.

Проблема соотношения языковых и социальных фактов находит разное решение в работах американских социолингвистов. Широкое распространение получил чисто корреляционный подход, сущность которого сводится к установлению простых корреляций между языковыми и социальными явлениями без каких бы то ни было попыток установить каузальные связи между ними. Так, Дж. Фишман считает проблему причинного приоритета в отношениях между языковыми и социальными явлениями «нерелевантной по отношению к той жизни, которая протекает на наших глазах», и считает, что отношения между социальной структурой и языком следует рассматривать как отношения «между равными партнерами, а не между начальником и подчиненным»¹⁴.

Отказ от изучения причинных связей между языковыми и социальными явлениями самым непосредственным образом связан с позитивистской традицией, относящей категорию причинности к числу «метафизических псевдопроблем», не подлежащих эмпирической верификации, традиции, восходящей к идеалистическим концепциям Юма, считавшего причинность лишь первичной связью ощущений, и Канта, полагавшего,

¹² W. L a b o v, The logic of nonstandard English, «Varieties of present-day English», New York, 1973.

¹³ «Философский словарь», М., 1968, стр. 107.

¹⁴ J. F i s h m a n, The sociology of language: an interdisciplinary social science approach to language in society, «Advances in the sociology of language», стр. 353.

что причинность существует лишь как априорная, врожденная категория рассудка.

В то же время индетерминистская концепция явно не удовлетворяет некоторых американских социолингвистов. Так, в цитированной выше работе А. Гримшо выдвигает иную точку зрения на связи между языковыми и социальными структурами. Согласно этой точке зрения, язык и социокультурные структуры находятся в отношении «взаимной детерминации», т. е. каузальные связи между ними носят двусторонний характер.

Думается, что в этих рассуждениях есть определенное рациональное зерно. Если поставить вопрос более корректно и отнести его не к социально-классовой структуре общества, а к нормам социального поведения (которые фактически имеет в виду Гримшо, говоря о социальной структуре), то нельзя не признать, что определенная обратная связь между языком и нормами социального поведения действительно существует. Об этом, в частности, пишет В. З. Панфилов: «Язык, оказывая определенное (но не решающее) влияние на мышление, тем самым не может не оказывать известного воздействия на культуру и поведение, придавая им некоторую специфическую (национальную) окраску»¹⁵.

Вместе с тем ошибка сторонников теории «взаимной детерминации» состоит в том, что они не видят принципиального различия между определяющим воздействием социальных факторов на язык и влиянием языковых факторов на социальные процессы, считая эти взаимодействующие силы равнозначными.

Значительное воздействие на американскую социолингвистику оказали также различные направления позитивистской социологии, среди которых заметное место занимает так называемое «символико-интеракционистское направление», восходящее к трудам известного американского социолога Дж. Мида¹⁶. Представители этого направления считали, что основой социальной связи является некий символ, обладающий определенной всеобщностью для взаимодействующих индивидов и групп. При этом ведущая роль отводилась языку как важнейшей знаковой системе, обеспечивающей социальное взаимодействие.

В советской социологической литературе отмечалось влияние бихевиористских идей на воззрения Дж. Мида и его последователей, указывалось, что они фактически сводят социальное взаимодействие к семантическим отношениям (знак и означаемое), а социализацию личности к выучиванию знаковых систем¹⁷. Обращалось внимание и на то, что деятельность в символико-интеракционистской теории идеалистически понимается как активность индивидуального сознания.

Многие идеи символико-интеракционистов и, в частности, разработанные ими теории малых групп и социальных ролей активно используются американскими социолингвистами в их исследовательской практике. Среди работ американских социолингвистов, ориентирующихся на теорию малых групп, особо выделяются исследования Дж. Гамперца¹⁸, предпочитающего использовать в качестве основной операциональной единицы анализа малую группу (т. е. группу лиц, объединяемых формальными или неформальными связями непосредственного социального взаимодействия), а не такие «трудно определяемые» категории, как класс.

¹⁵ В. З. П а н ф и л о в, Язык, мышление, культура, поведение, «Развитие языков и культур народов СССР в их взаимосвязи и взаимодействии (тезисы докладов)», М., 1973, стр. 12—13.

¹⁶ G. H. M e a d, Mind, self and society, Chicago, 1946.

¹⁷ См., например: Э. Ф. З в е з д к и н а, Критика методологических принципов изучения малых групп в буржуазной социальной психологии США. КД, М., 1968.

¹⁸ J. J. G u m p e r z, Language in social groups, Stanford, 1971.

Нет никакого сомнения в том, что малые группы (группы друзей, сверстников, производственные коллективы и т. п.) являются вполне правомерным объектом социалингвистического анализа. В результате такого анализа Гамперцу удалось выявить немало интересных закономерностей, характеризующих речевую деятельность малых групп в условиях билингвизма и диглоссии и, в частности, переключение с одной языковой системы на другую («переключение кода») в результате изменения социальной ситуации. Однако анализ такого рода может оказаться в полной мере информативным, если он опирается на широкий социальный контекст и если малые группы рассматриваются в нем не изолированно, а на фоне общества в целом. Дело в том, что малые группы не существуют в вакууме. Глубоко ошибочен укоренившийся в символическо-интеракционистском направлении взгляд на малую группу как на «микроскоп большого общества». Поэтому неудивительно, что в своих конкретных исследованиях многие американские социалингвисты (в том числе и Гамперц) нередко отходят от узкомикросоциологической ориентации, принимая во внимание и макросоциологический материал¹⁹. Западногерманский ученый У. Аммон справедливо усматривает одно из принципиальных различий между позитивистской и историко-материалистической социалингвистикой в том, что первая рассматривает общество как структуру социальных ролей, тогда как вторая исходит из марксистского понимания социальной структуры, учитывающего лежащий в основе этой структуры способ производства и обе его стороны — производительные силы и производственные отношения²⁰. Однако отсюда не следует, что теория социальных ролей не может быть использована в марксистской социалингвистике. Думается, что теория ролей в том ее варианте, который разрабатывается социологами-марксистами²¹, представляет несомненный интерес для социалингвистики, поскольку в ней понятие роли (т. е. деятельности индивида, связанной с его положением в социальной группе) оказывается самым непосредственным образом обусловленным социальными нормами данного общества, общественным сознанием. Такое понимание социальной роли в корне отличается от концепции Дж. Мида и его последователей, сводящих причинность ролевых отношений к психологической мотивации действий субъекта.

Другим крупным социологическим течением, оказавшим определенное влияние на американскую социалингвистику, является этнометодология. Широко используя этнографический подход к анализу социальных явлений, этнометодологи в значительной мере опираются на укоренившееся в социальной (культурной) антропологии представление о культуре как об определенной сумме знаний. При этом первостепенное значение придается интуитивным категориям, которыми руководствуется индивид — член данного общества, интерпретируя явления окружающей его социальной действительности, а основной акцент ставится на повседневной человеческой деятельности. Недаром, по определению одного из ведущих теоретиков этого направления Г. Гарфинкеля, предметом этнометодологии являются «рациональные свойства практических действий», трактуемых как «искусные реализации организованных форм повседневной жизни»²².

¹⁹ См.: А. Д. Швейцер, О микросоциологии и макросоциологии языка, М., 1970.

²⁰ У. Аммон, Probleme der Soziolinguistik, Tübingen, 1973.

²¹ И. С. К о н, Социология личности, М., 1967; А. К р е ч м а р, О понятийном аппарате социологической концепции личности, «Социальные исследования: теория и методы», 5, М., 1970.

²² Н. G a r f i n k e l, Remarks on ethnomethodology, «Directions in sociolinguistics», New York, 1972, стр. 309.

Философской основой этнометодологии является феноменологическое направление идеалистической философии, восходящее к работам Э. Гуссерля и оказавшее значительное влияние на современную буржуазную философию и социологию²³. Руководствуясь положением феноменологической социологии о том, что социальный мир познается через структуры готового знания, во власти которого находится индивид, этнометодологи формулируют свой тезис о «фоновом ожидании», детерминирующем правила интерпретации социальной действительности.

Изучение речевой деятельности занимает видное место среди тех проблем, которыми занимается этнометодология. Следуя концепции Гуссерля, который рассматривал речевое высказывание как «первый слой» мысли, за которым скрывается детерминируемое готовыми мыслительными формулами объективное содержание высказывания, этнометодологи используют речь как исходный материал для исследования социальных категорий, детерминируемых готовыми моделями интерпретации. Такой подход представляется перспективным некоторым американским социолингвистам, усматривающим в нем возможность преодолеть ограниченность чисто корреляционного подхода к языковым и социальным явлениям и рассматривать их в рамках единой теоретической модели²⁴.

Необходимо, однако, подчеркнуть, что те «ситуативные значения», которыми оперируют этнометодологи, анализируя речь, исходят из восприятия речевой ситуации действующим индивидом. Как справедливо отмечается в рецензии на одну из работ Гарфинкеля²⁵, этнометодологи видят окружающий мир лишь глазами воспринимающего его субъекта.

Из сказанного отнюдь не следует, что субъективные категории, которыми оперируют носители языка, не представляют интереса для социолингвистики. Категории социолингвистики, отражающие субъективную, личностную сторону социальной деятельности, и категории, отражающие ее объективную сторону, взаимно дополняют друг друга. Поэтому ошибкой этнометодологов является не включение в рассмотрение категорий действующего индивида, а сведение социальных категорий к категориям субъективного восприятия.

Философская концепция этнометодологов перекликается во многом с идеалистической «философией обычного языка» Л. Витгенштейна, подобно которому этнометодологи считают язык весьма несовершенной реализацией мысли и ищут значения слов в контекстах и ситуациях их употребления²⁶. О том, как реализуется эта методологическая установка, можно судить по следующему примеру, где слева приводится фактическая запись речи, а справа даются интерпретации, раскрывающие «объективный смысл» сказанного:

Дана сегодня сам дотянулся до счетчика на платной стоянке и бросил в него монетку.

Сегодня, когда я отвозил из детского сада Дану, нашего четырехлетнего сына, он сумел сам дотянуться до щели в счетчике, когда мы оставили машину на платной стоянке, тогда как раньше его приходилось для этого брать на руки²⁷.

²³ Критику феноменологической философии см. в кн.: Н. В. Мотрошилова, Принципы и противоречия феноменологической философии, М., 1968.

²⁴ J. G u m p e r z, Sociolinguistics and communication in small groups, «Sociolinguistics», Harmondsworth, 1972.

²⁵ См.: «American sociological review», 33, 1, стр. 128, 1968.

²⁶ W. W i l d g e n, L'analyse narrative de Labov et Waletzky et ses rapports avec certains courants en ethnométhodologie et en pragmatique linguistique (рукопись доклада на VIII социологическом конгрессе в Торонто, 1974).

²⁷ «Sociolinguistics», Harmondsworth, 1972, стр. 216.

Известно, что разговорная речь, будучи в наибольшей мере связанной с ситуативным контекстом, характеризуется высокой степенью импликации. И вместе с тем было бы неверно полагать, что языковые выражения в левой колонке сами по себе лишены смысла и обретают его лишь в ситуации. Этнометодологи явно не различают значений, присущих языковым единицам как таковым, и значений контекстуальных, реализуемых в речевых контекстах.

Вместе с тем некоторые конкретные исследования этнометодологов представляют определенный интерес. Это, в особенности, относится к их наблюдениям над спонтанной разговорной речью²⁸. Впрочем односторонняя методологическая ориентация сказывается и на результатах их анализа. Создается парадоксальное положение: эти исследования, преследующие главным образом социологические цели, наименее информативны именно с социологической точки зрения, ибо социальная ситуация рассматривается в них лишь как субъективная категория индивидуального восприятия.¹

Особого внимания заслуживает вопрос о влиянии на американскую социалингвистику теоретико-методологических воззрений генеративистов. Отношение американских социалингвистов к Хомскому и его последователям характеризуется известной двойственностью: многие постулаты генеративистской теории вызывают решительные возражения со стороны социалингвистов, и в то же время эта теория оставила заметный след в американской социалингвистике.

Критикуя взгляды Хомского, Д. Хаймс отмечает, что с точки зрения учета социальной природы языка его модель «ни в чем не отходит от структуралистского прецедента. Скорее это даже шаг назад, поскольку она полностью исключает из рассмотрения гетерогенность речевого коллектива, различные роли говорящих, а также стилистические и социальные значения»²⁹.

Американские социалингвисты отвергают утверждение Хомского о том, что лингвистическая теория имеет дело с идеальным «говорящим — слушающим», существующим в совершенно однородной речевой общности. Они обвиняют Хомского в «терминологической риторике»: говорится «компетенция», а имеется в виду грамматика, говорится «творческое начало», а имеется в виду синтаксическая продуктивность, вводится понятие «приемлемость», которое вовсе не анализируется, поскольку оно должно выводиться из социального контекста, а последний не принимается в расчет³⁰.

Вместе с тем влияние Хомского на социалингвистов сказывается в том, что, критикуя его методологические позиции, американские социалингвисты нередко продолжают оставаться в кругу выдвинутых им понятий. Сюда относится, в частности, известное противопоставление к о м п е т е н ц и я / и с п о л н е н и е (competence/performance). При этом имеется в виду не компетенция в том узком смысле, который вкладывает в этот термин генеративистская теория (т. е. способность порождать грамматически правильные высказывания), а к о м м у н и к а т и в н а я к о м п е т е н ц и я, означающая способность выбирать из совокупности грамматически правильных выражений те, которые соответ-

²⁸ См., например: E. S c h e g l o f f, Sequencing in conversational openings, «American anthropologist», 70, 6, 1969.

²⁹ D. H y m e s, Toward linguistic competence, «Texas working papers in sociolinguistics», 16, 1973.

³⁰ D. H y m e s, Toward linguistic competence. «Texas working papers in sociolinguistics», 16, 1973.

ствуют социальным нормам поведения в конкретных коммуникативных актах³¹.

В отличие от теории Хомского, социалингвистика рассматривает компетенцию не как врожденную способность, а как способность, которая формируется в результате взаимодействия индивида с социальной средой. Теория коммуникативной компетенции, несомненно, содержит рациональное зерно. Нельзя не признать, что мысль о том, что знание социальных норм употребления языка является не менее важным показателем степени владения языком, чем знание его грамматических правил, имеет принципиальное теоретическое и практическое значение для социалингвистики.

Однако онтологическая природа категории «коммуникативная компетенция» представляется не вполне ясной. Дело в том, что в эту категорию включаются весьма разнородные признаки, характеризующие как объективную, так и субъективную стороны речевой коммуникации. Например, Хаймс включает в число параметров коммуникативной компетенции грамматическую правильность (по Хомскому), возможности речевой реализации, зависящие от таких психологических факторов, как ограниченный объем человеческой памяти, приемлемость (соответствие контексту или ситуации), встречаемость (вероятность употребления того или иного языкового выражения). Думается, что обращенный в свое время Хомскому упрек в смешении таких понятий, как «знание», «способность» и «умение»³², относится в известной мере и к американским социалингвистам.

Влияние теоретических воззрений генеративистов на американскую социалингвистику сказывается и на некоторых методах социалингвистических исследований. Так, например, предпринимались попытки внедрить в практику социалингвистических исследований методы «импликационного шкалирования», основанные на порождающей грамматике³³. В «импликационных шкалах» диалектный континуум представлен в виде иерархии так называемых «изолектов», отличающихся друг от друга изменениями в том или ином трансформационном правиле. Число говорящих не является существенным признаком «изолекта» (это может быть и диалект, и идиолект). Понятие языкового коллектива фактически игнорируется авторами импликационной модели. Прав Лабов, считающий, что они возрождают традиционный дескриптивистский подход, основанный на изучении речи индивидов. Оставляя в стороне вопрос об эвристической силе данной модели применительно к описанию изменений в языковой системе, укажем лишь на то, что эффективность импликационного шкалирования с социалингвистической точки зрения представляется весьма сомнительной.

Более радикально теоретические постулаты Хомского пересматривает У. Лабов, выдвинувший концепцию так называемых «вариативных правил», основанных на «факультативных правилах» Хомского — Халле, но включающих не только внутривидовые показатели, но и ряд социальных параметров, влияющих на вероятность применения данного правила³⁴. Однако и понятие «вариативного правила» не лишено известной противоречивости. Дело в том, что это понятие тесно связано с понятием компетенции. «Делая допущение о переменных ограничениях,—

³¹ J. Gumpertz, Sociolinguistics and communication in small groups.

³² Ch. Hockett, The state of the art, The Hague, 1970, стр. 62—63.

³³ D. Bickerton, The structure of polylectal grammars, «Report on the 23-rd annual round table meeting on linguistics and language studies», Washington, 1973.

³⁴ W. Labov, The study of language in its social context, «Sociolinguistics», Harmondsworth, 1972 (русск. перевод в кн.: «Новое в лингвистике», VII, М., 1975).

пишет Р. Фасолд, — мы приписываем говорящему компетенцию применять вариативное правило в одних контекстах чаще, чем в других...»³⁵. Таким образом, понятие вариативного правила оказывается теоретически уязвимым по той же причине, что и лежащее в его основе понятие компетенции. Более того, из сказанного выше, казалось бы, следует, что применение вариативного правила определяется сознательной установкой говорящего. Однако на самом деле данные социолингвистических исследований (в том числе и исследований самого Лабова) убедительно свидетельствуют о том, что объективные показатели речевого поведения далеко не всегда соответствуют субъективным установкам самих коммуникантов. Думается, что действие социальных факторов на язык никак не может быть сведено к четко сформулированным правилам, обязательным или даже факультативным, если под правилами иметь в виду эксплицитно выраженные алгоритмы поведения.

В ряде работ американских социолингвистов провозглашается характерная для позитивистской социологии установка на внепартийность. Авторы этих работ полагают, что задачей социолингвиста является дальнейшее углубление знаний об изучаемых явлениях, независимо от того, насколько желательны эти знания с точки зрения идеологической позиции ученого³⁶. Впрочем в своих трудах американские социолингвисты далеко не всегда придерживаются этого принципа. Отступления от «идеологического нейтралитета» особенно часто встречаются у Фишмана, пытающегося принизить значение советского опыта языкового строительства для развивающихся стран³⁷.

Вместе с тем было бы явным упрощением считать, что американские социолингвисты целиком и полностью ориентируются на позитивистскую философию. Известно, что многие деятели науки на Западе, будучи разочарованными в буржуазной философии, все чаще обращаются к марксистской теории. Показательно, что один из ведущих американских социолингвистов Д. Хаймс предпослал своей работе, посвященной полемике с Хомским³⁸, слова Маркса об ограниченности философии Фейербаха, рассматривающего человека как выхваченную из социального контекста абстракцию. В этой же работе Хаймс считает необходимым противопоставить «картезианской» лингвистике Хомского лингвистическую теорию, которая взяла бы за образец критический анализ классической экономической теории в трудах Маркса и которая опиралась бы на общую концепцию Маркса относительно взаимозависимости человека и общественной жизни.

Разумеется, использование отдельных марксистских положений еще не является признаком последовательной марксистской ориентации. Сам Хаймс склонен считать предлагаемую им модель языка «гердеррианской»³⁹ в отличие от «картезианской» модели Хомского. Однако сам по себе тот факт, что ученые, испытывающие значительное воздействие со стороны буржуазной философии и социологии, в поисках надежной методологической базы обращаются к теоретическому арсеналу марксизма, несомненно, знаменателен.

Для нынешней стадии развития американской социолингвистики характерны поиски собственного теоретического аппарата, философских

³⁵ R. F a s o l d. Tense marking in Black English, Washington, 1972, стр. 14—16.

³⁶ «Can language be planned?», ed. by J. Rubin, B. Jernudd, Honolulu, 1971, стр. XVII.

³⁷ Подробнее об идеологической позиции Дж. Фишмана см.: А. Д. Ш в е й ц е р, По поводу одной рецензии, ВЯ, 1976, 3.

³⁸ D. H u m e s, Toward linguistic competence.

³⁹ D. H u m e s, Foundations in sociolinguistics. An ethnographic approach, Philadelphia, 1974.

основ и аналитических процедур. Американские социолингвисты не сумели полностью преодолеть бихевиористскую ориентацию, унаследованную ими от дескриптивизма. Ориентация на некоторые позитивистские теории проявляется у них в увлечении чисто корреляционным подходом к анализу социальных и языковых явлений, в недооценке проблемы каузальных связей между языком и обществом, в тесных связях с позитивистской социальной (культурной) антропологией и символично-интеракционистским направлением в социологии. Через посредство этнометодологов американские социолингвисты восприняли некоторые теоретические установки феноменологической социологии. Сложностью и противоречивостью характеризуется отношение социолингвистов к генеративистской теории Хомского и его последователей: критикуя ее антисоциальную направленность, они в то же время широко используют некоторые элементы ее понятийного аппарата.

Вместе с тем нельзя не отметить рост притягательной силы марксистской философии, идеи которой встречают сочувственный отклик у некоторых американских социолингвистов.

Ограниченность и противоречивость философских основ американской социолингвистики сказывается и на ее исследовательской практике и, в частности, на односторонней ориентации на микроуровень социальной структуры. Вместе с тем разработанные американскими социолингвистами исследовательские процедуры заслуживают внимания, в особенности если учесть, что в своих конкретных исследованиях американские социолингвисты нередко отступают от декларируемых ими методологических принципов. Некоторые из используемых ими теоретических моделей и исследовательских процедур, будучи поставленными на прочную основу марксистской методологии (например, теория социальных ролей), могут принести пользу при комплексном анализе проблемы «язык и общество».

В. И. МАКСИМОВ

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА

Существуют две крайние точки зрения на отношение теории языка к практике обучения иностранным языкам. Одни полностью отрицают эту связь¹. Другие во многом механически переносят методы и приемы изучения лингвистами незнакомого языка на практическое изучение неспециалистами иностранного языка. Например, у Л. Блумфилда это проявляется следующим образом: 1) центральное место в учебном процессе он отводит не преподавателю-филологу, а информанту — носителю языка, не знающему теории; 2) путь изучения иностранного языка Л. Блумфилд ведет от слушания речи информанта, ее фонетической записи в нерасчлененном виде к постепенному самостоятельному обнаружению в этих записях «звуков», слов и грамматических форм методом «кропотливого и тщательного» сравнения и анализа позиций и случаев их употребления. По мере накопления списков слов, основ, корней, аффиксов и т. д. обучающимся рекомендуется «создавать» для себя грамматику².

Однако в большинстве своем языковеды и методисты не придерживаются этих крайностей. Они пытаются более детально разобраться в связях, существующих между лингвистикой и методикой изучения языка как науками, раскрыть те лингвистические основы, на которые может опираться методика, показать влияние науки о языке на отбор, интерпретацию, описание и подачу соответствующего материала в прикладных целях.

В современной лингвистике, как известно, распространен ряд теоретических концепций, представители которых придерживаются неодинаковых, а то и противоположных принципов описания языкового материала. Этим объясняется существование разного типа грамматик: традиционной, нормативной, функциональной, генеративной (порождающей), сравнительной (сопоставительной), активной, пассивной и т. д. Отсюда проистекают и многие трудности методистов. Будучи вынужденными искать лингвистические основания в преподавании, стремясь опереться при этом на новейшие исследования языка, они сталкиваются с различными теориями, а нередко с противоречащими друг другу положениями, которые одинаково объявляются их авторами «современными». Разобраться в этих концепциях и оценить их с точки зрения методики не всегда бывает легко. В одной статье невозможно осветить и сопоставить все принципы описания русского языка, встречающиеся в специальной литературе даже последнего периода. Поэтому здесь ставится цель проанализировать и сопоставить те принципы, которые нашли отражение только в двух, наиболее значительных трудах по современному русскому литературному языку — академических «Грамматиках» 1952—1954 гг. и 1970 г. (далее — «Гр. 52—54» и «Гр. 70»), и показать степень пригодности, эффективности этих

¹ Например: D. Cardenas, Who is being exploited?, «The modern language», XL, 1956, стр. 386.

² L. Bloomfield, Outline guide for the practical study of foreign languages, Baltimore, 1942.

принципов при описании практической грамматики. Иначе говоря, стоит задача показать, при каком способе описания конкретного материала достовернее, адекватнее и точнее раскрывается система языка и какой из этих способов к тому же приемлемее для методистов и доступнее для широких кругов, изучающих русский язык как неродной.

При сопоставлении принципов, положенных в основу описания современного русского литературного языка в этих «Грамматиках» (см. «Предисловия» к ним), оказывается, что сходными в них являются только два пункта. Первый относится к стремлению раскрыть систему языка. При рассмотрении, например, словообразования это находит выражение в раздельном описании способов и средств образования слов, относящихся к разным частям речи, в группировке суффиксов в соответствии с общей семантикой образуемых ими производных, в показе синонимии некоторых словообразовательных средств. Вторым общим принципом следует признать стремление к нормативности, к показу не только языковых норм, но и их вариантов, их функционально-стилевого распределения. Это проявляется в детальной характеристике словообразовательных типов путем указания их разновидностей, степени продуктивности, ударения и стилистической окраски соответствующих производных, возможных исключений.

Остальные принципы описания языка в рассматриваемых «Грамматиках» являются контрастирующими. Однако чтобы дать оценку этим принципам, выявить их действительную эффективность в теоретическом и практическом планах, недостаточно только общих соображений. Большую доказательность, наглядность имели бы анализ и сопоставление результатов того и другого подхода. С этой целью мы рассмотрим в свете основных положений указанных «Грамматик» результаты описания конкретного материала, относящегося к тем уровням языка, где применение контрастирующих принципов прослеживается наиболее четко. Мы имеем в виду словообразование и синтаксис.

1. Если в «Гр. 52—54» выдвигается задача дать возможно широкую характеристику современного русского литературного языка как языка национального, то в «Гр. 70» специально указывается, что она «не может служить всеобъемлющим справочником», а вместо этого отражает поиски «модели описания». Однако практически и в ней часто наблюдается стремление к полноте описания материала. Например, это характерно для раздела «Словообразование». Каждый словообразовательный тип здесь описывается со стороны семантики производных, мотивирующей основы, формальных показателей, морфонологии, продуктивности, функционально-стилевой с привлечением большого количества иллюстративного материала (насколько всегда адекватно это описание — вопрос другой). Следовательно, принцип широты и полноты описания материала признан в «Гр. 70» целесообразным.

2. В «Гр. 52—54» общие положения, законы и отдельные правила выводятся из «самой языковой практики». В «Гр. 70» языковые явления рассматриваются с точки зрения лежащих в их основе абстрактных схем (образцов), регулярных реализаций (манифестаций) и их употреблений в языке с подчинением функционального аспекта при их описании формальному. Рассмотрим тот и другой подход на материале явлений, связанных с выражением главных членов предложения и их отношений.

В «Гр. 52—54» (II, 1, стр. 370 и сл.) каждый из главных членов двусоставного предложения (соответственно — способы их выражения) рассматривается отдельно. Так, указывается, что подлежащее чаще всего выражается формой им. падежа существительного, а также местоимения или субстантивированного прилагательного, причастия, количественного

или порядкового числительного. Подлежащее может быть выражено также инфинитивом, целым словосочетанием и даже предложением. Сказуемое — по традиции, существующей в русистике и обусловленной более частой и важной ролью глагола в предложении, — рассматривается сперва глагольное (простое и сложное), а затем именное (простое, составное и сложное). Анализ сказуемого заканчивается рассмотрением вопроса о его согласовании с подлежащим.

В «Гр. 70» (стр. 549) главные члены предложения рассматриваются не отдельно, а вместе — в соотношении друг с другом в рамках структурных схем двусоставного предложения. При этом указываются возможные комбинации, в которых могут встречаться подлежащее и сказуемое, выраженные словами различных частей речи. Так, при наличии уподобленных по грамматическим формам подлежащих и сказуемых указываются четыре структурные схемы: 1) $N_1 - V_t$, 2) $N_1 - N_1$, 3) $N_1 - N_{N_1}$, 4) N_1 это N_{N_1} . Эти четыре схемы внешне подкупают своей простотой. На самом же деле все обстоит намного сложнее, ибо языковой материал не укладывается в эти схемы. Поэтому, например, в первой схеме к N_1 (любое имя в им. падеже) авторы вынужденно относят (уже не обозначаемые специальными символами) количественно-субстантивные словосочетания, куда входят имена существительные отнюдь не в им. падеже: а) *Пришло много народу*, б) *Прибыло (делегатов) меньше на пять человек*, в) *В кошельке отыскалось несколькими копейками больше*, г) *Прошло с час*, д) *По яблочку досталось*. В роли N_1 отмечаются также любые субстантивирующиеся словоформы, а также фразеологизмы и целые предложения: *Всякие «купи» кончились: денег нет; Ходит кто попало; В клубе идет «Я шагаю по Москве»*.

Под V_t имеются в виду не только одиночная спрягаемая форма глагола (*Ученик пишет*), но и целые словосочетания (*Иванов ходит сероем*) или соединения слов, возникающие в предложении (*Девочка золочет — заливается; Отец лежит задумался*).

Кроме того, как отмечается, схема $N_1 - V_t$ может быть реализована неполностью, например, не иметь подлежащего: *На всех не угодишь*. В целом раздел о предложениях с формально употребленными главными членами заключается рассмотрением особых случаев такого уподобления (колебаний в формах числа и рода). Следовательно, языковой материал оказывается шире, богаче, разнообразнее предложенных формально-структурных схем двусоставных предложений, в которые он никак не укладывается.

Это видно и на материале схем предложений, содержащих подлежащие и сказуемые, формально не уподобленные друг другу. Таких схем предлагается семь: 1) $N_1 - Adv (N_2. . .)$, 2) N_1 это Adv , 3) N_1 чтобы Inf , 4) Inf соп Inf , 5) $Inf - N_1$, 6) $Inf - Adv (N_2. . .)$, 7) $Inf - V_{t,3}$, не считая фразеологизированных словосочетаний (*Праздник как праздник; Праздник не в праздник; Всем мастерицам мастерица!*). Например, в первой схеме сказуемое даже в символах имеет двойное обозначение — $Adv (N_2. . .)$, где под Adv понимается не только наречие (*Желающие налицо*), но и сравнительная степень прилагательных (*Сын умнее*), а под N_2 имя в форме любого косвенного падежа, с предлогами и без них, и даже словосочетание (*Директор у себя; Все в беспокойстве; Мальчик без пальто; Письмо тебе; Нос крючком; Брат высокого роста*).

Поскольку предложенные символы и структурные схемы в данном случае фактически не дают представления о всех возможных реальных способах выражения главных членов предложения, они не помогают в теоретическом осмыслении соответствующего материала. Предложенная в «Гр. 70» организация материала не облегчает и задачу его практиче-

ского изучения. При подлежащем одного типа (с точки зрения его выражения определенной частью речи) могут находиться разнотипные сказуемые, а при разнотипных подлежащих могут быть однотипные сказуемые. Только в некоторых строго определенных случаях уместно рассматривать способы выражения главных членов в сопоставлении. Это относится главным образом к особым случаям их уподобления или неуподобления.

Таким образом, подход к рассмотрению способов выражения главных членов предложения и грамматических связей между ними, нашедший отражение в «Гр. 52—54», в принципе более приемлем в теоретическом плане и в плане возможностей его практического преломления.

3. «Гр. 52—54» охватывает материал «от Пушкина до наших дней», с учетом языка литературных произведений разных жанров и живой языковой практики нашего времени, т. е. отражает как бы диахронно-синхронный подход к описанию системы языка. В «Грамматике» 1970 г. декларируется «строго синхронное» описание языка; под современностью понимается середина XX в. Последовательное разграничение явлений письменной и устной форм, по мнению самих авторов, не могло быть выдержано до конца. Несомненно, что синхронное описание языка в принципе возможно, но при соблюдении по крайней мере трех условий: 1) ему должно предшествовать диахронное исследование соответствующих явлений, причем соответствующие явления должны быть отграничены от их предшествующего состояния; 2) синхронное описание не должно отождествляться с формализованным, схематичным описанием, при котором содержательная и функциональная стороны отодвигаются на задний план, а порою и вовсе не учитываются; 3) оно должно быть последовательно выдержанным.

Несоблюдение этих условий в «Гр. 70» видно при описании некоторых словообразовательных типов. Так, отглагольные существительные с суффиксом *-ин(а)* называют, по мнению авторов, только предметы, которые являются «результатом или объектом действия» (стр. 62). Многие из приведенных авторами существительных действительно являются отглагольными: *царапина, оплывина, проедина, развалина, выщербина*. Другая часть приводимых ими производных, с современной точки зрения, имеет двойную и даже тройную соотнесенность: не только с глаголами, но и с существительными (*изгибина: изгибать, изгиб; пригарина: пригореть, пригар*), с прилагательными и причастиями (*вспухлина: вспухать, вспухлый; вмятина: вмять, вмятый*); одновременно с глаголами, существительными и прилагательными (*проталина: проталить, проталь, проталый; отталины: отталить, отталить, отталый*). Указывать в таких случаях только глагольную мотивирующую основу — значит проявлять субъективизм и непоследовательность, ибо такое указание не только, как правило, противоречит историческим данным, но и современному восприятию соответствующих производных.

Третья часть производных вообще ошибочно отнесена к отглагольным. Например: *вощина* «пустые пчелиные соты или неочищенный воск» даже семантически не соотносится с глаголом *вощить* «натирать или пропитывать воском», не говоря уже о том, что оно было известно уже древнерусскому языку, а указанный глагол впервые зафиксирован в словаре И. Нордстета 1780 г. *Метина* является образованием от существительного *метка* посредством усилительного суффикса *-ин(а)*, до сих пор сохраняющая экспрессивную окраску (см. в 17-томном «Словаре современного русского литературного языка», где оно считается просторечным).

С понятием «современности» в «Гр. 70» связывается и понятие продуктивности. Словообразовательные типы признаются продуктивными, если способны «служить образцом для производства слов» на современ-

ном этапе. Но можно ли тогда относить к продуктивным, например, названия мяса с суффиксом *-ин(а)*, мотивированные существительными? За последние 150 лет в словарях зафиксировано всего два новых названия этого типа: *человечина*, *сомина*. Можно ли вообще рассматривать в системе русского словообразования — тем более при «строго синхронном» подходе — такие названия лиц женского пола на *-ина* (их всего три), как *кузина*, *курфюрстина*, *гофмейстерина* («Гр. 70», стр. 40, 111, 124). Во-первых, эти существительные являются заимствованиями, т. е. продуктом иноязычного, а не русского словообразования. Во-вторых, все они давно вышли из употребления, а следовательно, не имеют никакого отношения к современности. В «Гр. 52—54» они даже не упоминаются.

Следовательно, синхронное описание языка должно опираться на диахронические исследования и проводиться последовательно: в истории языка один синхронный срез не накладывается просто на другой.

4. В «Гр. 52—54» подчеркивается ее практическое назначение, в частности, она ставит задачу поднятия культуры как самого общенационального языка, так и говорящих (пишущих) на нем. Вследствие этого в ней освещаются наиболее установившиеся точки зрения на то или иное языковое явление, устраняются из изложения теоретические разногласия. «Гр. 70», по признанию самих авторов, носит сугубо теоретический характер, отражая «поиски решений, в какой-то степени — эксперимент».

Противопоставленность теоретико-практического подхода к описанию языка и теоретико-экспериментального наглядно проявляется, например, при рассмотрении общих понятий, относящихся к словообразованию. Авторы «Гр. 52—54» ограничиваются их минимумом. Под словообразованием они понимают раздел науки о языке, предметом изучения которого являются только способы (или правила) образования новых слов («Гр. 52—54», I, стр. 13), и при рассмотрении конкретного материала не выходят за рамки этого понимания. В «Гр. 70» также признается, что в этом разделе описываются словообразовательные типы, однако делается существенное уточнение: «Здесь рассматриваются и структура имеющих в языке слов („как сделаны слова“), и возможности образования новых слов („как делаются слова“» (стр. 37). К сожалению, практически это вылилось в то, что большее внимание уделяется первому аспекту, т. е. чаще раскрывается картина членения слов, чем их реального образования. Это особенно видно при раскрытии так называемой дополнительной дистрибуции, долженствующей определять употребление тех или иных разновидностей суффиксов.

Авторы «Гр. 70» создают впечатление, что все дело здесь в конечной согласной мотивирующей основы, что от нее зависит выбор последующего суффикса. Например, указывается, что в образованиях с общим значением «носителя признака» *-ин(а)* выступает после парных мягких согласных, кроме заднеязычных и шипящих (*пушнина*, *шелковина*, *всячина*), *-овин(а)* — после твердых заднеязычных (*клейковина*, *диковина*) (стр. 84). Та же самая «дистрибуция» отмечается у этих суффиксов в существительных со значением «носитель предметного признака». Однако такая позиция *-ин(а)*, *-овин(а)* характерна только для структуры «готовых» слов (являющих собой уже результат словообразования), если рассматривать их со стороны членения, и то не всегда: конкретные примеры не подтверждают употребление *-овин(а)* только после заднеязычных (*низ* — *низина* — *низовина*). В процессе же словообразования суффикс *-ин(а)* может выступать после твердых согласных, только смягчая их, в том числе после заднеязычных, которые при этом чередуются с шипящими, а *-овин(а)* не смягчает предшествующую согласную и не вызывает чередования. Но оба суффикса в этом случае одинаково присоединяются к твердой осно-

ве (*брюхо — брюшина — брюшвина, верх — вершина — верхвина*). Следовательно, их словообразовательная дистрибуция не может определяться указанными выше признаками: мягкостью — твердостью предшествующего согласного или местом его артикуляции. Это не значит, что морфологический фактор не влияет на выбор суффикса. Так, суффикс *-чик* действительно выступает после согласных /д/ и /т/ (кроме сочетаний «сопная + /т/»), а *-щик* «после остальных согласных» («Гр. 70», стр. 100). Но морфологический фактор является лишь одним из многих факторов, которые определяют выбор в процессе словообразования того или иного суффикса³. Неслучайно, что в «Гр. 52—54» вопрос о выборе и распределении суффиксов почти не затрагивался как еще слабо изученный.

Указывая, что словообразование слов в русском языке больше всего осуществляется посредством морфем, авторы «Гр. 52—54» определяют морфему как далее неделимый со смысловой точки зрения отрезок слова (I, стр. 10—11), относя это понятие также к важнейшим в словообразовании. Они говорят и о возможности «нулевой или отрицательной» морфемы, когда отсутствие последней в «известных условиях» имеет то или иное значение.

В «Гр. 70» понятие морфемы и сопредельных с нею единиц (морф, алломорф, вариант) рассматривается более подробно. Прежде всего они признаются значимой частью не слов, а словоформ, под которыми понимаются виды существования слов (стр. 30). Такой подход оправдывается тем, что слово всегда употребляется в какой-либо из своих форм.

В качестве минимальной значимой части «словоформы» авторы называют морф. Здесь следовало бы добавить, что речь идет о морфе данной (или отдельной) «словоформы», ибо, если говорить о словоформе в обобщенном смысле, то тогда ее минимальную значимую часть представляет (придерживаясь логики авторов) не морф, а морфема, понимаемая ими как «совокупность морфов, выступающих в различных словоформах» (стр. 32). Морфы различают корневые и аффиксальные; последние делятся на префиксальные, суффиксальные, интерфиксальные, постфиксальные и флексийные.

Алломорфы характеризуются (одновременно): тождественным значением; формальной (фонематической) близостью; незаменимостью в окружении одного и тех же морфем. Если морфы, содержащие закономерные чередования фонем (*-щик/-чик, -работ/-рабат*), могут быть признаны как действительно имеющие «фонематическую близость», то этого нельзя сказать о всех случаях, когда «один из морфов составляет часть другого» (ср. *-ск/-еск-* и *-ыва/-ва/-а-*). Наличие последнего ряда алломорфов осталось недоказанным. В разделе «Словообразование глаголов» указывается, что *-ива(ть), а(ть)₂* одинаково встречаются «после парных твердых согласных». Однако не раскрывается их специфика как «алломорфов» и дальше. Замечание о том, что «глаголы с морфом *-а(ть)₂* и *-ва(ть)* проявляют продуктивность лишь в образовании новых глаголов соответственно от глаголов на *-и(ть)* и *-(е)ть*» («Гр. 70», стр. 248), также не дает возможности судить об особенности (дистрибуции) «морфа» *-ива(ть)*, ибо тут же приводятся примеры образований с разными «морфами», соотносящимися с глаголами одного структурного типа: ср. *вдавить — вдавливать* и *вырубить — вырубать*; *заглядеться — заглядываться* и *овладеть — овладевать*, *организовать — организовывать*. Следовательно, является прямой линией утверждение, что «распределение морфов *-ива(ть)/-ва(ть)* обусловлено качеством конечной фонемы (гласной или согласной) предшест-

³ См. об этом подробнее: В. И. Максимов, Производящее слово (основа) и ее роль в словообразовании, «Р. яз. в нац. шк.», 1971, 6.

вующих морфов» («Гр. 70», стр. 33). Нет последовательности также в названии значимых отрезков *-ива*, *-ва-*, *-а-*. Они признаются то разными морфемами, то одним.

В «Гр. 52—54» морфемы *-ива(-ива-)*, *-а(-я-)*, *-ва-* последовательно рассматриваются как самостоятельные суффиксы (I, стр. 533—534). Эта точка зрения более убедительна, ибо подтверждается указанием на специфику производящих слов, избирающих данные суффиксы. Так, в рамках I продуктивного класса приставочные глаголы совершенного вида различных классов программируют суффикс *-ива(-ива-)* (*прогуляться* — *прогуливается*, *опубликовать* — *опубликовывает*), глаголы совершенного вида IV продуктивного класса — *-а(-я-)* (*заострить* — *заострять*), глаголы совершенного вида с основой на гласную — *-ва-* (*выдуть* — *выдувать*).

Если морфы способны взаимозаменяться в окружении одних и тех же морфов, они признаются вариантами соответствующей морфемы. Взаимозаменяемость эта может быть полной (*женой*, *-юю*) и частичной (ср. *бесчестие* и *бесчестье*, но *бедствие*), поэтому варианты морфов бывают также полными и частичными. Однако и тут остается неясным, являются ли значимые отрезки типа *-охоньк(ий)*, *-ошеньк(ий)* действительными вариантами одной морфемы (*белехонький*, *белешенький*) или синонимичными суффиксами (ср. еще *беленький*), как они рассматриваются в «Гр. 70», не говоря уже о более распространенных случаях. См., например, признание аллофонами (вариантами) одного суффикса таких значимых частей слова, как *-ок/-ук/-чик/-ышек* (*дубок*, *прутик*, *бокальчик*, *кольшечк*) («Гр. 70», стр. 35, 129—131).

Особо оговаривается авторами наличие таких алломорфов одной морфемы, которые не обладают фонематической близостью, хотя и выполняют одинаковые функции (*зайч-онок/зайч-ат-а*), а также функции «нулевых аффиксальных морфов» («Гр. 70», стр. 36). Последние понимаются в «Гр. 70» по сравнению с предыдущей грамматикой весьма расширительно. Например, некоторые «нулевые» суффиксы выделяются на том основании, что для выражения какого-либо словообразовательного значения (например, лица женского пола), обычно передаваемого суффиксами (*учитель-ница-а*, *студент-к-а*), в словах определенного типа они не используются (*супруг-а*). Однако признание в словах типа *супруга* нулевого суффикса является большой натяжкой в угоду концепции, ибо противоречит не только историческим данным, но и современным. Формант *-а* продолжает активно использоваться для называния лиц женского пола и в настоящее время: *Владлена*, *Ромена*, *Пальмира*. Существительные со значением лица в русском языке могут быть образованы разными способами и средствами: суффиксальными (*летчик*), префиксальными (*сотовариц*), смешанным (*землепроходец*), аббревиацией (*жомбриг*) и др., и все они рассматриваются отдельно. И только суффиксально-флексионное словообразование не признается самостоятельным.

Отметим непоследовательность в «Гр. 70» соотнесения понятий «морфема», «морф», «алломорф», «вариант». С одной стороны, алломорфами и вариантами признаются морфы «по отношению друг к другу», с другой — говорится о морфах «одной и той же морфемы», об алломорфах «одной морфемы», о вариантах «морфемы» (стр. 32, 35, 33, 34). Алломорфы и варианты предстают как разновидности то морфов, то морфем, а это не одно и то же.

Можно ли рассматривать морфему как совокупность морфов, объединяемых по указанным трем признакам (тождественности значения, фонематической близости, различия или одинаковости позиций)? Как уже отмечалось, под эти признаки могут быть подведены не только морфы, но и различные морфемы (в том числе и синонимичные). Например,

к морфам *-ок/-ик/-чик/-ышек*, рассматриваемым в качестве одной морфемы, можно было бы подключить *-к(а)*, *-к(о)* и т. п., которые признаются самостоятельными суффиксами. Все они имеют тождественное значение (уменьшительно-ласкательное), фонематическую близость (наличие общего *к*, ср. *-ок/-ик*), обычно отличаются позицией, но могут и не отличаться (например, *-чик* и *к-а*, *-к-о*), одинаково встречаются после сочетаний «гласный + согласный» (*самовар-чик/конур-к-а*; *рукав-чик/канав-к-а/пив-к-о*). Дело здесь, конечно, не в формальной позиции, а в том, что *-ок-*, *-ик-*, *-чик-*, *-ышек* избираются существительными мужского рода (*самовар*, *рукав*), *-к(а)* — существительными женского рода (*конура*, *канав*), *-к(о)* — среднего рода (*пиво*).

Различно в рассматриваемых трудах и толкование словообразовательного типа. Авторы «Гр. 52—54» исходят из того, что семантически единая категория производных может создаваться разными средствами (ср. *нос-и-льщик*, *нос-и-тель*, *оруже-нос-ец*, *арф-ист*) и одинаково звучащий суффикс может участвовать в создании семантически разных категорий слов (*бисер-ин-а*, *писан-ин-а*, *свин-ин-а*, *шир-ин-а*).

Отсюда они делали вывод, что словообразовательный тип — это «всякий ряд слов, характеризуемый семантическим единством, а также единством способа словообразования» (I, стр. 43). Поэтому все суффиксы, образующие, например, имена существительные, делились ими прежде всего на группы в соответствии с характером обозначаемых этими существительными явлений (лиц, животных, предметов, отвлеченных понятий, субъективной оценки) независимо от принадлежности производящих слов к определенной части речи. Однако такое определение словообразовательного типа все же не отражает всех его сторон, так как в целом не выходит за границы лексики («рядов слов»), а упоминавшееся «единство способа образования» — это понятие слишком широкое. В «Гр. 70» словообразовательный тип рассматривается уже как основная единица классификации словообразовательной системы. Указывается, что это формально-семантическая схема построения слов, абстрагированная от конкретных лексических единиц, характеризующихся общностью: а) формального показателя, отличающего мотивированные слова от их мотивирующих; б) части речи мотивирующих слов; в) семантического отношения мотивированного слова к мотивирующему (словообразовательное значение) (стр. 39). Рассмотрим указанные признаки словообразовательного типа по отдельности.

«Формальный показатель, общий для всех образований одного типа и, следовательно, являющийся носителем словообразовательного значения», называется еще формантом («Гр. 70», стр. 39). В его состав может входить не одно, а несколько словообразовательных средств, например, суффикс и система флексий мотивированного слова: *вод-н(ый)*, *толк-ну(ть)*; суффикс в сочетании с постфиксами: *горд-иться*, *нужд-аться*; сумма формантов, присущих составляющим способам словообразования (там же, стр. 41): *без-рук-ий*, *раз-бежаться*. Однако по каким признакам и для чего в этом случае выделять форманты? В чем их специфика, каковы их функции? Как их отличить от морфем (морфов)? При таком формализованном подходе не только возникает масса новых вопросов в теории и практике словообразования, но фактически затушевывается роль каждого из непосредственно составляющих производное (производящей основы, словообразовательного и формообразовательного элементов). Их взаимоотношения в процессе словообразования настолько многообразны и сложны⁴, что не дифференцированное, а совместное рассмотрение их не смо-

⁴ См. подробнее об этом: В. И. М а к с и м о в, Суффиксальное словообразование имен существительных в русском языке, I, Л., 1975, гл. 1—3.

жет раскрыть специфику того или иного словообразовательного типа в целом, того или иного производного, в частности, возвращает нас к тому времени, когда не различали разновидностей морфем и других непосредственно составляющих. Например, может ли раскрыть специфику словообразовательного типа, по которому образованы слова *объедала*, *подлипала*, указание на то, что в них выделяется формант *-л(а)*? Эти слова являются омонимами, могут восприниматься и как существительные, и как глаголы в форме прошедшего времени, хотя и восходят к одним и тем же производящим основам. Следовательно, и «форманты» должны быть признаны здесь омонимичными, а это уже подменяет принятую систему представлений о значимых частях слова, о роли в процессе словопроизводства каждого из них расплывчатыми и к тому же поверхностно описанными представлениями о «формантах».

Если «Гр. 52—54» к одному словообразовательному типу относила производные одного «способа образования», независимо от принадлежности производящего слова к той или иной части речи, то «Гр. 70» рекомендует дифференцировать словообразовательные типы и в зависимости от «части речи мотивирующих слов». Посмотрим, удалось ли ее авторам последовательно выдержать этот принцип? В одних случаях производные с определенным аффиксом действительно рассматриваются ими в разных местах и причисляются к разным словообразовательным типам в зависимости от принадлежности мотивирующих основ этих производных к той или иной части речи. Это относится, например, к названиям мяса с суффиксом *-ин(а)*, рассматриваемым дважды: в рамках отсубстантивных образований (*кабанина: кабан*) и «отадъективных» (*волovina: воловий*), к названиям празднеств, обычаев с суффиксом *-ин(ы)*, анализируемым в рамках и отглагольных образований (*смотрины: смотреть*), и отсубстантивных (*октябрины: октябрь*).

В других случаях авторы как будто бы видят противоречивость и неудобство такой классификации словообразовательных типов и все производные с тем или иным аффиксом укладывают в рамки определенно-го типа независимо от принадлежности мотивирующих основ этих производных к определенной части речи. Так, рассматривая территориальные названия с суффиксом *-щин(а)*, *чин(а)* (*Полтавщина, Смоленщина*) в рамках отадъективных образований, они здесь же отмечают, что такие названия мотивируются не только прилагательными, но и существительными («Гр. 70», стр. 88).

Отметим также многочисленные противоречия в понимании словообразовательного значения. В приведенном определении словообразовательного типа указано лишь одно из его толкований — как семантическое отношение мотивированного слова к мотивирующему. Отметим и другие. Так, указывается, с одной стороны, что словообразовательное отношение «о бы ч н о выражается в системе языка аффиксом» (там же, стр. 36, 37, 40), а с другой — отмечается, что «это значение, присущее слову в целом, ...и формально выраженное внутрисловными средствами в части слов» и в то же время свойственное всем словам, относящимся к данному словообразовательному типу. Выходит, что аффиксы, выражая словообразовательное значение, сами его не имеют, а соответствующее производное, имея это значение, не выражает его. Вряд ли можно утверждать, что аффиксы, как и все морфемы, — минимальные значимые части слова, что морфы имеют словообразовательное значение, но их значение является лишь составной частью словоформы в целом, и далее, что «носителем словообразовательного значения является формальный показатель» (в который может входить несколько словообразовательных средств) (там же, стр. 31, 32, 30, 39). Во всем этом сказывается, в частности, теоре-

тическое неразграничение значения и функции формы и слова (там же, стр. 3, 4, 37, 40).

Сопоставление теоретических позиций («моделей описания») и результатов описания конкретного материала в указанных академических трудах по грамматике современного русского литературного языка позволяет сделать следующие выводы для их практического использования в методике изучения языка.

1. Признание системности языка и необходимости давать описание именно системы языка — очень важный общий исходный принцип в современной лингвистике, который может и должен учитываться и в прикладном языкознании. Однако признание этого принципа не гарантирует еще того, что разными исследователями будет дано одинаковое или хотя бы близкое описание системы. Многое здесь зависит от наличия предшествующих исследований системных отношений между конкретными языковыми явлениями (единицами) одного уровня и разных уровней, но не меньше от других принципов, положенных в основу описания.

2. Стремление к полноте описания, в том числе языкового материала, дает возможность осветить функционирование системы во всех ее звеньях и деталях, например, более точно сформулировать практические правила, выделить исключения, часто с полным перечнем относящихся к ним языковых единиц. Полнота теоретического описания системы языка и соответствующего языкового материала дает также большую возможность использования его результатов в прикладном языкознании, в частности, с учетом целей и этапа обучения. Отход от принципа полноты научного описания делает невозможным адекватное отражение функционирующей системы, на развитие которой влияют явления разных уровней, продуктивности, значимости. Это все равно, что, не зная еще механизма действия языковой системы, заранее объявлять «релевантными» только те явления, которые исследователям попались на глаза, и несущественными — не ставшие предметом изучения.

3. Теоретические построения системы, выводимые из анализа широкого круга языковых фактов, опирающиеся на частные наблюдения и обобщения, обладают большей достоверностью, практической ценностью. В прикладном языкознании трудно, а то и невозможно использовать результаты такого способа описания, при котором языковые факты либо подгоняются под заранее созданные предельно формализованные схемы («модели»), либо игнорируются как несоответствующие определенным теоретическим установкам.

4. Диахронно-синхронный подход к описанию языка по сравнению со «строго синхронным» в данном случае способствует более полному раскрытию особенностей системы современного языка (не в статике, а в динамике), тенденций в ее развитии, выявлению и ограничению в ней активизирующихся и архаизирующихся (отживших) структурных элементов, их соотношения. Такой подход по-иному освещает само понятие синхронности, раскрывая ее со стороны функциональной, а не абстрактно-формальной. Наконец, такой подход имеет большое значение и для практики преподавания, ибо значительная масса обучающихся так или иначе читает (или стремится читать) русскую классическую литературу, начиная с Пушкина. Следовательно, обучающиеся, с одной стороны, должны быть подготовлены к чтению этой литературы в языковом плане, а с другой — через чтение ее они знакомятся с современным русским литературным языком.

Безусловно, что при более ограниченных целях обучения (общение в пределах бытовой тематики, чтение научной, технической и даже художественной литературы, относящейся к последним десятилетиям) может

и должен быть более узкий подход к пониманию синхронности. Но описание узкосинхронного среза языка, охватывающего период не в полтора столетия, а, скажем, в два-три строго определенных десятилетия в целях адекватности все равно должно быть предварительно исследованиями всех уровней языка в диахронно-синхронном плане; обязательно должно быть последовательным и не отождествляться с абстрактно-формализованными схемами⁵. Такое описание — одна из важнейших задач лингвистов и методистов, которая во многом еще ждет своего решения.

5. В терминах принятых в «Гр. 70» теоретических позиций⁶ оказалось невозможным адекватное описание системы русского литературного языка середины нашего века. Предложенная в ней экспериментальная модель описания в рассмотренных случаях не выявила преимуществ, а в ряде случаев усугубила слабости «Гр. 52—54», вызванные недостаточностью исследования конкретных вопросов или нехваткой материала. Принципы описания, декларированные в последней, для прикладного языкознания пока имеют большее теоретическое и практическое значение.

⁵ Нельзя не согласиться с Ф. П. Филиным, который отмечал, что «для структурализма характерен резко выраженный синхронизм. Разумеется, синхронное описание языка (в его настоящем и прошлом) как определенный прием вполне закономерно. Для более точного определения состояния языка такое описание имеет ряд преимуществ, поскольку при его применении настоящее не заслоняется прошлым, не смешивается действительное с уже не существующим. Однако, когда синхронизм из приема описания превращается в методологический принцип, он становится антиисторизмом» (Ф. П. Ф и л и н, «О некоторых философских вопросах языкознания, в кн. «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970, стр. 17).

⁶ В конечном счете с дескриптивистских позиций. Ср., например, трехэтапный словообразовательный анализ у дескриптивистов (сегментация — идентификация — объединение морфем в определенные классы) и у авторов «Гр. 70» (членение — объединение морфем в морфемы — объединение словообразовательных типов в способы словообразования).

Р. К. ПОТАПОВА

**К ТИПОЛОГИИ ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧИ
В ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ**

Результаты экспериментальных исследований последних лет свидетельствуют о том, что временная организация речи является сложным феноменом¹. Целым рядом исследователей неоднократно подчеркивалось, что изучение любого физического процесса нереально вне изучения протекания этого процесса во времени. В связи с этим временная характеристика рассматривалась как элементарная и в то же время фундаментальная характеристика речевого сигнала. Предпринимались попытки разработки принципов сегментации высказывания, что рассматривалось как поиск соответствия между дискретными глубинными единицами языка и некоторыми участками непрерывной речевой волны. Поиск подобного соответствия создал позитивные предпосылки для разработки принципов послоговой сегментации речевого потока. Удалось также установить, что для различных языков характерен определенный тип временной организации слога. Известны также попытки доказать, что при речевой реализации слова последнее программируется с точки зрения временной организации как единое целое, причем корреляция по длительности существует между всеми сегментами, конституирующими слово².

Основная задача настоящего исследования состоит в поиске и сопоставительном описании речевых сегментов, коррелирующих между собой по длительности в рамках высказывания. Исследование проводилось поэтапно на материале немецкого, английского, шведского и датского языков. Число единиц ad hoc — экспериментального материала, принцип их подбора, количество дикторов-носителей орфоэпической нормы современных немецкого, английского, шведского и датского языков — варьировало в зависимости от конкретных задач, стоящих на том или ином этапе исследования.

На первом этапе исследования экспериментальный корпус включал фразы на материале английского и немецкого языков, составленные с учетом целого ряда требований контекстуального характера ($n = 6$)³. Исследование включало три серии проверки характера корреляции по длительности между сегментами высказывания. Задача первой серии заклю-

¹ Л. А. Чистович, Проблемы исследования временной организации речи, сб. «Вопросы теории и методов исследования восприятия речевых сигналов», Л., 1972

² Л. А. Чистович и др., Речь, артикуляция и восприятие, М.—Л., 1965; Л. В. Бондарко, Слоговая структура речи и дифференциальные признаки фонем, ДД, Л., 1969; I. Lehiste, Temporal organization of spoken language, сб. «Form and substance», [Copenhagen], 1971; е е же, Temporal compensation in a quantity language, «Actes du VII Congrès international des sciences phonétiques», Montréal, 1971; Р. К. Потапова, Некоторые вопросы сегментации речевого потока на слог, сб. «Звуковая и семантическая структура языка», Фрунзе, 1975; е е же, Лингвистические и нелингвистические критерии слогаделения, сб. «Иностранные языки в высшей школе», 2, Рига, 1975; F. Schindler, Faktoren phonetischer Performanz, Wiesbaden, 1975; R. K. Potapova, On the nature of temporal dependence between the elements of the utterance, «Abstracts of papers. VIII International congress of phonetic sciences», Leeds, 1975.

³ Экспериментальный материал был начитан в студийных условиях носителями языка: немцами ($n = 15$), англичанами ($n = 10$). Значения длительности (м/сек) для

чалась в определении наличия или отсутствия корреляции по длительности между двумя соседними звуковыми сегментами каждого слова в составе фразы по схеме: С — $\dot{\Gamma}$ и $\dot{\Gamma}$ — С. Задача второй серии была определить характер корреляции по длительности между сочетаниями сегментов слова во фразе по схеме: С $\dot{\Gamma}$ — С'/С' $\dot{\Gamma}$ и С $\dot{\Gamma}$ С — /С/ $\dot{\Gamma}$. Задача третьей серии состояла в выявлении характера корреляции по длительности между гласными слова во фразе: $\dot{\Gamma}$ — $\dot{\Gamma}$.

Измерение коэффициента корреляции и проверка гипотезы H_0 о независимости временной связи между сегментами С — $\dot{\Gamma}$ и $\dot{\Gamma}$ — С, взятыми последовательно в составе анализируемых фраз, показали, что для английского и немецкого языков результаты идентичны в плане общности тенденции. Для английского языка характерно наличие отрицательной корреляции по длительности между гласным и последующим согласным $\dot{\Gamma}$ — С в структуре слова независимо от позиции этого слова во фразе. Для немецкого языка было выявлено также наличие отрицательной корреляции для сочетания $\dot{\Gamma}$ — С, однако в основном в словах, занимающих конечную позицию во фразах. Проиллюстрируем определение \bar{r} и t_0 для установления наличия — отсутствия корреляции по длительности для двух соседних звуков [æk-] в структуре [— —], занимающей конечную позицию в экспериментальной фразе (см. табл. 1).

Таблица 1

Исходные данные для определения $\bar{r} = -0,91$;
 $t_0 = -6,66 (t_0 > t_{кр})$

№№	x_i	x_i^2	y_i	y_i^2	$x_i y_i$	a_1	a_2	n_1	n_2
1	120	14 400	160	25 600	19 200	91	128	22	38
2	100	10 000	130	16 900	13 000				
3	120	14 400	120	14 400	14 400				
4	120	14 400	90	8 100	10 800				
5	100	10 000	100	10 000	10 000				
6	100	10 000	140	19 600	14 000				
7	60	3 600	150	22 500	9 000				
8	60	3 600	100	10 000	6 000				
9	80	6 400	120	14 400	9 600				
10	60	3 600	160	25 600	9 600				
11	80	6 400	140	19 600	11 200				

Примечание: x_i и y_i — абсолютные значения длительности гласного и последующего согласного (в м/сек).

Проверка H_0 гипотезы о независимости связи в соответствии с задачей второй серии исследования показала, что как для английского, так и для немецкого языков характерно наличие положительной корреляции по длительности между сегментами С $\dot{\Gamma}$ С и (С) $\dot{\Gamma}$ внутри слова. Корреляции между звуко сочетаниями иного типа С $\dot{\Gamma}$ и С(С) $\dot{\Gamma}$ в составе тех же слов во фразах не наблюдалось. Сопоставление значений длительности гласных показало, что между последними также существует положительная корреляция.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что длительность составляющих речевого высказывания реализуется с разной степе-

каждого анализируемого сегмента просчитывались по интограммам. Для выявления корреляции по длительности между анализируемыми сегментами высказывания в каждом конкретном случае определялся коэффициент корреляции \bar{r} . Гипотеза H_0 о независимости связи проверялась с помощью двустороннего t -критерия при 5% уровне значимости.

пенью регулярности и имеет иерархический характер. Принимая во внимание иерархический характер временной корреляции между сегментами высказывания, представляется целесообразным в процессе исследования временной организации речевого высказывания пользоваться следующей схемой: вычленение в качестве объекта исследования временных связей на субзвуковом и звуковом уровнях в рамках слога, на слоговом уровне в рамках фонетического слова, на уровне гласных сегментов как основных носителей супrasegmentной информации в рамках фразы.

На материале наших данных рассмотрение в качестве объекта исследования временных связей на звуковом уровне показало, что для английского и немецкого языков подтвердилась правомерность утверждения относительно наличия отрицательной корреляции по длительности между гласными и последующим согласным. Однако в отличие от данных, полученных ранее, длительность анализируемых сегментов рассматривалась нами не в изолированном звукосочетании типа ГС, а в речевой динамике. Дальнейшее варьирование сегментов в плане изменения характера комбинаторики показало, что для исследуемых языков в целом ряде случаев имеет место значимая временная зависимость между сегментами, сксmbинированными по принципу СГС — (С)Г(С). Что же касается корреляции по длительности между гласными слов во фразе, то здесь, очевидно, мы имеем дело скорее не с временной организацией низшего уровня, непосредственно связанной с эффектом коартикуляции, а с временной организацией, связанной в большей степени с реализацией гласных по определенной временной программе более сложного целого — высказывания. Принятие во внимание особенностей реализации высказывания в целом приносит нечто новое в картину временной зависимости частей внутри целого. Как показали результаты исследований на материале различных языков, в данном случае на первый план выдвигается влияние позиционного фактора.

На основании вышеизложенных данных можно полагать, что временная архитектура речевого высказывания представляет собой не простую сумму значений длительности составляющих высказывание, а более сложную целостность, состоящую из относительно автономных единств, временная организация которых обусловлена как сегментно-супrasegmentной спецификой самих единств, так и соответствующей спецификой всей структуры в целом.

Дальнейшее исследование проводилось на материале немецкого, английского, шведского и датского языков. Экспериментальный корпус был подобран согласно принципу межъязыковых фонетических минимальных пар. Например: нем. *wissen*, англ. *wishes*, швед. *vissen*, дат. *vissen*; нем. *Nickel*, англ. *nickel*, швед. *nickel*, дат. *nikkel*; нем. *ein Gaffer*, англ. *a gaffer*, швед. *en gaffel*, дат. *en gaffel*; нем. *ein Fisch*, англ. *a fish*, швед. *en fisk*, дат. *en fisk*. Для каждого из исследуемых языков была составлена надежная в статистическом отношении выборка межъязыковых минимальных пар, которые помещались во фразы, одинаковые по своей слоговой длине, ритмическому рисунку и синтаксическому построению. Непосредственный интерес представлял фактор позиционного варьирования анализируемых сегментов⁴.

⁴ Методика записи экспериментального материала и фиксации длительности оставалась прежней. В эксперименте участвовали дикторы: немцы ($n = 6$), англичане ($n = 7$), шведы ($n = 6$), датчане ($n = 5$). Каждый диктор начитывал экспериментальный материал по пять раз. Для выявления характера корреляции по длительности между анализируемыми сегментами применялся коэффициент корреляции \bar{r} ; гипотеза H_0 о независимости связи проверялась, как и на первом этапе исследования, с помощью двустороннего t -критерия при 5% уровне значимости.

На данном этапе исследования представлялось необходимым выявить: а) характер корреляции по длительности между соседними звуковыми сегментами слова, произнесенного изолированно, а также во фразе (в начальной и конечной позициях); б) наличие или отсутствие значимой корреляции по длительности между соседними субзвуковыми сегментами типа: смычка (дифференцированно для озвонченного и оглушенного участков), эксплозия, фрикция, аспирация; в) характер временной корреляции между гласными слова, произнесенного изолированно, а также в составе фразы. В результате обработки полученных данных было установлено, что достаточно надежная зависимость по длительности характеризует звуковые сегменты в сочетаниях С — Г и Г — С на материале исследуемых языков в различной степени. Так, например, для немецкого и английского языков вновь подтвердилась правомерность утверждения относительно наличия отрицательной корреляции по длительности между звуковыми сегментами в последовательности Г — С. Следует отметить, что в данном случае рассматривались односложные и двусложные слова с кратким ударным гласным. Что же касается долгих ударных гласных, то, в частности, на материале немецкого языка удалось выявить корреляцию по длительности между долгим гласным и предшествующим согласным, для долгого гласного и последующего согласного обнаружить подобной корреляции не удалось.

Временная связь, выявленная для последовательности Г — С, не претерпевала существенных изменений в зависимости от варьирования позиции, что свидетельствует об относительной прочности временной связи между звуковыми сегментами, образующими закрытый слог в исследуемых языках. Полученные данные позволяют утверждать, что модель временной компенсации на сегментном уровне в структуре типа ГС для английского и немецкого языков существенно не модифицируется даже в тех случаях, когда это сочетание становится частью более высокой структуры порядка. Причем для английского языка эта тенденция прослеживается более регулярно, чем для немецкого.

Для шведского языка наблюдалась несколько иная картина, позволяющая констатировать наличие корреляции по длительности как для последовательности звуковых сегментов С—Г, так и для последовательности Г—С. Интересно отметить, что этот тип временной зависимости прослеживался не только фрагментарно на материале различных слов, но также и в рамках одного и того же слова, например, в слове *fisk* для последовательностей *f — i* и *i — s*. В основном временная зависимость в сочетаниях СГ и ГС для шведского языка достаточно регулярно прослеживалась на материале изолированно произнесенных слов. Для датского языка следует констатировать наличие корреляции по длительности между звуковыми сегментами в сочетании Г—С, что подтверждает правомерность выводов, полученных ранее другими исследователями на материале изолированно произнесенных слов⁵.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что временная связь на сегментно-звуковом уровне в рамках слога в слитной речи менее прочна для одних языков и более прочна для других. Это означает, что вовлечение звуковых сегментов в последовательность речевого континуума может либо существенно модифицировать тип временной связи между соседними звуковыми сегментами, либо не оказывать на него значительного влия-

⁵ I. Lehiste, Temporal organization of spoken language; M. Kloster-Jensen, Long consonant after short vowel, «Proceedings of the IV International congress of phonetic sciences, Helsinki, 1961», The Hague, 1962.

ния, ведущего к временному перераспределению. В первом случае временная связь между составляющими слога достаточно мобильна, что ведет к возникновению новых типов временной корреляции, во втором случае временная связь между составляющими слога достаточно прочна, что ведет к сохранению относительной целостности структуры слога в потоке речи. Этот вывод представляется нам достаточно правомёрным, что свидетельствует о природной гибкости структуры слога как основного материального кванта, несущего на себе всю тяжесть речевого построения. В связи с этим представляется уместным привести высказывание Н. Винера: «...негибкий мир можно назвать организованным только в том смысле, в котором организован мост, все детали которого жестко скреплены друг с другом. В подобном сооружении каждая деталь зависит от всех остальных и все части постройки играют одинаково важную роль. В результате на этом мосту нет участков, которые могли бы принять на себя наибольшее напряжение, и если только он не сделан целиком из материалов, могущих выдержать без заметных деформаций большие внутренние напряжения, то почти наверняка концентрация напряжений приведет к тому, что мост рухнет, лопнув или разорвавшись в том или другом месте. На самом деле, мост, как любое другое строение, выдерживает нагрузку только потому, что он не является стопроцентно жестким»⁶. Ad modum можно полагать, что именно бóльшая или меньшая степень свободы во временном перераспределении составляющих слога в зависимости от произносительной базы того или иного языка, а также различных лингвистических и экстралингвистических факторов ведет к конечному эффекту реализации высказывания, а, следовательно, и к осуществлению самого акта коммуникации в целом. При этом функционирование слога в потоке речи дает возможность д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь сообщение на дискретные составляющие и одновременно и н т е г р и р о в а т ь последние в целостную информативную в языковом плане структуру.

Дальнейший анализ на уровне субзвуковых сегментов позволил установить наличие корреляции по длительности между такими участками, как, например, глухая смычка и последующая фрикция. Для шведского языка прослеживалась тенденция к установлению подобной зависимости между длительностью глухой смычки напряженного смычного согласного и длительностью последующего участка фрикции. На материале датского языка прослеживалась регулярная зависимость между длительностью участка фрикции напряженного смычного согласного и длительностью последующего и предшествующего гласных. Вышеизложенные результаты носят предварительный характер и нуждаются в проверке на большей выборке, однако обнаруженная тенденция позволяет предположить, что временное структурирование распространяется не только на уровень звуковых сегментов, но также и на уровень субзвуковых сегментов.

На следующем этапе исследования была поставлена задача — определить характер изменения временной структуры слога и его составляющих в зависимости от изменения слоговой длины высказывания. В исследованиях подобного рода обычно постулировалось: изменение высказывания в сторону увеличения числа его составляющих ведет к временной компрессии последних⁷. Следует подчеркнуть, что в наиболее абсолютной форме

⁶ Н. Винер, Я — математик, М., 1964, стр. 309.

⁷ В. Lindblom, Temporal organization of syllable production, «Proceedings of VI international congress on acoustics», Tokyo, 1968; R. Carlson, B. Granström, В. Lindblom, K. Rapp, Some timing and fundamental frequency characteristics of Swedish sentences, «Speech transmission laboratory quarterly progress and status report», 4, Stockholm, 1972; N. Umeda, C. H. Coker, Subphonemic vari-

этот вывод был получен на материале бессмысленных слов и/или фраз, так называемом нонсенс-материале. На основании данных, полученных в результате анализа нонсенс-материала, делались выводы о том, что эти данные могут быть автоматически перенесены в сферу естественного языка и использованы для построения модели временной структуры высказывания, а также для создания правил синтеза речи. Степень достоверности подобного подхода была предметом специального рассмотрения⁸.

Исследование характера зависимости длительности составляющих высказывание от изменения слоговой длины последнего проводилось на материале английского и немецкого языков. Для статистической оценки характера изменения длительности сегментов применялся метод дисперсионного анализа (однофакторного и двухфакторного с повторениями), а также модифицированный *t*-критерий. Однофакторный дисперсионный анализ позволяет выяснить, находятся ли различия в длительности сегмента при определенных уровнях воздействия фактора в пределах, допустимых для выбранного уровня значимости. Двухфакторный анализ с повторениями имеет целью то же, но для двух различных факторов, каждый со своими уровнями. Кроме того, при двухфакторном анализе с повторениями устанавливается наличие корреляции между факторами. Модифицированный *t*-критерий используется при сравнении средних для двух уровней. При всех видах анализа за основу брался 5% уровень значимости. Анализу подвергались относительные значения длительности. Данные, полученные в результате проведения дисперсионного анализа относительных значений длительности сегментов, свидетельствуют о том, что изменение слоговой длины фразы в сторону ее увеличения далеко не всегда ведет к временной компрессии составляющих, в частности, слога (см. табл. 2).

Таблица 2

Относительные значения длительности первого ударного слога во фразах, различающихся по своей слоговой длине (на материале английского языка)

№№ длительностей	I массив фраз			II массив фраз		
	число слогов			число слогов		
	5	8	11	5	8	10
1	0,91	0,92	0,94	1,70	2,10	2,10
2	1,01	1,08	1,07	1,90	1,70	2,30
3	1,20	1,03	1,17	1,60	2,00	2,00
4	0,95	1,05	1,05	2,00	2,00	2,10
5	1,08	1,03	0,94	1,60	1,80	2,20
6	1,02	0,95	1,04	1,40	1,60	1,50
7	0,64	0,78	0,78	1,50	1,80	1,80
8	0,76	0,81	0,71	1,40	1,90	1,90
9	0,72	0,67	0,73	1,80	2,60	2,20

По-видимому, изменение длительности анализируемых сегментов высказывания подчинено влиянию не только факторов чисто фонетического (речевого) плана, но также влиянию языковых и ситуативных факторов.

ations in American English, сб. «Auditory analysis and perception of speech», London, 1975; B. Lindblom, Some temporal regularities of spoken Swedish, там же; A. Mutanen, Factors conditioning consonant duration in consonantal context with special reference to initial and final consonant clusters in English, Helsinki, 1973.

⁸ Р. К. Потанова, В. И. Френкель. Об одном методе установления адекватности временной структуры речи, «Изв. АН КиргССР. Общественные науки», 1974, 4.

Наращивание числа слогов высказывания представляет собой процесс далеко не упрощенного характера, что наблюдается, например, на нонсенс-материале, а является сложным процессом, при котором «работают» все уровни языка и вследствие этого возникают новые временные связи⁹.

Далее следует остановиться особо на явлении рамочного структурирования временной реализации начала — конца фразы (колона)¹⁰. Задача заключалась в выявлении сегмента слога, берущего на себя функцию временного компенсатора в случаях изменения длительности всего слога в целом в зависимости от модификаций позиционного плана. При этом предполагалось, что для открытого и закрытого слогов сегмент, выступающий в роли временного компенсатора, будет локализоваться различным образом. Следуя универсальному принципу экономии, логично предположить, что временные модификации слога, вызванные влиянием позиции, не свойственны в равной степени всем составляющим слога, а в зависимости от структуры последнего могут функционировать строго избирательно. Экспериментальный материал, составленный с учетом целого ряда требований сегментно-контекстуального характера, давал возможность проследить и сопоставить изменения длительности анализируемых сегментов слога в зависимости от позиционного варьирования последнего. Причем анализу подвергалась не только относительная длительность слога, но также и относительная длительность его составляющих. Для открытого слога рассматривалась зависимость значений длительности для СГ в целом, а также для С и Г отдельно. Для закрытого слога аналогичный анализ относительной длительности был проведен применительно к СГС в целом, а также для С (начального), Г, С (конечного). Полученные относительные данные были обработаны с помощью однофакторного дисперсионного анализа и модифицированного *t*-критерия.

Следует отметить, что анализируемые ударные гласные, стоящие в начальной, срединной и конечной позициях во фразе, различались по своей собственной длительности. Это обстоятельство могло исказить определенные влияния фактора позиции во фразе на длительность анализируемых сегментов. С целью достижения относительной долготной идентичности была предпринята попытка введения коэффициента, основанного на данных о средней длительности гласных в английском языке¹¹. Введение коэффициента позволило элиминировать различия по собственной длительности для ударных гласных в экспериментальных фразах. В ходе анализа была обнаружена тенденция к позиционному изменению длительности. Результаты обработки экспериментального материала показали, что длительность анализируемого слога (как открытого, так и закрытого) варьирует позиционно. Причем это варьирование носит более регулярный характер, чем варьирование длительности соответствующего слогообразующего гласного (см. табл. 3).

Однако следует отметить, что для разных типов слога локализация звукового сегмента, играющего ведущую роль в изменении длительности всего слога в целом, различна. Длительность открытого слога позиционно варьирует за счет изменений длительности слогообразующего гласного, что особенно ярко проявляется в реализациях долгих гласных англий-

⁹ Подробнее см.: Р. К. Потпова, Анализ объективной длительности немецких гласных; е е же, Анализ объективной длительности английских гласных (в отчетах ЛЭФИПР МГПИИЯ им. М. Тореза за 1973 г.).

¹⁰ Наличие временной отмеченности рамочного типа было проверено на материале русского языка методом «анализ — синтез — анализ». Подробно см.: Р. К. Потпова, Some timing characteristics of spoken Russian, сб. «Speech communication», 2, Stockholm, 1975.

¹¹ A. S. House, On vowel duration in English, JASA, 1961, 33.

Таблица 3

Позиционное изменение значений относительной длительности гласного и слога в экспериментальных фразах

№№ фраз	Слог	Гласный	№№ фраз	Слог	Гласный
1	+	+	6	+	—
2	+	—	7	+	+
3	+	—	8	+	+
4	+	—	9	+	+
5	+	—	10	+	—

Примечание: Знаком + обозначены регулярные значимые изменения длительности сегмента, знаком — — отсутствие подобных изменений (согласно модифицированному t критерию).

ского и немецкого языков. Позиционное варьирование длительности закрытого слога осуществляется, как правило, за счет изменения длительности согласных. Причем регулярным временным компенсатором в данном случае выступает поствокальный согласный, что позволяет сохранить относительную стабильность структуры слога в целом. Наиболее последовательно функция временного компенсатора выполняется поствокальным сонантом, для которого характерен в целом ряде случаев амбисиллабический статус. Таким образом, позиционные временные модификации слога в английской и немецкой слитной речи реализуются согласно принципу временной компенсации в зависимости от типа слога. Маркированным в этом плане может выступать как гласный, так и поствокальный согласный. В связи с временной маркированностью слога и его составляющих для позиций начала — конца фразы (колона), с нашей точки зрения, представляется целесообразным ввести для описания слога в вышеуказанных позициях дефиницию тяжелого слога. Понятие тяжелого слога в данном случае не имеет ничего общего с понятием фонологического-силлабического долгого¹², а целиком проецируется на плоскость изменения (в сторону увеличения) реальной длительности слога и его составляющих в речевой динамике. Таким образом, понятие тяжелого слога в данном случае служит для обозначения особого количественного статуса слога. Наличие тяжелого слога может сигнализировать о позиционной принадлежности данного слога, что свидетельствует о делимитативной функции тяжелого слога в речи.

Сравнительное изучение языков носит, как правило, теоретический характер и относится преимущественно к историческому аспекту проблемы. Типологические проблемы исследования фонетического строя группы родственных языков, взятые в синхронном срезе, решаемые с помощью инструментальных методов исследования, остаются далеко не разработанными. В то же время следует отметить, что если проблемы фонологии и интонации родственных языков нашли в какой-то мере освещение в специальной литературе, то проблема слоговой типологии остается слабо разработанной. Следует подчеркнуть, что при сопоставлении языков по традиции выдерживается один и тот же принцип: от описания звукового строя к описанию интонации, минуя описание структуры слога, принципов построения речевого высказывания как последовательности слогов, организованной по правилам просодии того или иного языка. В то же

¹² P. Newman, Syllable weight as a phonological variable, «Studies in African linguistics», III, 3, Los Angeles, 1972.

время известно, что фонетическая структура слога и принципы построения слоговой цепочки в потоке речи порождают именно то своеобразие звучащей речи, которое обычно относится к сфере реализации речевой просодии того или иного языка. Слогоделение представлено в лучшем случае как описание набора правил, основанных на чисто фонологическом подходе без учета фонетических модификаций слоговых структур в речевой динамике. Не учитывается влияние на фонетическую выраженность слога таких факторов, как степень выделенности, позиция, фонетический контекст и т. д. В то же время бесспорно, сколь велико влияние этих факторов на речевую реализацию слоговых структур. В связи с изложенным представляется необходимой разработка проблемы парадигматической и синтагматической типологии слоговых структур с конечной целью нахождения собственных различительных признаков слога.

Обобщая данные исследования частнотипологического характера¹³, можно предположить, что вариативность временной организации речевого высказывания является конечным продуктом воздействия со стороны факторов: а) физиологического, обусловленного особенностью строения речевых органов человека; б) физиолого-лингвистического характера, обусловленного законами коартикуляции в соответствии с особенностями произносительной базы того или иного языка; в) лингвистического, обусловленного действием фонологических и синтаксических правил языка; г) просодического, обусловленного установкой акта коммуникации в целом.

Естественно, что данная дифференциация носит условный характер. В процессе временного программирования речевого высказывания действие одних факторов накладывается на действие других. Вместе с тем эта дифференциация субстанционально обоснована и способствует вскрытию тенденций и закономерностей как общетипологического, так и частнотипологического характера. Следует подчеркнуть, что феномен временной организации речи, будучи связанным с физиологическим механизмом, является достаточно универсальным, в то время как феномен временной организации, обусловленный законами коартикуляции на базе произносительных особенностей того или иного языка, а также действием лингвистических и просодических правил, предполагает наличие определенного числа расхождений по тому или иному признаку.

¹³ Г. П. Торсуев, Разновидности типологии языков и показатели фонетической и фонологической типологии, сб. «Структурно-типологическое описание современных германских языков», М., 1966.

И. Р. ГАЛЬПЕРИН

К ПРОБЛЕМЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КОНТЕКСТА

В последнее время появилась новая область языковедческих исследований, получившая название «лингвистики текста» или «грамматики текста». Оба термина знаменательны. Как и всякая номинация, они устанавливают наблюдаемое и познанное. Предпочтение, как мне представляется, надо отдать названию «грамматика текста», поскольку она противопоставлена грамматике предложения. Термин «лингвистика текста» в какой-то степени абсолютизирует текст, выводя его за пределы собственно фактов языка и речи.

Грамматика текста обязывает исследователя прежде всего установить категориальные признаки, которые определяют понятие «текст». До сих пор категории грамматики текста еще не приведены в какую-либо систему, да и сами категории не подвергались обособлению как признаки текста. Между тем, многие категориальные признаки грамматики текста не совпадают с категориальными признаками грамматики предложения, хотя, как это часто имеет место в процессе номинации, приходится пользоваться одними и теми же обозначениями. Среди категорий грамматики текста, которые выделяются нами как существенные и определяющие само понятие «текст», можно упомянуть обусловленность, последовательность, континуум, интегративность, ретроспективность, переакцентуацию, зависимость/независимость отрезков текста, особый тип предикативности, информативность, прагматику, глубину (подтекст) и некот. др.¹

В настоящей статье анализируется лишь один из категориальных признаков — зависимость/независимость предложений внутри сверхфразовых единств, а также в более крупных отрезках текста². Эта логико-синтаксическая категория в данной статье рассматривается с других позиций, чем это делается в грамматике предложения.

Проблема автосемантии и синсемантии в пределах предложения, простого и сложного, уже неоднократно подвергалась наблюдению³. В пределах простого предложения автосемантия его отдельных членов реализуется путем обособления и различных форм вставочных элементов, в которых независимость приобретает разную степень «отчуждения» от синтаксических и/или содержательной сторон. В пределах сложного предложения автосемантия рассматривается с точки зрения отношений главного и придаточного предложений, степени зависимости частей сложносочиненного предложения, форм бессоюзной связи и содержательной стороны таких сцеплений и пр. Ряд работ посвящен наблюдениям над самостоятель-

¹ Каждая из этих категорий рассматривается более или менее подробно в подготовленной автором книге «Грамматика текста».

² См.: И. Р. Гальперин, О понятии «текст», ВЯ, 1974, 6.

³ См.: Е. В. Гулыга, Теория сложно-подчиненного предложения в современном немецком языке, М., 1971. В книге дан подробный анализ происхождения этих терминов и их содержание.

ностью или зависимостью предложений внутри более крупных единиц языка в сверхфразовых единствах, в абзацах, в высказываниях и даже в целом тексте ⁴.

Однако один тип автосемантии еще не получил должного освещения в лингвистической литературе — это сентенции, т. е. такие предложения внутри высказывания, которые, прерывая последовательность изложения фактов, событий, описания, представляют собой некие обобщения, лишь косвенно связанные с этими фактами, событиями, действиями, описаниями. Есть предложения, которые в своем формально-структурном и содержательном аспектах совершенно неотделимы от предшествующего или последующего предложений. Это наблюдается при парцелляции предложений или в предложениях с деиктическими элементами, в эллиптических предложениях. С другой стороны, есть и такие предложения, которые в силу своих формально-структурных и, в особенности, содержательных сторон выявляют своего рода самостоятельность, относительную независимость от контекста и даже текста, например, вставочные предложения-парантезы, назывные одночленные предложения типа *Вечер* и др.

В художественной литературе давно известно явление, получившее название авторского отступления. При авторском отступлении этой континуум — цепь событий, мыслей — внезапно прерывается какими-то предложениями (отрывком), не имеющими непосредственного отношения к описываемым действиям, обстановке, фактам. Этот прием дает возможность автору при «торможении фабулярного развития» темы «в открытой форме высказывать личные суждения по различным вопросам, имеющим прямое или косвенное отношение к центральной теме» ⁵.

Нечто похожее мы встречаем и в сентенциях. Обладая некоторыми признаками лирических отступлений, выполняющих функцию «торможения» повествования, они тем не менее вплетены в содержательную ткань повествования. Подобно модификаторам ритма в стихе — пиррихию, спондею, ритмической инверсии — такие предложения врываются в ритм содержательных фактов и придают им «спазматический эффект», столь характерный для человеческого сознания, которое стремится при помощи сравнений, обобщений, аналогий раскрыть сокровенную сущность описываемых явлений. Например:

«Голос матери, звавшей ее разливать чай, вызвал деревенскую барышню из этой минутной задумчивости. Она встряхнула головой и пошла в чайную».

Лучшие вещи всегда выходят нечаянно; а чем больше стараешься, тем выходит хуже. В деревнях редко стараются давать воспитание и поэтому нечаянно большею частью дают прекрасное. Так и случилось, в особенности с Лизой. Анна Федоровна, по ограниченности ума и беззаботности нрава, не давала никакого воспитания Лизе: не учила ее ни музыке, ни столь полезному французскому языку, а нечаянно родила от покойного мужа здоровенькое, хорошенькое дитя — дочку...» (Л. Толстой, Два гузара).

В приведенном отрывке следует обратить внимание на начало второго обзаца до слов «...дают прекрасное». Два предложения этого зачина вплетаются в повествование, предваряя описание условий воспитания Лизы. Казалось бы, сентенция писателя совершенно независима. Ее можно изъять из текста, и она не потеряет своей познавательно-эстетической ценности.

⁴ См.: Т. И. Сильман, Проблемы синтаксической стилистики, Л., 1967; V. Waterhouse, Independent and dependent sentences, IJAL, 29, 1, 1963; В. Н. Лунова, О степени самостоятельности предложения в сложном синтаксическом целом, «Р. яз. в шк.», 1972, 1.

⁵ См.: А. Квятковский, Поэтический словарь, М., 1966, стр. 145.

И тем не менее, она получает свое развитие конкретизацией главной мысли, выраженной ведущим словом, которое несет в себе основное содержание — *нечаянно*. Заметим попутно, что слово *нечаянно* в развертывании повествования повторяется несколько раз: «*нечаянно* родила», «... и *нечаянно* чрез шестнадцать лет увидела в Лизе подругу», «домашнее хозяйство, перешедшее *нечаянно* все в ее руки». «И из Лизы *нечаянно* вышла...». Все это дано в пределах одного абзаца, по размеру равного целой странице. Конкретизация сентенции реализуется связующим *так* и возвращает читателя к сюжетной линии рассказа.

Приведем еще один пример, в котором сентенция выражена целым сверхфразовым единством и в котором только в последнем предложении намечается переход к конкретизации обобщенно-философской мысли: «Чувствовать, что любишь, созерцать любимое существо — больше ничего не надо. Так, рай на земле, вероятно, представляется мистику как бесконечное созерцание бога. Однако свойства бога таковы (или должны быть таковыми, существуй он на самом деле), что они не мешают нам длить радость поклонения. И наконец, бог неизменен. Вечно же поклоняться человеческому существу куда сложнее, даже если любимая не моложе тебя на сорок лет, и, мягко выражаясь, к тебе равнодушна» (Айрис Мердок, «Черный принц»).

Здесь в самой сентенции тем же словом *так* начинается конкретизация основной обобщенной мысли. Однако в отличие от первого примера здесь сентенция получает свое дальнейшее истолкование при помощи другой сентенции. Весь отрывок приобретает черты авторского отступления, в котором каждое предложение обособленно и одновременно связано. Первое предложение связано логически и формально с последним: повтор слова *существо*; синонимический повтор *созерцать/поклоняться*; *больше ничего не надо/вечно*. Между этими двумя предложениями появляется ряд других, постепенно отклоняющихся в содержательно-логическом плане от первого. Сравнение, начинающееся со слова *так*, еще поддерживает некоторую связь с первым и с последним (*созерцать, бесконечное — вечно*). Но дальше два предложения: «Однако свойства бога...» и следующее за ним «И наконец...» — представляют собой какие-то логические суждения, лишь весьма опосредованно связанные с их обрамлением. Изъятые из контекста, они выглядят относительно самостоятельными (если пренебречь связующим *однако*), независимыми от окружения: «Однако свойства бога таковы (или должны быть таковыми, существуй он на самом деле), что они не мешают нам длить радость поклонения. И наконец, бог неизменен». В таком изолированном от микро-, макро- и мега-контекстов (идея всего романа) виде эти предложения могут быть восприняты как составная часть философского трактата о боге, о вере, об идеале, о вечности и т. п. И все же они не теряют полностью своей логической связи с непосредственным окружением и уже во всяком случае с содержанием романа, идея которого — сила и власть любви. Данная связь постепенно ослабевает по мере удаления от первого предложения, почти исчезает в предложении, начинающемся со слова *однако*, и восстанавливается в последнем предложении частицей *же*.

Известно, что самодовлеющая сила предложений, выделяемых в составе более крупных отрезков текста, значительно более ощутима в поэзии, чем в прозе. Это объясняется рядом дистинктивных признаков поэзии — ритмическими особенностями, эпиграмматичностью высказываний, бессоюзными структурами, относительной смысловой законченностью строки и другими признаками, благодаря которым многие предложения обретают больший или меньший статус независимости. Особенно характерна в этом отношении сонетная форма, где четырнадцать строк пятистопного ямба являют собой законченное художественное произведение со своей содержа-

тельно-формальной организацией. В блестящих переводах Маршака сонетов Шекспира в основном выдержана высокая эпиграмматичность высказываний, придающая каждой строке независимый, почти пословичный характер. В качестве иллюстрации возьмем октаву 121 сонета:

Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть.
 Напраслина страшнее обличенья.
 И гибнет радость, коль ее судить
 Должно не наше, а чужое мнение.
 Как может взгляд чужих порочных глаз
 Щадить во мне игру горячей крови?
 Пусть грешен я, но не грешнее вас,
 Мои шпионы, мастера злословья.

В этой октаве почти все предложения, в пределах одной или двух строк, эпиграмматичны. Каждое из них обладает признаками обобщенно-пословичного характера. Они одновременно изолированы от контекста и связаны с ним. Каждое из них может быть развернуто в более крупное языковое высказывание, снабжено разными примерами, выводами и т. п. Характерным для такого рода предложений является либо полное отсутствие деиктических элементов, как, например: «Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть./Напраслина страшнее обличенья», либо использование их в обобщенно-безличном плане: «И гибнет радость, коль ее судить/Должно не наше, а чужое мнение»; «Щадить во мне игру горячей крови?/Пусть грешен я, но не грешнее вас,/Мои шпионы...» Ср. также английское предложение: «Hard is his heart whom charms may not enslave» (Вюгон) «Жестокое сердце у того, кто не поддается чарам». Природа, структурные особенности, модели и функционирование предложений (в итальянской поэтике *fasi d'autore*) еще не подвергались лингвистическому анализу,⁶ хотя их своеобразие уже давно привлекает внимание как языковедов, в особенности стилистов, так и историков литературы.

Одной из формально-структурных особенностей таких предложений является их двучленность. Под этим термином мы будем понимать структуру, две части которой находятся в какой-то зависимости и обладают неким ритмическим равновесием. Например, «Man is not the creature of circumstances. Circumstances are the creatures of men» (Disraeli) «Обстоятельства не создают человека. Человек создает обстоятельства». В приведенных предложениях-сентенциях полное равновесие структур. Обобщенно-философский характер речений покоится не только на идее высказывания; он неотделим и от формы, элементами которой являются здесь повторы, в виде подхвата (анадиплосиса) и обрамления, параллелизм конструкций, создающий ритмическую организацию предложения, антитеза. Зависимость двух частей не требует комментария — наличие союза *but* здесь подразумевается. Повторы сами по себе вскрывают зависимость, а их расположение (хиазматическое) способствует восприятию высказывания в плане противопоставления⁶. Такое равновесие двучленного высказывания вызывает представление о симметрии.

Замечено, что большинство сентенций обладает этим качеством. Например: «In the days of old men made the manners. Manners now make men» (Вюгон) «Раньше человек создавал манеры. Теперь манеры создают человека». Подобно вышеприведенному, в этом примере противопоставление двух членов высказывания построено на взаимодействии прямого и обрат-

⁶ В хиазме как структурной модели, построенной на взаимодействии прямого и обратного порядка слов, в большинстве случаев наблюдается и смысловая противопоставленность.

ного следования слов. Здесь оно поддержано аллитерацией и антонимами (in the days of old — now). Такие построения всегда симметричны, а это свойство вызывает представление равноструктурности и отсюда имплицитной равнозначности, по-разному проявляемой в зависимости от наполнения модели. Симметрия сентенционных конструкций возбуждает у читателя эстетическое переживание. В приведенных выше примерах именно структура высказывания, гармонически оформленная, основанная на звуковых и смысловых повторах, является стимулом эстетического восприятия. По такой же модели построена известная сентенция *Those who live to teach must teach to live* «Тот, кто живет, чтобы учить, должен учить жить».

Симметрия и гармония не во всякой сентенции получают двучленное оформление указанного типа, т. е. противопоставление двух самостоятельных предложений. Симметрию и ее следствие — гармонию — можно реализовать и в пределах одного предложения. Например: *But strength of mind is Exercise, not Rest* «Сила интеллекта проявляется в действии, а не в покое». Интересно, что даже союз *but*, соотносящий все предложение с предыдущим высказыванием, не способен подорвать эпиграмматическую независимость этой сентенции. Двучленность, несмотря на синтаксическое оформление, остается основным признаком этого предложения. В нашем сознании отрицательная часть *not*, связанная непосредственно со словом *Rest*, фактически является частью имплицитного предложения *But strength of mind is not Rest*. Эллиптичность здесь усиливает общий смысловой и художественно-эстетический эффект сентенции.

Неоднократно приходилось отмечать⁷, что стилистический эффект обычно возникает при одновременной реализации двух лексических, либо двух грамматических значений. В любом письменном варианте языка, и в особенности в художественной прозе (если это не диалог), эллипсис воспринимается двупланово — как неполное и как полное предложение, причем последнее является своего рода фоном, на котором яснее проступает стилистическое значение эллиптического оборота.

Автосемантия нередко возникает в предложениях с определительным оборотом, где в определяемой части двучленной конструкции подлежащее — неопределенно-личное местоимение, а в определительном обороте — союзы *who* или *that*. Например, 1) «He makes no friend who never made a foe» (Tennyson) «Тот не имеет друга, кто не создал себе врага»; 2) «He jests at scars that never felt a wound» (Shakespeare) «Тот насмехается над шрамом, кто никогда не страдал от раны»; или же как варианты этой модели: 3) «He that is down can fall no lower» (Butler) «Тот, кто на дне, не может пасть ниже»; 4) «It is a wise father that knows his own child» (Shakespeare) «Тот отец мудр, который знает свое дитя».

Симметрия таких конструкций, вызывающая ритмическое оформление высказывания, является не только импульсом эстетико-художественного восприятия речения. Она, в силу своих лексических, морфологических и стилистических черт, создает обобщенно-философское, субъективное представление о фактах объективной действительности и нередко придает речению морализующий, дидактический характер. Симметрию, таким образом, можно рассматривать как факультативный структурный компонент сентенции.

Существует мнение, что предложение неотторжимо от своего интонационного оформления, которое имплицитно присутствует в самой структуре предложения и подсказывается ею. Сентенции, особенно построенные

⁷ См. об этом: И. Р. Г а л ь п е р и н, Очерки по стилистике английского языка, М., 1958; е г о ж е, О понятиях «стиль» и «стилистика», ВЯ, 1973, 3; е г о ж е, Информативность единиц языка, М., 1974.

на антитезе, всегда, или во всяком случае часто, оформлены интонацией поучительного характера. Конечно, эта интонация тем сильнее проявляется, чем очевиднее дидактический характер самого речения. Эксперимент показал, что из 50 произвольно взятых предложений те, которые были распознаны студентами как симметрично построенные, были произнесены с интонацией поучительного характера.

При анализе структуры предложений, которые мы причисляем к предложениям, обнаружено еще одно немаловажное обстоятельство — подчинительный аспект. Совершенно очевидно, что для высказывания, которое по своему содержанию должно раскрыть нечто новое, т. е. обладать б о л ь ш и м объемом информации, необходимо определение каких-то признаков явления, до сих пор недостаточно выявленных. Если такое высказывание заключено в одном предложении, то, естественно, это предложение должно быть развернутым. Не случайно поэтому, в большинстве предложений, как было показано выше, использована модель сложноподчинительного предложения атрибутивного типа.

Однако встречаются предложения и в форме простого предложения. Двучленность здесь реализуется либо развернутой группой подлежащего — первый член, а сказуемое — второй, либо развернутой группой сказуемого, при таком же делении на синтагмы. Необходимо заметить, что предложение — простое предложение большей частью несет в себе некоторую (а иногда и значительную) долю парадоксальности. Например: 1) «Next to the originator of a good sentence is the first quoter of it» (Emerson) «Вслед за автором мудрого речения идет тот, кто впервые его процитировал»; 2) «Silence is the perfectest herald of joy» (Shakespeare) «Молчание — лучший глашатай счастья»; 3) «Patience is a necessary ingredient of genius» (Disraeli) «Терпение — необходимый компонент гения».

Все приведенные предложения лишены дидактического характера. Их обобщенно-философский аспект реализуется прежде всего многоплановостью семантического осмысления слов-подлежащих: *silence*, *patience*. Каждое из этих слов через предикативы (некоторые из которых метафоричны) расширяет свою семантическую структуру и получает здесь наиболее абстрактное выражение. Двучленность, в том понимании этого термина, которое предлагается в данной статье, связана с понятиями симметрии и гармонии и реализуется посредством интонации. В предложениях 2 и 3 подлежащее, оформленное одним словом, требует после себя паузы, которая «уравновешивает» его со сказуемым.

Следует напомнить, что паралингвистические средства семантизации могут значительно преобразить любое высказывание. Достаточно сравнить два предложения: *Silence is necessary to work effectively* «Молчание (тишина) — необходимое условие успешной умственной работы» и *Silence is the perfectest herald of joy* «Молчание — лучший глашатай счастья», чтобы убедиться в их различной стилистической значимости. Это различие поддерживается и интонационным оформлением. Предложение *Silence is the perfectest herald of joy* представляет собой двучленную конструкцию, в которой подлежащее (*Silence*) отделено от сказуемого паузой, почти равной второй части, т. е. развернутому предикативу (*is the perfectest herald of joy*). Предложение *Silence is necessary to work effectively* хотя также двучленно, не имеет столь длительной паузы (пауза здесь не после *silence*, а после *necessary*). Пауза после *silence* в предложении придает слову значительно большую степень изолированности и, отсюда, большую степень абстрактности понятийного содержания, в то время как в предложении — не предложения пауза после *necessary* лишает слово *silence* его значимости и в какой-то степени конкретизирует его. Подобно стихам, предложения имплицитно требуют интонационного оформления.

Во всех примерах (1—3) философско-обобщенный характер высказыванию придает главным образом настоящее индефинитное время глагола *to be*, обладающее, как известно, большой силой обобщения. Его семантическая структура настолько богата, что он может замещать почти любой глагол, выражающий состояние — «жить, существовать, находиться, случаться» и т. п. Ср.: «Быть или не быть?» (Шекспир); «Отказываюсь быть» (М. Цветаева); *Этому не бывать!*

Приведенных примеров, вероятно, достаточно для того, чтобы определить особый тип предложений, которые представляют собой независимые от контекста суждения. Независимость подобного рода предложений уже давно замечена. Само существование таких словарей, как словари цитат, свидетельствует об уподоблении предложений каким-то единицам языка, а не речи. Если цитата попадает в словарь, она, в силу отторжения от контекста, приобретает черты предложения. Поэтому издаваемые в Англии *Dictionaries of quotations* (словари цитат) скорее должны быть названы *Dictionaries of epigrams* (словари предложений). Первое название, однако, правомерно постольку, поскольку всякая предложение соотносима с автором, ее породившим. В этом, кстати, одно из отличий предложений от пословиц, которые, как известно, являются плодом народного творчества.

Интересно заметить, что некоторые цитаты-предложения постепенно приобретают качества пословиц, в особенности тогда, когда они с формально-структурной стороны неотличимы от пословиц, т. е. ритмизованы, аллитерированы, рифмованы, лапидарны. Например: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь» (Грибоедов); «Услужливый дурак опаснее врага» (Жуков); «А девушке в семнадцать лет какая шапка не пристанет» (Пушкин); «*Brevity is the soul of wit*» (Shakespeare) «Краткость — душа остроумия»; «*But love can hope where reason would despair*» (Lyttelton) «Когда разум приходит в отчаяние, любовь еще питает надежду». Подобно пословицам, предложения могут регенерировать информацию. Они «самозатачивающиеся» средства эмфазы. Одно из дистриктивных свойств предложения — ее цельность, неделимость, тогда как пословицы могут выступать как зависимые члены предложения, например: «*It may be that like most of us he wanted to eat his cake and have it*» «Как многие, он хотел бы и съесть пирог и сохранить его». В таких случаях пословицы подвергаются какой-то морфологической, синтаксической, а иногда и лексической трансформации.

Предложения не подвержены таким преобразованиям. Они редко включаются в состав предложения, хотя, как было показано выше, часто обнаруживают связь с контекстом. Некоторые из них имеют формально-структурные показатели такой зависимости — союзы *but*, *and*, другие такую зависимость выявляют опосредованно. Дело в том, что, будучи своего рода микротекстом, предложение обязательно привязана к какому-то тексту большего размера. Ведь всякая предложение может быть использована в связи с какой-то ситуацией. Трудно себе представить выражение *Краткость — сестра таланта*, сказанное в отрыве от конкретных условий, в которых данная фраза «стреляет». В большинстве случаев предложения появляются в середине абзаца или сверхфразового единства, иногда в качестве коммуникативного ядра высказывания, а иногда в качестве какого-то отклонения от сюжетно-повествовательной линии, являясь приемом задержки динамики коммуникации, выявляя то общее, что сюжетная линия содержит лишь имплицитно. Эстетико-познавательная функция предложения особенно четко проявляется тогда, когда она, с одной стороны, обобщает сказанное выше и одновременно конкретизируется дальнейшим развертыванием сюжетно-повествовательной линии. Выше были приведены примеры такого развертывания.

Сентенции, как и пословицы, могут рассматриваться как знаки знаков. Эти знаки обладают свойствами сверхфразовых единств. Подобно тому, как слово может быть лексической единицей и предложением (слова-предложения), сентенции могут быть предложениями и сверхфразовыми единствами. Эта их функциональная особенность выявляется, как было указано выше, в композиционном плане. Самую высокую степень независимости и, естественно, приобретения статуса сверхфразового единства, сентенция получает тогда, когда она графически оформлена в виде абзаца. Самую низкую — когда она находится внутри абзаца и является звеном, связующим цепь сообщений до и после нее.

Из всего изложенного вытекает необходимость установить градации зависимости предложений от контекста и выделения таких его типов, которые представляют собой разновидности вводных парантез обобщенно-философского характера. В данной статье показана лишь одна из таких разновидностей предложений, но, на наш взгляд, есть и ряд других, которые тоже обладают явными формальными и содержательными признаками относительной независимости от текста⁸.

В заключение хочется подчеркнуть, что изучение степени зависимости предложений от контекста и текста является существенно важным для определения правил и приемов создания литературных произведений

⁸ См.: Г. Г. Садовая, Языковая природа и стилистические функции сентенции. АКД, М., 1976.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Н. С. ГРИНБАУМ

О ДИАЛЕКТНОЙ ОСНОВЕ ЯЗЫКА ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ХОРОВОЙ ЛИРИКИ

Тезис о дорийской диалектной базе языка древнегреческой хоровой лирики, восходящий к античной традиции и признававшийся неизменным на протяжении многих столетий, продолжает находить своих сторонников вплоть до наших дней¹. Выказанное в свое время А. Мейе предположение о том, что, за исключением отдельных форм аориста на $-\xi\alpha$, в языке хоровой лирики нет ничего дорийского², либо обходилось молчанием, либо открыто отвергалось исследователями³. Вместе с тем, в последнее время наблюдается стремление некоторых ученых к пересмотру традиционных представлений о диалектном характере языка хоровой лирики. Отражая эти новые веяния, А. Хойбек в своей рецензии на книгу Р. Хирше⁴ признает, что число чисто дорийских элементов в хоровой лирике крайне незначительно и предлагает говорить не о ее дорийской основе, а о более или менее выраженной доризирующей тенденции у представителей этого литературного жанра. Указанная тенденция проявляется, по его мнению, в употреблении глагольных окончаний 3-го лица ед. и мн. числа $-τι$, $-υτι$, в огласовке $\bar{\alpha}$ вм. ионийско-аттической η , в преобразовании эпического $\tau\epsilon\lambda\acute{\iota}\omicron\iota\omicron$ в $\bar{\alpha}\epsilon\lambda\acute{\iota}\omicron\iota\omicron$ ⁵. Ж. Дефрада обращает внимание на сложность идентификации диалектов, используемых хоровыми лириками, и, в частности, указывает на неправомерность причислять к дорийским такие слова, как $\omicron\nu$ (вм. $\sigma\acute{\upsilon}\nu$), $\pi\omicron\tau\iota$ (вм. $\pi\rho\sigma$), $\chi\epsilon\acute{\iota}\nu\omicron\varsigma$ (вм. $\epsilon\chi\epsilon\acute{\iota}\nu\omicron\varsigma$), $\nu\iota\nu$ (вм. $\mu\iota\nu$)⁶.

Автору этих строк уже приходилось выступать с решительной поддержкой предположения А. Мейе о недорийской основе языка древнегреческой хоровой лирики⁷. Поскольку дело касается одной из важных научных и методологических проблем античного языкознания и литературоведения, считаем целесообразным вернуться еще раз к ее рассмотрению.

Решение столь сложного вопроса невозможно, на наш взгляд, без анализа целого ряда факторов общего плана, не всегда в должной мере учитываемых исследователями.

¹ Ср.: «Der kleine Pauly. Lexicon der Antike», IV, München, 1972, стр. 861.

² А. Мейе, *Aperçu d'une histoire de la langue grecque*, Paris, 1965, стр. 211.

³ Ср.: М. Касевитц, *Notes sur la langue de Pindare*, в кн.: «Mélanges de linguistique et de philologie grecques offerts à P. Chantraine», Paris, 1972, стр. 23.

⁴ R. Hiersche, *Grundzüge der griechischen Sprachgeschichte bis zur klassischen Zeit*, Wiesbaden, 1970.

⁵ См.: «Gnomon», 44, 1972, стр. 325—326.

⁶ См.: REG, 82, 1969, стр. 213.

⁷ См.: Н. С. Гринбаум, *Микенская койне и проблема образования языка древнегреческой хоровой лирики*, «Atti e memorie del 1° Congresso internazionale di micenologia», 2, Roma, 1968, стр. 872.

1. Архаичность хоровых песен общепризнана⁸. Их первоначальная связь с культом и обрядом не вызывает сомнений⁹. Известно, что хоровые песнопения исполнялись во время общенародных и религиозных празднеств и сопровождались ритуальными танцами. «Илиада» и «Одиссея» свидетельствуют, что некоторые виды хоровых песен были знакомы Гомеру. Они исполнялись ахейцами, троянцами и феакийцами (II. 18.50; 22.391; 24.723. Od. 6.101; 8.262). В историческое время хоровые песни звучали на общегреческих и региональных торжествах в различных центрах Греции.

2. Утверждают, что традиции хоровых песен, сохранившиеся от старины на дорийском Крите, перешли затем в близкую к нему дорийскую Спарту — один из главных музыкальных центров Греции¹⁰. Вместе с тем известно, что культивирование хоровых песнопений никогда не было привилегией лишь дорийской среды¹¹. Среди представителей греческой хоровой лирики дорийцы — редкое явление. У нас нет основания считать таковыми ни Стесихора из Сицилии, ни Ивика из Южной Италии, ни Симо니다 и Вакхилида с о. Кеоса, ни Ласа из Арголиды, ни Тимокреонта с о. Родоса, ни Пиндара из Беотии. Сами спартанцы, испытывая потребность в слагателях хоровых песен, пригласили к себе Терпандра с о. Лесбоса и Алкмана из Лидии¹².

3. Большинство исследователей признает наличие особого языка древнегреческой хоровой лирики¹³. Сравнивая около ста лет тому назад язык ее виднейших представителей, Э. Муке выделил в нем ряд общих черт, характерных для этого поэтического жанра¹⁴. Предпринятое нами тщательное изучение языка Пиндара, Вакхилида, Симо니다, Алкмана и Стесихора (с учетом значительного увеличения их наследия благодаря папирусным находкам) позволило подтвердить вывод о том, что, несмотря на определенные индивидуальные отличия, язык хоровой лирики представлял собой единое целое¹⁵. На это указывает также язык хоровых партий греческой трагедии, неизменно отличающийся от языка ее диалогических частей.

4. Некоторые исследователи связывали образование языка хоровой лирики с деятельностью, выдающихся поэтов¹⁶. Однако, как известно, складывание языка поэтического жанра — процесс объективный, обусловленный всегда социально-историческими причинами. Формирование языка хоровой лирики также было связано с определенными предпосылками исторического развития древней Греции. Архаичность самого жанра и культовый характер песен позволяют отнести его возникновение к самому раннему этапу становления греческой культуры¹⁷.

5. До недавнего времени было принято возводить возникновение языка любого греческого поэтического жанра к Гомеру. После дешифровки крипто-микенского письма *B* стало очевидным, что истоки самого эпического

⁸ Ср.: С. М. В о w r a, Greek lyric poetry, Oxford, 1936, стр. 4.

⁹ Ср.: И. М. Т р о н с к и й, История античной литературы, Л., 1957, стр. 89.

¹⁰ J. Defradas, Literatura elină, București, 1968, стр. 51.

¹¹ См.: J. Defradas, Studia Pindarica, REG, 76, 1963, стр. 194—195.

¹² По некоторым данным Алкман был лаконцем (см.: J. A. D a v i s o n, From Archilochus to Pindar, New York, 1968, стр. 173—175).

¹³ Ср.: A. D e b r u n n e r, Geschichte der griechischen Sprache, Berlin, 1954, стр. 27.

¹⁴ E. M u c k e, De dialectis Stesichori, Ibyci, Simonidis, Bacchylidis aliorumque poetarum choricorum cum Pindarica comparatis, Lipsiae, 1879.

¹⁵ Ср.: U. v. W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f, Pindaros, Berlin, 1922, стр. 96.

¹⁶ Ср.: W. C h r i s t, Beiträge zum Dialekte Pindars, «Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe der königlichen bayrischen Akademie der Wissenschaften zu München», 1892, стр. 83.

¹⁷ F. D o r n s e i f f, Pindars Stil, Berlin, 1921, стр. 3.

языка восходят к микенской эпохе и развитие отдельных жанров греческой поэзии могло происходить независимо от гомеровского эпоса¹⁸. Был выдвинут, в частности, ряд доводов, что одним из таких поэтических видов была хоровая лирика. В ее языке были обнаружены явления, не представленные у Гомера, но встречающиеся в крито-микенских текстах XIV—XII вв. до н. э.

6. Предположение о реальном существовании в ранней Греции языковой среды, послужившей основой для формирующегося языка хоровой лирики, привело нас к поискам ее следов в эпиграфическом материале. Многолетние разыскания показали, что в прозаических надписях VI—IV вв. до н. э. ряда древнейших центров материковой Греции и на окраинах греческого мира сохранились многие языковые элементы, характерные и для языка хоровой лирики, в том числе и не встречающиеся у Гомера. Выяснилось, что общие языковые явления встречаются, с одной стороны, в областях Греции, не подвергшихся дорийскому вторжению (Аттика, Аркадия, Пеласгиотида, Малая Азия и Египет) и, с другой, на территориях, оккупированных дорийцами (Фокида, Арголида, Крит и Сицилия); здесь они связаны с додорийским языковым слоем. Наиболее показательными являются в этом плане надписи городов: Ларисы (Фессалия), Элевсина (Аттика), Тегеи и Мантиней (Аркадия), Дельф (Фокида), Аргоса и Эпидавра (Арголида), Гортины (Крит), Теоса и Эфеса (Малая Азия), Гераклея (Италия).

Итак, приведенные выше соображения общего характера говорят не в пользу теории о дорийской диалектной основе языка древнегреческой хоровой лирики. К сказанному можно добавить, что и само понятие дорийской диалектной базы трактуется исследователями по-разному. Одни видят в ней дорийский диалект Пелопоннеса¹⁹, другие — искусственный литературный диалект, на котором никто не говорил²⁰. Ни те, ни другие не подкрепляют своих гипотез убедительными доказательствами²¹.

Основным аргументом, приводимым в подтверждение тезиса о дорийском характере языка хоровой лирики, служит встречающаяся у всех поэтов этого жанра долгая α вместо γ ²². В соответствии с восходящей к античным грамматикам традицией, долгая α — характерный признак дорийского диалекта. Однако, как известно, долгая α встречается и в других греческих диалектах (кроме ионийского и, отчасти, аттического): в лесбосском, фессалийском, аркадском и т. д. Кроме того, как показала дешифровка М. Вентриса, долгая α характеризует крито-микенские тексты XIV—XII вв. до н. э., т. е. она служила общей огласовкой для греческих диалектов II тыс. до н. э.²³ Другим важным признаком дорийского диалекта еще недавно считались глагольные окончания 3-го лица ед. и мн. числа $-\tau\epsilon$, $-\gamma\tau\epsilon$. В настоящее время исследователи склонны видеть в них сохранившиеся до классической эпохи общегреческие архаизмы²⁴. Что касается окончания род. падежа мн. числа α -основ $-\alpha$, то оно характерно не только для дорийского, но и для эолийского диалекта²⁵. Инфинитивы на $-\epsilon\upsilon$ встречаются в

¹⁸ См.: И. М. Тронский, О диалектной структуре греческого языка в раннем античном обществе, сб. «Вопросы социальной лингвистики», Л., 1969, стр. 282—283.

¹⁹ Ср.: O. Hoffmann, A. Debrunner, Geschichte der griechischen Sprache, I, Berlin, 1953, стр. 105.

²⁰ См.: C. D. Buck, The Greek dialects, Chicago, 1955, стр. 15.

²¹ Заслуживает внимания и то обстоятельство, что дорийцы почти совершенно игнорируются в греческих героических сказаниях; см.: И. М. Тронский, Вопросы языкового развития в античном обществе, Л., 1973, стр. 72.

²² Ср.: U. v. Wilamowitz-Moellendorf, Pindaros, стр. 101.

²³ Ср.: M. Doria, Avviamento allo studio del miceneo, Roma, 1965, стр. 67.

²⁴ Ср.: REG, 82, 1969, стр. 213—215.

²⁵ П. Шантрен, Историческая морфология греческого языка, М., 1953, стр. 37.

дорийском и аркадском диалектах, инфинитив на $-\eta\upsilon$ и предлог $\pi\epsilon\delta\acute{\alpha}$ в лесбосской поэзии²⁶. Местоименные формы $\epsilon\gamma\acute{\omega}\nu$, $\tau\omicron\iota$ и предлог $\kappa\omicron\tau\acute{\iota}$ представлены в гомеровских поэмах, наречие $\acute{\omega}\nu$ — у Геродота, т.е. они не были исключительно дорийскими. Иногда исследователи произвольно относят к дорийскому те или иные глагольные или именные формы. Так произошло, например, с перфектной формой $\pi\acute{\epsilon}\pi\epsilon\tau\chi\alpha$ (от глагола $\pi\acute{\alpha}\tau\chi\omega$) у Стесихора²⁷, еще Р. Хольстен заметил, что в ней нет ничего собственно дорийского²⁸. А. Хойбек видит в форме род. падежа ед. числа $\acute{\alpha}\lambda\iota\omicron\iota\omicron$ (Pindarus, O.7.14) доризированное эпическое $\eta\epsilon\lambda\iota\omicron\iota\omicron$ ²⁹, однако огласовка α в $\acute{\alpha}\lambda\iota\omicron\iota\omicron$ встречается в надписях Аркадии³⁰ и Аргολиды³¹, а род. падеж на $-\omicron\iota\omicron$ засвидетельствован задолго до Гомера в крито-микенских текстах³². К тому же в языке хоровой лирики отсутствуют такие очевидные доризмы, как, например, $\tau\acute{\epsilon}\tau\omicron\sigma\alpha\tau\epsilon\varsigma$, $\epsilon\acute{\iota}\kappa\alpha\tau\iota$, $\pi\rho\acute{\omega}\tau\omicron\varsigma$, $\tau\eta\eta\omicron\varsigma$, $\gamma\alpha$, $\kappa\alpha$ ³³, вместо них встречаются $\tau\acute{\epsilon}\tau\omicron\sigma\alpha\tau\epsilon\varsigma$ «четыре», $\epsilon\acute{\iota}\kappa\omicron\varsigma$ «двадцать», $\pi\rho\acute{\omega}\tau\omicron\varsigma$ «первый», $\kappa\epsilon\acute{\iota}\nu\omicron\varsigma$ «тот», $\gamma\epsilon$ же (частицы) и др.

Вряд ли можно после вышесказанного согласиться с утверждением А. Хойбека о наличии доризирующей тенденции у греческих хоровых лириков³⁴. Если уже говорить об имеющейся у них тенденции, то было бы более предпочтительным определить ее как архаизирующую и видеть в ней стремление поэтов воспользоваться кое-где старинными формами, вышедшими из обиходного употребления.

Однако диалектная основа языка хоровой лирики была, несомненно, общей у ее представителей и унаследованной многовековой традицией. Эта основа не могла быть дорийской, так как она не содержит ничего специфически дорийского и не создавалась дорийцами. «В литературе, — писал А. Мейе, — ничто не происходит от дорийцев... Что касается хоровой лирики, которую принято считать дорийской, то хотя она часто создавалась для дорийцев, она не была творением дорийцев»³⁵.

Уже упоминавшееся выше исследование языка наиболее видных представителей древнегреческой хоровой лирики привело автора статьи к следующим заключениям о его диалектной основе.

А л к м а н (VII в. до н. э.). Основными компонентами языка Алкмана являются протоионийский и эолийский диалекты. Дорийские и лаконские элементы — отражение поэтом местного диалектного колорита.

С т е с и х о р (VII—VI вв. до н. э.). Базу поэтического языка Стесихора составляет некое эолийско-протоионийское койне, в котором протоионийский является основным компонентом.

С и м о н и д (VI—V вв. до н. э.). Наиболее существенной в языке Симонида оказалась доля протоионийских явлений, связанных с основ-

²⁶ См.: E.-M. H a m m, Grammatik zu Sappho und Alkaios, Berlin, 1958, стр. 110, 170.

²⁷ E. D i e h l, Anthologia Lyrica Graeca, II, fasc. 5, Lipsiae, 1942, стр. IX (fr. 89 B. 4).

²⁸ R. H o l s t e n, De Stesichori et Ibyci dialectis et copia verborum, Gryphiswaldiae, 1884, стр. 24.

²⁹ Того же мнения придерживается Б. Форсман (см.: B. F o r s s m a n, Untersuchungen zur Sprache Pindars, Wiesbaden, 1966, стр. 7).

³⁰ «Inscriptiones Graecae», V, 2, Berolini, 1913, № 4.12 (Tegea, IV^a).

³¹ «Inscriptiones Graecae», IV, 1, Berolini, 1929, № 590.4 (Epidaurus, III^a).

³² «Documents in Mycenaean Greek», ed. by J. Chadwick, Cambridge, 1973, стр. 84.

³³ См.: С. D. В u c k, указ. соч., стр. 154.

³⁴ Это не значит, что в хоровой лирике не встречаются и отдельные дорийские диалектные элементы, однако, во-первых, их не много, во-вторых, не они определяют характер ее языка.

³⁵ A. M e i l l e t, Aperçu..., стр. 199.

ными именными и глагольными моделями. Базой его языка является эолийско-протоионийское койне.

П и н д а р (VI—V вв. до н. э.). В основе языка Пиндара лежит не дорийский и не эпический диалект, а эолийско-протоионийское койне.

В а к х и л и д (VI—V вв. до н. э.). Основным и определяющим в языке Вакхилида является ахейско-протоионийский диалектный компонент с незначительным наслоением эолийского.

Можно предположить, что в VII—VI вв. до н. э. хоровые песни пользовались усиленным вниманием дорийских общин в силу особенностей их общественного развития. Язык же греческой хоровой лирики, как и сам этот архаический поэтический вид песнопений, сложился задолго до Гомера еще в додорийскую, надо полагать, эпоху³⁶. Он возник на базе реально существовавшего и исторически сформировавшегося языка микенского периода так же закономерно, как впоследствии, хотя и при других обстоятельствах, это случилось с языком гомеровского эпоса³⁷.

Некоторое представление об этом древнейшем языке дают нам в настоящее время крито-микенские тексты. Последние являются собой, как указывает И. М. Тронский, редко встречающийся жанр деловой прозы, а их язык — образец «хозяйственно-канцелярской подсистемы греческого языка»³⁸. Диалектный характер «микенского» рассматривался нами подробно в другом месте³⁹. Нами было высказано предположение, что он был южной разновидностью микенского койне, что в его основе лежали ахейско-протоионийские элементы и что он подвергся определенному влиянию аркадско-кипрского, равно как и местного субстрата Пелопоннеса и о. Крита⁴⁰. М. Лежен обратил внимание на то, что «микенский» не содержал ни одной специфической дорийской черты⁴¹. Как известно, «микенский» как наддиалектное образование не оставил после себя прямых наследников в позднейший период и исчез вместе с исчезновением микенского общества.

Однако, наряду с документальным, в микенскую эпоху существовало также и поэтическое койне, возвышавшееся в качестве наддиалектного образования над общими диалектами того времени. «Дорийская Греция с ее „ахейскими“ государствами, — писал И. М. Тронский, — была едина и в экономическом и в культурном отношении, и единому наддиалекту хозяйственных записей Кносса и Пилоса, Микен и Фив соответствовал, вероятно, несколько особый, но столь же единый наддиалект устной поэзии»⁴². Отмечая, что поэтическая разновидность греческого языка микенской эпохи может быть восстанавливаема только в гипотетическом порядке, И. М. Тронский подчеркивает, что «гипотеза эта является основополагающей для истолкования всего последующего процесса развития греческих литературных языков, начиная с гомеровского»⁴³.

Этот поэтический наддиалект отличался значительно большим, чем документальный, богатством и разнообразием выразительных средств, закрепленных многовековой традицией, и был связан, как нам представляется, с северо-восточным ареалом архаической Греции, прежде всего Фесса-

³⁶ Ср.: W. Schmid, O. Stählin, *Geschichte der griechischen Literatur*, I, München, 1959, стр. 336.

³⁷ Ср.: F. Robert, *La littérature grecque*, Paris, 1958, стр. 9.

³⁸ И. М. Тронский, *Вопросы...*, стр. 87.

³⁹ Н. С. Гринбаум, *Древнегреческая диалектология и проблема «микенского»*, ВЯ, 1974, 3.

⁴⁰ «*Studia Mycenaea. Proceedings of the Mycenaean symposium*», Brno, 1966, стр. 177—178.

⁴¹ «*Atti e memorie del I Congresso Internazionale di micenologia*, Roma, 27 IX — 3 X 1967», I, Roma, 1967, стр. 234—235.

⁴² И. М. Тронский, *Вопросы...*, стр. 131.

⁴³ Там же, стр. 133.

лий и островом Лесбосом⁴⁴. Лишь в надписях этого региона нам удалось обнаружить в совокупности такие характерные для хоровой и эпической поэзии языковые явления, как окончания род. падежа ед. числа *-οιο, -αοι* и мн. числа *-αυ, -αων(-αων)*, дат. падеж мн. числа на *-εσσι*, глагольные формы 3-го лица мн. числа на *-ουσι* и *-οισι*, причастие жен. рода на *-οισα* и перфектное причастие на *-ων*, атематические инфинитивы на *-μεν, -εμεν*, инфинитив *επιμεναι*, личное местоимение *εγμεε* и др.⁴⁵. Диалектную базу поэтического микенского койне составляли, надо полагать, ахейско-протоионийский и эолийский. Именно эти диалекты с соответствующими, разумеется, модификациями лежат в основе языка послемикенской поэзии и, прежде всего, ее двух ведущих ответвлений, хоровой лирики и эпоса⁴⁶. Хотя Гомер и его поэмы оказали несомненно значительное влияние на развитие всей позднейшей греческой поэзии, язык отдельных ее жанров и, в частности, язык хоровой лирики следует возводить не к гомеровскому, а к общему и для эпической поэзии, и для хоровой лирики источнику—архаическому поэтическому наддиалекту микенской эпохи.

Вторжение в конце I тысячелетия до н. э. дорийских племен в Грецию оттеснило ее прежних жителей с насиженных мест и привело к изменению языковой ситуации на ее территории. Было нарушено создавшееся веками общественно-политическое и культурно-религиозное единство и резко сузилась сфера употребления архаического греческого языка в его устном наддиалектном варианте⁴⁷. Он продолжал тем не менее еще долго сохраняться в живом употреблении во многих древних, прежде всего, культовых центрах и мы находим его следы в прозаических надписях ряда областей классической Греции под позднейшим, в том числе и дорийским, языковым слоем.

Вместе с тем получили свое дальнейшее развитие хоровые песни, сложившиеся на базе поэтического наддиалекта микенской эпохи. Хоровая лирика, превращаясь в литературный жанр, сохранила унаследованный столетиями язык додорийской эпохи.

Впоследствии, в классический период, эти древние связи языка хоровой лирики с микенским поэтическим языком были полностью забыты, а так как дорийский диалект сохранил столь заметный признак архаического вокализма, как долгая *α* и ряд языковых архаизмов, а, возможно, и в связи с тем, что хоровые песни пользовались у дорийцев особым вниманием (ср. творчество Алкмана), греческие грамматики и комментаторы стали определять их язык как дорийский. Эта версия, несмотря на ее научную несостоятельность, продержалась вплоть до наших дней.

На самом деле, язык древнегреческой хоровой лирики сформировался на базе поэтического койне додорийской микенской эпохи с его эолийско-протоионийской основой. Он отразил и продолжил в основных чертах вышедший впоследствии из повседневного пользования устный наддиалект северного ареала архаической Греции⁴⁸.

⁴⁴ Ср.: M. L. West, Greek poetry 2000—700 B. C., «The classical quarterly», 23, 1973, 2, стр. 183; Di Carlo Pavese, La lingua della poesia corale come lingua d'una tradizione poetica settentrionale, «Glotta», 45, 1967, 3/4, стр. 183.

⁴⁵ Н. С. Гринбаум, Язык древнегреческой хоровой лирики (Пиндар), Клиппев, 1973, стр. 277—278.

⁴⁶ Ср.: W. Schmid, O. Stählin, указ. соч., стр. 39.

⁴⁷ Ср.: J. A. Notopoulos, Homer, Hesiod and the Achaean heritage of oral poetry, «Hesperia», 29, 1960, стр. 196.

⁴⁸ Ср.: А. В. Десницкая, Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка, Л., 1970, стр. 9—10.

А. А. ЮДАШЕВ

ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЯ ТЮРКСКИХ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ
КАК ОБЪЕКТ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ
И СЛОВАРЯ

Лексикализация грамматических форм падежей, некоторых деепричастных форм и под., замеченная давно и получившая как объект словаря всеобщее признание, чаще всего происходит, как это тоже установлено однозначно, в позиции обстоятельства.

Из всех частей речи в этой синтаксической позиции в своей исходной, или, как еще ее называют, словарной, форме выступает только наречие. Для наречия обстоятельство как синтаксическая единица является, так сказать, сильной позицией или, как ее квалифицирует Е. Курилович, первичной синтаксической позицией¹, где оно как часть речи проявляет себя наиболее ярко, принципиально отличаясь от остальных частей речи. За наречием эта позиция закреплена как за частью речи неписанными нормами языка, подобно тому, как за исходной формой существительного закреплена позиция подлежащего, за именем прилагательным — позиция определения и отчасти сказуемого, за спрягаемыми формами глагола, составляющими его сущность как части речи, в принципе сходную с нулевой формой существительного, — позиция сказуемого. И закреплена таким образом, что любая другая часть речи, выступая в качестве обстоятельства, оптимально сближается с наречием, становится как бы его аналогом, подобно тому как в позиции сказуемого существительное и прилагательное входят в сферу синтаксического индикатива с помощью связки *эди* (прошедшее время) или без нее (настоящее время) или даже другого синтаксического (а не морфологического) склонения, в частности — условного и повелительно-желательного с помощью служебного слова *бол-* (ср. башк. *кызыл булһа* «если будет красным»; *кызык булһын* «пусть будет интересным»), невольно становясь, таким образом, синтаксическим аналогом глагола, как это на материале русского языка заметил еще Потебня.

Грамматическую основу обстоятельства как синтаксической категории составляют именно наречия, которые по своей категориальной семантике, отграничивающей их от других частей речи, заранее ориентированы на функционирование прежде всего и главным образом в этой синтаксической позиции, где другие части речи именно в силу этого претерпевают возможную грамматическую адаптацию, принимая для этого специальную, пригодную для выполнения функции обстоятельства форму. Производные грамматические формы других частей речи, в частности формы пространственных падежей с послелогами или без них и отдельные лексикализованные формы деепричастия на *-н* или реже на *-а(-ә)/-й* регулярно выступают в качестве обстоятельства постольку, поскольку они функционально выравнивают эти части речи, закреплённые за иными синтаксическими позициями, по аналогии с наречием, которое само по себе без всякого мор-

¹ Е. Курилович, Очерки по лингвистике, М., 1962, стр. 59.

фологического оформления по отношению к глагольному сказуемому неизменно осознается по нормам языка только как обстоятельство.

Функциональная близость названных производных грамматических форм имени и отчасти глагола к наречию нередко находится в зависимости не столько от их грамматической природы, сколько от лексического содержания основ, от которых они образованы. Так, обстоятельством причины в башкирском языке может выступать далеко не всякая форма исходного падежа существительного, а лишь такая, которая образована от определенного круга производных существительных на *-лыж* с типовым абстрактным значением, мотивированным либо прилагательным, либо причастием, выполняющим функцию прилагательного: ср. башк. *йәшлектән* «по молодости», *журжаклыктан* «по трусости», *кәрәкмәгәнлектән* «за ненадобностью», *килмәгәнлектән* «из-за неявки» и т. п. Среди форм на *-лыжтан/-лектән*, неизменно бытующих в функции обстоятельства, в зависимости от лексического значения своих основ одни характеризуются устойчивостью и легкой воспроизводимостью, свойственной словообразовательным формам, во всяком случае — граничащей с лексикализацией и переходом в разряд собственно наречий, другие представляются свободно обратимыми чисто грамматическими образованиями, лишь функционально сходными с наречием, а третьи носят как бы промежуточный характер, являя собой нечто среднее между предыдущими двумя крайностями. Перечисленные формы на *-лыжтан/-лектән* в современном языке принято рассматривать как одну из сложившихся морфологических разновидностей обстоятельств, выраженных существительными. Не подлежит, однако, сомнению, что они все, в том числе и вторая их группа, характеризующаяся многочисленностью и неоспоримой словоизменительной природой, вопреки своей структуре семасиологически стоят гораздо ближе к наречиям, чем к собственно имени существительному. Отнюдь не случайно отдельные грамматисты все формы на *-лыжтан/-лектән* относят к наречиям и выделяют их в особую морфологическую рубрику под названием «наречия причины»². Вопрос о категориальной принадлежности большинства форм на *-лыжтан/-лектән*, сохраняющих сугубо грамматический характер, сложен и требует углубленного исследования, несмотря на очевидную функциональную близость всех этих форм к наречиям. Наречиями с полным основанием могут быть признаны лишь необратимые действительно лексикализованные формы пространственных падежей, в которых существительное, помимо всего, теряет свою синтаксическую валентность, в частности, такие, как башк. *бергә* «вместе» (*бер* «один»), *бушка* «попусту, впустую, зря; бесплатно, даром» (*буш* «пустой, порожний, свободный»), *ғәҙәттә* «обычно, по обыкновению» (*ғәҙәт* «обычай»), *кәскә* «насилу, с трудом» (*кәс* «сила»), *оҙакка* «надолго» (*оҙак* «длительный, долгий»), *уңға* «направо» (*уң* «правый»), *юкка* «напрасно, понапрасну, зря» (*юк* «нет»), *һуңынан* «после, потом, впоследствии» (*һуң* «поздний, поздно»), *яңынан* «снова, вновь» (*яңы* «новый; ново; только что») и под. Многие из таких производных слов как собственно падежные формы немислимы не только по своей современной природе, но и генетически: ср. башк. *бөтөнләйгә* «навсегда, насовсем», *мәңгегә* «навечно», *тиккә* «понапрасну, попусту, зря» и т. п., производящие основы которых (*бөтөнләй* «совсем, вовсе, целиком, полностью», *мәңге* «вечно; навеки», *тик* «просто; зря, напрасно») однозначно охарактеризованы как наречия и совершенно не поддаются ни субстантивации, ни адъективации. В составе сходных наречий падежный аффикс носит явно словообразовательный характер: трудно себе представить, чтобы такие формы зародились именно

² К. З. А х м е р о в, Краткий очерк грамматики башкирского языка, «Русско-башкирской словарь», М., 1958, стр. 771.

как падежные, а затем в процессе функционирования в качестве обстоятельства переродились в наречие, как это должно быть по существующей теории изоляции и лексикализации грамматических форм; очевидно, они возникли не на уровне морфологии словоизменительной, а с самого начала созданы как наречия по подобию и образцу каких-либо внешне сходных действительно изолированных и лексикализованных форм падежей на уровне собственно деривационной морфологии. Так, башк. *тизэн* «скоро, вскоре» (*тиз* «быстро») могло быть образовано по образцу слова *күптэн* «давно» (*күп* «много»), которое широко употребляется в своей исходной форме *күп* и как прилагательное, и как наречие, и как существительное: ср. *күпте курган кеше* «человек, переживший (повидавший) многое»; *күптәр килде* «многие явились, большинство явилось» и т. п. Да и в наречиях с несколько иным типом производящей основы, допускающей субстантивацию, падежная форма нередко имеет словообразовательную природу: ср. башк. *йәштән* «смолоду» (*йәш* «молодой», *йәштәр* «молодежь, молодые») в его отношении к перечисленным наречиям, а также к слову *баштан* «сначала» (по-видимому, от *башта* «сначала, вначале; раньше, прежде»). Можно указать на случаи, когда падежный аффикс входит в тесную смысловую связь с предыдущим аффиксом основы, замыкающим ее (как производящую основу), и выделяется в совокупности с ним как монологитная сложная аффиксальная морфема, специально предназначенная для образования наречий в организованном порядке: ср. башк. а) *шунлыктан* «поэтому, по этой причине, в силу этого» (*шул* «тот»); *ашамағанлыктан* «из-за того, что не ел» (*аша-* «есть») и т. п., которые созданы непосредственно от основ *шул*, *ашамаған* «не евший» (слов *шунлык* и *ашамағанлык* не существует) с помощью неделимой сложной морфемы *-лыктан*; б) *көтмәстән* «внезапно, неожиданно», *һизмәстән* «нечаянно», *белмәстән* «не зная, не понимая, вслепую», *уйламастан* «необдуманно» и т. п., которые фактически состоят из двух значащих единиц морфологического уровня — производящей основы и словообразовательного аффикса *-мастан/-мәстән*; в) *ирекһеззән* «поневоле, невольно»; диалектн. *аңһыззән* «по недоразумению, по недопониманию», где тоже можно выделить сложный аффикс *-һыззән/-һеззән*. Во всех сходных случаях мы имеем дело не с единичным проявлением «изоляции» и лексикализации собственно падежных форм, а с преобразованием их в словообразовательные формы вне сферы действия системы падежей. Здесь та или иная форма образуется от соответствующей основы с самого начала отнюдь не как падежная, а именно как деривационная, мимнуя процесс «изоляции» в принятом ее понимании. В приведенных примерах прослеживается не единичная «изоляция» падежной формы, как это наблюдается, скажем, в межтюркском слове *бергә* «вместе» (от *бер* «один»), а осознанный процесс создания наречий по стереотипному образцу, возникшему первоначально в индивидуальном порядке путем «изоляции». В этом случае форма падежа находится в арсенале словообразовательных средств, порвав всякую связь не только с системой падежей, но и с первоначальной своей «изолированной» природой. Здесь речь идет об использовании разрозненных поначалу явлений «изоляции» и лексикализации в целях сознательного «промышленного» словообразования, т. е. о становлении и развитии определенной стереотипной словообразовательной структуры на базе бывшей падежной формы, претерпевшей «изоляцию» и лексикализацию.

Разумеется, результаты и собственно «изоляции», и осознанного серийного словообразования по образцу готовых, внешне сходных слов в принципе изоморфны и поэтому часто трудно различимы, особенно если они восходят к отдаленным временам, в частности к периоду нераздельного состояния пратюркского языка. Тем не менее эти два процесса принципи-

ально различны, и их не следует смешивать. Многие наречия типа башк. *шунлыктан, кетмәстән, тизгән, мәңгегә*, возникшие уже на почве отдельных тюркских языков в сравнительно поздний период их исторического развития, невозможно представить себе как падежные формы, чтобы усмотреть в них «изоляцию».

Быть может, это последнее обстоятельство, а скорее всего многочисленность наречий, восходящих по своей структуре к соответствующим словоизменительным формам, дает возможность некоторым грамматистам рассматривать изоляцию отдельных словоизменительных форм в описанном ее понимании, т. е. спонтанное обособление и постепенный отрыв той или иной формы падежа от действующей падежной системы и приобретение ею наречного значения, как самостоятельный способ образования наречий³.

Признавая разрозненные «изолированные» формы пространственных падежей наречием, сторонники этой теории не касаются их словообразовательной структуры и не связывают их, равно как и самую историю их возникновения, с проблемой собственно словообразования, а рассматривают все эти многочисленные наречия как аномальное явление, как частный стихийный процесс имманентного перерождения и лексикализации каждой падежной формы в отдельности под воздействием лексико-синтаксических особенностей их употребления⁴. Это и естественно: уже сама квалификация изоляции как непроизвольного явления, собственно говоря, исключает возможность ее словообразовательного осмысления. Согласно описанной теории, прежде чем стать полнокровной лексической единицей, всякая изолированная грамматическая форма, ранее употребленная по своему исходному назначению, предварительно должна пройти свой путь омертвления и перерождения и лишь по мере переосмысления своего значения и отрыва от породивших ее недр она может быть преобразована в необратимое наречие. Словообразование же, а тем более способ словообразования есть всегда сознательное использование существующего строения определенного производного слова для создания нового слова со словообразовательной структурой, заданной в общих чертах наперед. О способе словообразования не может быть и речи без его сознательного применения для воспроизводства новых слов с определенной структурой и типовым значением, пронизывающим все образования данной структуры без ущерба для их индивидуального лексического содержания. Как это свидетельствуют приведенные выше выборочные, но очень показательные примеры из башкирского языка, среди производных наречий, структурно организованных как словоизменительные формы, многие распадаются на ясно очерченные деривационные модели с единой структурой, в принципе сходной с обычным аффиксальным способом словопроизводства.

Стало быть, дело за тем, чтобы выявить хотя бы наиболее продуктивные структурно-семантические типы сходных наречий и вскрыть их подлинную деривационную природу, а тем самым доказать правомерность их описания в разделе современной словообразовательной морфологии. И тогда можно будет более обоснованно решить вопрос, имеем ли мы здесь дело с каким-то особым способом словообразования или же с ординарной аффиксальной деривацией, как это считают туркменские языковеды, сводя ее, однако, опять-таки к изоляции⁵.

³ А. Н. К о н о в, Грамматика современного узбекского литературного языка, М.—Л., 1960, стр. 288 и сл.; Д. Г. Т у м а ш е в а, Хэзерге татар әдәби теле морфологиясы, Казан, 1964, стр. 248—249; С. А. Г о ч и я е в а, Наречие в карачаево-балкарском языке (в сравнении с некоторыми языками кыпчакской группы). АНД, Баку, 1968, стр. 25 и сл.; и др.

⁴ А. Н. К о н о в, указ. соч., стр. 288.

⁵ «Грамматика туркменского языка», ч. I — Фонетика и морфология, под ред. Н. А. Баскакова, М. Я. Хамзаева и Б. Ч. Чарырова, Ашхабад, 1970, стр. 387—388.

Гораздо более сложен вопрос о словообразовательной сущности самого явления изоляции, которой обязаны своим происхождением многие тюркские наречия, и особенно вопрос о ее причинности.

Хотя тюркологи, так или иначе касающиеся этого вопроса, во всех наречиях, содержащих в своем составе лексикализованный словоизменительный аффикс, и видят исключительно изоляцию соответствующей парадигмы, они далеко не одинаково понимают самую природу изоляции, ее причинность и хронологические границы проявления. Так, Э. В. Севортян все наречия, по своей структуре восходящие к словоизменительным формам, возводит к периоду зарождения и формирования наречий как части речи и усматривает в них рудиментарное явление, не имеющее отношения к современному словообразованию. Характеризуя такие наречия, Э. В. Севортян утверждает: «Все они представляют собой функциональные формы с обстоятельственным значением, в дальнейшем обособившиеся и позже перешедшие в состав новой части речи — наречия. Однако едва ли законно говорить о всех этих и подобных им наречиях, что они образованы или образуются при помощи падежей, деепричастий и пр. Совершенно очевидно, что наши формы исторически представляют собой случаи функционального использования падежей. Лишь в дальнейшем они вливаются во вновь образовавшуюся часть речи — наречие, поскольку первоначальное функциональное значение этих грамматических форм, ослабившись и исчезнув, уступило место развившемуся отсюда значению наречия»⁶. Это предположение, в отличие от остальных попыток теоретического осмысления изоляции, позволяет объяснить принципиальную возможность возникновения немыслимых с точки зрения современного языка падежных форм вроде башк. *бөтөнләйгә, маңгегә*, образованных от наречий (!) вопреки незыблемым правилам падежообразования от существительных и субстантивированных других частей речи, пережиточным проявлением былой недифференцированности частей речи в тюркских языках в период их зарождения. Но это предположение вызывает серьезные возражения.

Во-первых, все приведенного рода падежные формы, бытующие ныне исключительно как наречия и не совместимые с системой реальных падежей, безусловно, относятся к сравнительно позднему периоду развития тюркских языков, о чем, помимо всего прочего, свидетельствуют: а) однозначная категориальная охарактеризованность их производящих основ — они образованы не от каких-то синкретичных корневых морфем, а именно от наречий и других частей речи, принципиально не допускающих падежного оформления, и образованы, следовательно, уже в период, когда наречия функционировали на правах сложившейся самостоятельной части речи⁷; б) явное и прогрессивно возрастающее несовпадение тюркских языков, в том числе даже таких близких друг к другу, как татарский и башкирский, по составу сходных наречий (например, в татарском языке нет башк. *кәтмәстән* «неожиданно, внезапно, нежданно-негаданно»), особенно таких, которые образованы, как говорится, на наших глазах (вроде башк. *артелләп* «артелью») за счет заимствований из русского языка по образцу ранее созданных исконно тюркских наречий типа башк. *бергәлләп* «сообща, общими усилиями» в результате и на базе лексикали-

⁶ Э. В. Севортян, Словообразование в тюркских языках, «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», II — Морфология, М., 1956, стр. 321.

⁷ Как стало известно из последних исследований, наречия как таковые широко представлены в самых ранних письменных памятниках тюркских языков и к тому же многие из них в том же или несколько ином фонемном оформлении встречаются также в монгольских и в тунгусо-маньчжурских языках (см.: З. А б с а л я м о в, Наречие в башкирском языке. АҚД, М., 1975).

зованных форм отдельных деепричастий (ср., например, башк. арх. *якшыла*- «сделать хорошим, улучшить» и современное лексикализованное деепричастие *якшылап* «хорошенько, как следует»).

Во-вторых, образование наречий за счет необратимых форм падежей и других парадигм не идет на убыль, как нужно было ожидать по данной теории, а, наоборот, все более активизируется, приобретая в ряде языков грамматически организованный характер. Кроме примеров, приведенных выше (на стр. 63)⁸, об этом свидетельствует и следующее обстоятельство: отдельные глаголы состояния с нулевой валентностью в форме деепричастия на *-п* в силу их преимущественного употребления именно в данной словоформе (а не в формах личного глагола) и в связи с приобретением в рамках только формы деепричастия нового (а) или обновленного (б) лексического значения претерпели адаптацию по аналогии с наречиями и ныне воспринимаются скорее как наречие, чем глагол. Ср. башк. а) *Укыусылар кыкырып һойләшәләр* (С. Агиш) «Ученики громко разговаривают» (*кыкыр*- «кричать; орать, вопить»), где произошла полная лексикализация деепричастия *кыкырып*, ныне бытующего в одном ряду с собственно деепричастием на правах лишь омонима (ср. башк. *кыкырып ултыра* «сидит и кричит; сидит, издавая вопли»); б) *Әкрәнләп һыу буйлап барабыз* (Д. Юлтый) «Медленно идем вдоль реки» (*әкрәнлә*- «замедляться, затихать»), *Ул һәйбәтләп кырынган* (Ә. Вәли) «Он тщательно (букв. „хорошо выполнив“) выбрит» (*һәйбәтләү*- «делать хорошим, приводить в порядок»), *Ипләп һәйлә* (К. Мәргән) «Говори толком (букв. „аккуратно, не торопясь“)» (*иплә*- «прилаживать, подгонять, сделать удобным, аккуратным»), где происходит частичная лексикализация, которую лексикографы неправоммерно ставят обычно в один ряд с полной, хотя здесь глагол и удерживает не только связь со своим исходным лексическим значением, но и сохраняет еле уловимую связь с подлежащим и в меру этого — категориальное значение глагола как части речи. На базе сходных в целом весьма малочисленных форм деепричастия, в особенности по образцу полностью лексикализованных деепричастий, возникла в татарском и башкирском языках самостоятельная сравнительно продуктивная собственно словообразовательная форма отыменных (а не отглагольных!) наречий на *-лап/-ләп, -лашып/-ләшеп*, вовлекающая в свою сферу, помимо исконно тюркских имен, заимствования из русского языка, ср. башк. *алмашлап* «поочередно» (*алмаш* «смена»), *даналап* «поштучно» (*дана* «экземпляр, штука»), *деталләп* «детально», *минутлап* «поминутно», *графиклап* «по графику», *күмәкләшеп* «общими усилиями, коллективно», *бергәләшеп* «сообща, вместе, совместно» и под.

В-третьих, за исключением сравнительно небольшого числа общетюркских и межтюркских наречий типа башк. *бергә* «вместе», *тизгән* «скоро, вскоре», *яңынан* «снова, вновь», которые с известными основаниями могут быть охарактеризованы как древние образования, изолированные формы, бытующие в современных тюркских языках только как наречия, по своему составу носят сплошь и рядом самобытный характер. Они во всяком случае обычно находят соответствия лишь в двух-трех языках, близких либо генетически, либо исторически, либо территориально. Таковы, на-

⁸ Лексикализация форм деепричастия — явление в целом очень редкое. К лексикализованным деепричастиям никоим образом не относятся собственно деепричастные формы типа башк. *атлап* «шагая» (*атла*- «шагать»), *ашығып* «спеша» (*ашык*- «спешить»), *мәтәлләп* «кувыркаясь» (*мәтәллә*- «кувыркаться»), татар. *ачуланлап* «сердясь» (*ачулан*- «сердиться»), *кабып* «взяв в рот» (*кал*- «взять в рот») и под., которые по традиции, укоренившейся главным образом из-за их перевода на русский язык не только глаголом, но и наречием (*шагом, спешно, кувырком, сердито, вприкуску*), даются нередко в словарях на правах заглавных слов-наречий (см., в частности, «Башкирско-русский словарь» М., 1958; «Татарско-русский словарь» М., 1966).

пример, азерб. *ачыгдан* «ясно, явно», *бирден* «вдруг, неожиданно, внезапно», башк. *заяға* «напрасно, понапрасну, зря», *тиктаҫкә* «зря, напрасно», *тоҫтомалға* «зря, без оснований; ни с того ни с сего»; *әрәмгә* «попусту, даром, понапрасну, (выбросить) на ветер», *һизмәтән* «нечаянно», *аңғармаҫтан* «незначай», *юккә* «напрасно, понапрасну, зря, впустую», карач.-балк. *ингирде* «вечером», *кюнден* «насилу, с трудом» (ср. башк. *көскә*, татар. *көчкә* с тем же значением), *джазгыда* «весною», казах. *зорға* «насилу», *эртеде* «давно, с давних пор, давным давно», *дүдден* «с самого начала», ног. *шалкасына* «назвничь», *тоьгеректе* «вокруг», татар. *тикмәгә* «напрасно, зря», *ирексездән* «поневоле, невольно, вынужденно» и т. п., которых не знает большинство тюркских языков, так как они появились сравнительно недавно на почве отдельных языков, а не в период их безраздельного состояния, называемого праязыком.

Принципиально иное и гораздо более приемлемое толкование наречий с необразами парадигмами имен предлагал Н. К. Дмитриев; оно впоследствии получило среди тюркологов самое широкое распространение. Вот последнее высказывание Н. К. Дмитриева по данному вопросу: «При каком-нибудь существительном имеется полная схема падежей, и каждый из них употребляется именно как форма изменения этого существительного. И вот в силу специальных причин (обычно семантико-синтаксических) один из падежей принимает особое значение, лишь отдаленно связанное с корнем основного слова, и этим самым как бы отрывается от целой схемы, изолируясь от нее. В результате получается новое слово, только этимологически связанное с основным существительным»⁹. Это заключение правомерно лишь применительно к части наречий рассматриваемого рода, образованных указанным путем, чего нельзя сказать относительно остальных производных наречий, структурно организованных как формы падежа, однако, не совместимых с реальными падежами даже генетически, поскольку они, как это мы пытались показать, с самого начала возникают либо как лексические единицы, стоящие особняком, либо как собственно словообразовательные формы с единым типовым значением и строением (сюда входит не только десемантизованный аффикс, но и принадлежность имени к определенному семантическому разряду, а то и морфологическое оформление самой производящей основы типа *-лык/-лек*, как это показано выше). Н. К. Дмитриев, объясняя образование наречий от парадигм в результате их лексикализации какими-то особыми семантико-синтаксическими причинами, не раскрывает последние.

Если форма слова вплоть до ее лексикализации предварительно бытует именно как парадигма, то в силу каких лексико-семантических особенностей ее употребления она может быть преобразована в наречие? Вследствие изменения синтаксической функции данной грамматической формы в отдельности? А разве она в определенном своем значении не закреплена за той или иной синтаксической позицией, разве ее данная функция не стабильна? Если да, то под лексико-синтаксическим своеобразием формы остается понимать ее лексическое окружение — лексическую сочетаемость, которая иногда действительно способствует изменению смыслового содержания формы. Ср., к примеру, башк., с одной стороны, *балыкка* (*бир*) «(дай) рыбе», где дательный падеж представлен в своем регулярном адресатном значении, с другой — *балыкка* (*бар*) «(иди) на рыбалку», где та же форма имеет синтагматически обусловленное частное значение, которое, однако, исчезает с устранением данного единичного управляющего глагола, и форма воспринимается в своем обычном значении. Такие окказиональные лексико-синтаксически обусловленные значения в луч-

⁹ Н. К. Д м и т р и е в, Грамматика башкирского языка, М.—Л., 1948, стр. 117.

шем случае перерастают в одно из частных значений самой производящей основы формы, не меняя ее назначения, а тем более — категориальной принадлежности к существительному, реже закрепляются за словосочетанием в целом (ср. башк. *еләккә бар-* или *йөр-* «идти, ходить по ягоды», где можно усмотреть фразеологизм).

По рассматриваемому вопросу двоякое суждение высказал А. Н. Кононов. С одной стороны, он, разделяя и обобщая изложенное мнение Н. К. Дмитриева, пишет: «в результате лексико-синтаксических особенностей употребления того или иного слова в определенной словоизменяющей форме оно изолируется от всей парадигмы данного словоизменения и приобретает наречное значение»¹⁰ (в данном случае А. Н. Кононов говорит не только о падежах, но и об адвербиализированных деепричастиях), с другой — утверждает, что дательный, местный и исходный падежи изолируются и переходят в разряд наречий «в силу своего грамматического значения»¹¹.

В этих высказываниях мы также не находим объяснения причины изоляции, которая кроется, очевидно, в том, что обстоятельство или обстоятельно-характеризующее значения пространственных падежей, по которым они функционально соприкасаются с наречиями и на базе которых возникают изолированные их формы, в известной мере находятся в зависимости от характера лексического значения конкретных именных основ, взаимодействующего с обстоятельным значением падежа на двух разных началах: организованно (1), индивидуально (2). Ср. башк., например: 1) локальное значение местного падежа, которое регулярно лишь при названиях строго определенного семантического профиля — пространства (*урамда* «на улице»), населенных пунктов (*жалала* «в городе»), помещения (*булмада* «в комнате»), общественных организаций, предприятий и учреждений (*колхозда* «в колхозе», *заводта* «на заводе», *ронола* «в роно»), вместилища (*кеҗәлә* «в кармане», *шеҗәлә* «в бутылке») и т. п.; значение хронологических границ, которое характерно для местного падежа лишь при названиях времени, обычно имеющих свое количественное определение (*биш йылда*) «в течение пяти лет», *өс көндә* «в течение трех дней»), где обстоятельное значение возникает как типовое грамматическое значение данной формы, хотя оно и согласовано с характером лексического значения имен; 2) разрозненные формы типа башк. *азырза* «наконец; затем» (*азыр* «конец»), *ғәзәттә* «обычно» (*ғәзәт* «обычай»), *иртәгә* «завтра» (*иртә* «утро»), *азактан* «после, потом» (*азак* «конец, исход»), где в отличие от предыдущего случая, значение падежа, имеющее с ним хотя и отдаленную, но явственную связь, входит в частные отношения с лексическим и категориальным значением основы, заслоняя ее прежнее смысловое содержание и категориальную принадлежность и тем самым действительно отрывая данную форму от ее истоков.

В первом случае падеж остается самим собой, хотя данное его значение и ограничено лексически (обстоятельное значение пространственных падежей может быть обусловлено также и синтаксически, например, сравнительное значение исходного падежа возникает только в рамках строго определенной синтаксической конструкции, где характер лексического значения производящей основы падежа фактически роли не играет): обстоятельные значения пространственных падежей, хотя они и возникают благодаря определенной лексической сочетаемости формы, несколько не затрагивают ни лексического, ни категориального значений основы, от которой образована последняя, как это полагает, по-

¹⁰ А. Н. Кононов, указ. соч., стр. 288.

¹¹ Там же.

видимому, Г. Рамстедт, называя пространственные падежи адвербиальными¹².

Известно, что противопоставление пространственных падежей друг другу и остальным падежам осуществляется на базе их обстоятельственных значений. А противопоставленность падежей по выражению обстоятельственных, объектных, определительных и субъектных отношений и составляет их грамматическую сущность, отражающую категориальное свойство существительного как части речи. Форма падежа в силу этого даже в случаях оптимального сближения своего значения с функцией другой части речи, как в нашем случае, сохраняет исходную категориальную принадлежность существительного, от которого она образована, противопоставляет «изоляции» и лексикализации, исключая лишь отдельные случаи, в которых прослеживается частная и тесная лексико-семантическая связь между значением падежа и лексической основы¹³, что происходит отнюдь не на семантико-синтаксическом (Н. К. Дмитриев) или лексико-синтаксическом (А. Н. Кононов), а на лексико-морфологическом уровне. В этом отношении пространственные падежи исключения не составляют. Предназначенные главным образом и прежде всего для выражения трех разновидностей косвенного объекта, они взаимодействуют с винительным и основным падежами (выражающими прямой объект и, как и они, управляемыми глаголом), в совокупности с которыми противопоставлены родительному падежу, выражающему не объектные, а определительные отношения и управляемому, в отличие от них, не глаголом, а существительным, а также основному падежу, выражающему главным образом субъектные отношения, во всех других своих значениях находящегося в позиции нейтрализации этого последовательно проводимого, коррелятивного противопоставления (коррелятивного потому, что в зависимости от позиции основной падеж, в отличие от других, обладает взаимозаменяемостью — может быть употреблен в их значении, особенно в значении родительного, винительного и отчасти дательного).

Собственно обстоятельственные или обстоятельно-характеризующие (реже) отношения пространственные падежи выражают, как это выше частично продемонстрировалось на примере с *-лыжтан* и под., только в зависимости от характера лексического значения основы словоформы. И то нередко лексикализуются. (Лексикализации не подвержено в принципе разве только использование местного падежа во временном значении, выводящее его из системы падежного противопоставления. И не подвержено, очевидно, по той причине, что здесь форма выражает по существу инессивное значение, связанное с ее основным — адресатным значением, ср. башк. *азнала* «в неделю», *өс йылда* «в течение трех лет»).

Это и естественно — категориальное значение существительного как части речи не совместимо с собственно обстоятельно-субъективной функцией; лишь отдаленно связанной с функцией косвенного объекта, которую выполняют пространственные падежи (и только они) и которая последовательно и четко выделяется и структурно (например, из всех форм исход-

¹² Г. Рамстедт, Введение в алтайское языковедение, М., 1957, стр. 32.

¹³ Об этом свидетельствует ясная мотивированность большинства лексикализованных форм пространственных падежей их грамматическим значением: ср. башк. *ошонда* «здесь» (*ошо* «этот»), *унда* «там» (*ул* «тот»), *озакка* «надолго» (*озак* «долго, долгий»), *бында* «здесь» (*был* «этот»), *агырза* «наконеч, в конце концов» (*агыр* «конеч»), *башта* «вначале, сначала» (*баш* «начало»), *мәңгегә* «навечно, вечно» (*мәңге* «вечно; вечный»), *алга* «вперед» (*алд* «передняя часть, сторона»), *алда* «впереди» и под. От лексикализации такого рода не свободны и другие падежи, особенно форма основного падежа: ср. башк. *өй* (*ашы*, *адрес*) «домашний (обед, адрес)», *өш башкарыусы* «делопроизводитель» (букв. «исполнитель дела») (*өш* «дело», *башкарыусы* «исполнитель»).

ного падежа обстоятельственное значение причины могут при определенных условиях выражать только те, которые образованы от абстрактных имен на *-лыгтан/-лектэн*), и семантико-синтаксически.

Во всяком случае, сам процесс изоляции и лексикализации пространственных падежей как таковой наблюдается в современных языках крайне редко. Другое дело, что на базе ранее лексикализованных форм падежей возникает в серийном порядке множество новых лексических единиц. Но это уже не имеет отношения ни к лексикализации парадигм, ни к собственно морфологии и синтаксису, а производится на уровне деривационной морфологии на общих основаниях как обычная аффиксация, если даже общее типовое значение словообразовательной модели с данным аффиксом (обычно сложным, но ныне неделимым на значащие морфемы) мотивировано каким-либо частным значением падежной формы, обусловленным лексически.

Обстоятельственные значения причины, цели, условия, следствия, уступительности и обстоятельно-характеризующее значение способа или образа действия деепричастий, исходя из которых принято сводить их функции без всяких оговорок только к выражению в предложении синтаксической категории обстоятельства, не составляют сущности ни одной из общепризнанных форм тюркских деепричастий (в том числе и таких, как формы на *-н*, на *-май*, на *-а(-э)/-й*, выражающие способ действия. Значение способа или образа действия по своему профилю является собственно глагольным, что косвенно, но тем не менее убедительно подтверждается его изоморфностью с разветвленной системой специализированных тюркских явно внутриглагольных форм, именуемых обычно глагольными видами или аспектами глагола). Эти значения накладываются на лексико-семантическое и категориальное значения глагола как предикативной единицы, не нарушая его тождества как слова, исключая лишь редкие случаи лексикализации отдельных форм на *-н* и на *-а(-э)/-й*, насчитывающих в каждом из тюркских языков не более десятка единиц и действительно порвавших всякую связь с глаголом как с частью речи (здесь опять-таки речь идет о собственно лексикализации грамматической формы, а не о грамматически организованном словообразовании, возникающем на базе разрозненных лексикализованных форм деепричастия; см. выше стр. 64). Лексикализация деепричастия вызвана в принципе теми же причинами, что и изоляция и адвербиализация форм пространственных падежей.

Сущность всякого деепричастия заключается в выражении соотношения между двумя процессуальными действиями, подобными соотношению между действиями, представленными сказуемыми придаточного и главного предложений, из которых первое как бы оно ни было осложнено обстоятельственным значением причины, цели, условия, уступки и под., остается сказуемым как в пределах придаточного, так и в рамках слитного предложения с двумя соподчиненными сказуемыми. Сказуемым (а не обстоятельством), хотя и второстепенным, но неустраиваемым в рамках данного структурного или структурно-семантического типа предложения. И пока деепричастие выражает это соотношение, оно является глаголом, несущим с собой либо благодаря самой форме (а такие формы как раз никогда не лексикализируются: ср. например, общетюркскую форму на *-май/-мэй*, межтюркскую на *-гач*, *-ганчы/-ганча* и под.), либо в зависимости от характера лексического значения основы глагола (такова, в частности, общетюркская форма на *-н*) то или иное обстоятельственное значение, а не наоборот — обстоятельством, сохраняющим глагольное значение. Еще А. А. Шахматов доказал это на материале русского языка, подчеркивая очевидную и неизменную связь деепричастия с подлежащим и тем

самым вскрывая предикативную его сущность¹⁴. А член предложения, на общих основаниях связанный с подлежащим, если он выражает даже обстоятельственные отношения и подчинен другому сказуемому, не может быть квалифицирован, очевидно, как обстоятельство, тем более как некий гибрид, совмещающий в себе различительные признаки и наречия, и глагола, но ближе стоящий в конечном итоге к наречию, чем к глаголу, т. е. как «отглагольное наречие»¹⁵, стало быть, как своеобразная лексикализованная форма глагола, что ярче всего видно при рассмотрении деепричастия на уровне морфологии чуть ли не на правах самостоятельной части речи¹⁶ или в разделе наречия¹⁷.

Предикативное положение деепричастия (без которого деепричастие как глагольная словоформа на синтаксическом уровне немислимо и которое оно получает опосредствованным путем, именуемым обычно синтаксическим способом формального выражения грамматического значения слова¹⁸) усиливает его однозначная соотнесенность и согласованность

¹⁴ А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, М.—Л., 1941, § 538. Точку зрения А. А. Шахматова в какой-то мере разделяют, собственно, лишь отдельные современные русисты, считая функцию второстепенного сказуемого главным назначением деепричастия, осложненным выражением обстоятельственных отношений (Е. М. Галкина-Федорук, К. В. Горшкова, Н. М. Шанский, Современный русский язык, М., 1958, стр. 58). А. Г. Руднев отходит от концепции А. А. Шахматова еще дальше, очевидно, пытаясь быть в ладу одновременно с взаимоисключающими воззрениями А. А. Шахматова и В. В. Виноградова на природу русского деепричастия. По его мнению, «деепричастие выполняет в предложении двойную функцию, выступая в роли обстоятельства и второстепенного сказуемого, короче говоря, в роли предикативного обстоятельства» (А. Г. Руднев, Обособленные члены предложения, Л., 1947, стр. 6). Спасительное компромиссное решение, под которым можно понимать любое из приведенных трех воззрений на синтаксическую функцию деепричастия, предложено по этому вопросу в «Грамматике современного русского литературного языка» (отв. ред. Н. Ю. Шведова, М., 1970) — деепричастие квалифицировано как полупредикативная форма.

В тюркском языкознании относительно синтаксического назначения деепричастия в целом наблюдается освященное традицией единомыслие. Вслед за первым поколением грамматистов принято считать, что «деепричастие в предложении всегда является обстоятельством» (А. Турсунов, Деепричастие в современном киргизском языке. АҚД, Фрунзе, 1958, стр. 5) или «приглагольным определением», а то и просто «определением» (Н. А. Баскаков, Историко-типологическая характеристика структуры тюркских языков, М., 1975, стр. 149). В большинстве исследований, затрагивающих этот предмет, в то же время произвольно или сознательно, но уж очень робко отмечается широкое применение деепричастия в позиции сказуемого по крайней мере сложноподчиненного предложения (многими по-прежнему квалифицируемого деепричастным оборотом со своим раздельно выраженным подлежащим). Сглаженные, таким образом, взаимоисключающие воззрения одного и того же грамматиста благополучно сосуществуют, пока речь идет о природе тюркского деепричастия вообще и о его функциях в обобщенном изложении. Но как только начинается грамматическая квалификация предложений с деепричастным оборотом, особенно упомянутого рода, разгорается ожесточенный спор, который ведется вот уже более столетия без однозначного результата. Правда, достигнув своего кульминационного накала в прошлом десятилетии, в последние годы он как-то затих.

¹⁵ См. раздел глагола, написанный А. А. Пальмбахом, в кн.: Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальбах, Грамматика тувинского языка, М., 1961, стр. 315. Нужно отметить также, что составители школьных грамматик по-прежнему называют деепричастие термином, буквально означаящим «обстоятельство-глагол» (татар. *хәл фигыль*, уйг. *һәл һеһәл*, туркм. *хәл ишлик*, башк. *хәл кылым, рәүеш кылым*). Ориентируясь на монографию В. В. Виноградова («Русский язык», М., 1947), отдельные тюркологи утверждали, что «деепричастия в морфологическом и семантическом отношении гораздо ближе к наречиям, чем это имеет место в русском языке» (А. М. Хосрови, Деепричастие в тюркменском языке. АҚД, Ашхабад, 1950, стр. 15).

¹⁶ А. Н. Самойлович, Краткая учебная грамматика современного османско-турецкого языка, Л., 1925, стр. 31—32.

¹⁷ В. В. Виноградов, указ. соч.

¹⁸ В. В. Виноградов, Основные вопросы синтаксиса предложения, сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955, стр. 407 и др., где речь идет не о деепричастии

с последующим спрягаемым глаголом-сказуемым по значению грамматического времени и склонения. Предикативная природа деепричастия неоспорима еще и в силу того, что в тюркских языках, как и в латинском, французском и отчасти русском, оно может иметь свое отдельно выраженное подлежащее, не говоря уже о том, что наиболее употребительная форма деепричастия на *-н* нередко выступает в качестве сказуемого первой части сложносочиненного предложения, а также однородного глагольного сказуемого¹⁹.

Как вытекает из изложенного, лексикализация грамматических форм как процесс является объектом исторической лексикологии, а ее результаты — достоянием словаря (а не деривационной морфологии!). Не в пример грамматистам, лексикографы в своей практической работе исходят из этого реального факта, иначе их словари были бы уже давно переполнены «адвербиальными падежами», «отглагольными наречиями» и под. Если в словарях и есть некоторый избыток в этом отношении, то он вызван произвольным влиянием перевода живых форм на русский язык соответствующими наречиями, вернее сказать — психо-лингвистической интерференцией познаний двуязычного составителя словаря.

ях, а о принципиальной возможности такого способа формального выражения, правда, применительно к русскому языку.

¹⁹ См. об этом: П. М. М е л и о р а н с к и й, Краткая грамматика казах-киргизского языка, ч. II — Синтаксис (СПб., 1898, стр. 36); Н. К. Д м и т р и е в, Строй тюркских языков (М., 1962, стр. 401) и др., где показано типологическое своеобразие тюркских языков, согласно которому деепричастие на *-н*, не обремененное каким бы то ни было обстоятельством значения, закономерно выступает в позиции однородного глагольного сказуемого в соединении с последующим глагольным сказуемым; К. К. С а р ы б а е в, Кыргыз тилиндеги кошмо сүйлөмдүн синтаксиси, (Фрунзе, 1957, стр. 43 и сл.); А. К. Б о р о в к о в, Краткий очерк грамматики узбекского языка (в кн.: «Узбекско-русский словарь», гл. ред. А. К. Боровков, М., 1959, стр. 714, § 11) и многие другие источники, где на убедительных примерах демонстрируется широкое использование деепричастия на *-н* в качестве сказуемого первого компонента сложносочиненного предложения.

М. Я. РАПОПОРТ

СДВИГИ ГЛАСНЫХ В ИСТОРИИ НИДЕРЛАНДСКОГО ЯЗЫКА

История нидерландского языка, как и история других западно-германских языков, богата спонтанными изменениями гласных. Многие из этих сдвигов возникли на брабантско-фламандской почве, затем распространились по всей стране и через смешанный по своему характеру голландский диалект, а также через южнонидерландскую письменно-литературную норму усваивались уже в новый период единым наддиалектным общенациональным языком.

В настоящей статье предпринимается попытка описания внутренних составляющих этих сдвигов. Эмпирическую базу исследования образуют следующие средне- и новонидерландские изменения: 1) совпадение ранне-средне-нидерландских долгих /ê/ и /ē/, /ô/ и /ō/, /ā/ и /ā̄¹; 2) дифтонгизация долгих /i/ и /y:/; 3) монофтонгизация дифтонга /ю/; 4) слияние дифтонга /ei/ с /ei/; 5) расширение кратких /u/ и /i/.

Явление расширения кратких гласных /u/ и /i/ было впервые обстоятельно описано Ф. Энгельсом в работе «Франкский диалект». Ф. Энгельс совершенно справедливо возводил это явление к древнефранкской специфике. Поскольку распространение этого изменения приходится главным образом на средненидерландский период, мы рассматриваем этот переход наряду с другими средне- и новонидерландскими процессами.

Помимо классической работы Ф. Энгельса и обстоятельного труда М. Шенфельда, изменения в истории нидерландского вокализма отражены в первом систематическом описании истории нидерландского языка, выполненном Я. Те Винкелем², а из современных исследователей — в работах А. Ван Луя³. Вопросы звуковых изменений затрагиваются также С. А. Мироновым в связи с формированием нидерландского литературного языка⁴.

Описать внутренние составляющие определенного набора изменений — это значит, во-первых, определить влияние этих изменений на исследуемую подсистему языка. Для этого необходимо произвести описание, а затем сравнение по меньшей мере двух синхронных срезов, соответствующих двум состояниям подсистемы, — до начала изменений и после их завершения. Если также ставится задача проследить ход изменений, то

¹ Этот процесс фактически представлял собой переход старых долгих (/ê/, /ô/, /ā/) в новые (/ē/, /ō/, /ā̄/), о чем свидетельствует описание М. Шенфельда (см.: M. Schöpfung, A. van Loeu, *Historische grammatica van het Nederlands*, Zutphen, 1968, стр. 76, 80, 95).

² J. Te Winkel, *Geschichte der niederländischen Sprache*, в кн.: H. Paul, *Grundriss der germanischen Philologie*, I, Strassburg, 1891.

³ A. van Loeu, *Inleiding tot de historische klankleer van het Nederlands*, Zutphen, 1968; его же, *Middel nederlandse spraakkunst*, II, Antwerpen, 1962. В некоторой степени звуковые изменения затронуты в работе: C. G. N. de Voors, *Geschiedenis van de Nederlandse taal*, Groningen, 1951. Из немецких авторов см.: J. Frank, *Mittelniederländische Grammatik*, Leipzig, 1910.

⁴ С. А. Миронов, *Диалектная основа литературной нормы нидерландского национального языка*, «Труды ин-та языкознания», X, 1960; его же, *Становление литературной нормы современного нидерландского языка*, М., 1973, стр. 24—195.

необходимы также описания синхронных срезов развивающейся подсистемы в промежутке между исходным и результирующим состояниями. Эти описания должны заключать инвентарь единиц подсистемы и их признаки.

Для объяснения наблюдаемых изменений конструируется диахроническая единица более абстрактного уровня, называемая диахрономой. Диахронома представляет собой функцию наблюдаемых изменений по отношению к языковой системе⁵. Переход от пучка изменений к диахрономам осуществляется на основе следующего правила: если T есть множество изменений, переведших систему из состояния n в состояние $n + 1$, то изменения из T находятся в отношении воплощения к диахрономам D_1, D_2, \dots, D_k .

Предпосылкой всей работы по выделению внутренних составляющих развития нидерландского вокализма является создание описаний двух синхронных срезов: 1) фонологической системы нидерландского языка, в которой уже произошли названные изменения, т. е. фактически системы современного языка; и 2) фонологической системы до начала этих изменений.

Основные расхождения в отношении описания системы вокализма современного нидерландского языка касаются фонологического статуса долгих гласных и трактовки дифтонгов.

Трактовка нидерландской долгой гласной как сочетания краткой гласной и особой фонемы долготы оказывается неравномерной, поскольку долгие гласные в нидерландском языке отличаются от соответствующих кратких не только и даже не столько по длительности, сколько качественно. Что касается дифтонгов, которые в фонетическом плане традиционно разделяются на краткие, или простые — [eɪ], [aɪ], [ɔu] и долгие — [a·ɪ], [o·ɪ], [u·ɪ], [e·ɪ], [ɪ·u], [y·u], то, как справедливо считают Де Гроот и Ван ден Берг, только краткие дифтонги можно признать монофонемными. Согласно Н. С. Трубецкому, «однофонемную значимость могут иметь только те сочетания звуков, составные части которых не распределяются по двум слогам и которые образуют единой артикуляцией, причем длительность ее не должна превышать нормальную длительность одного звука»⁶. В долгих дифтонгах нидерландского языка слоговая граница может проходить между первым и вторым элементами⁷. Длительность долгого дифтонга, согласно данным Эйкмана, в 2,5—3 раза превышает длительность краткого монофтонга, в то время как длительность долгого монофтонга превосходит длительность краткого только в 2 раза⁸. Таким образом, длительность долгого дифтонга превышает длительность любого из монофтонгов. Все это говорит о том, что долгие дифтонги в нидерландском языке не могут иметь однофонемную значимость и оказываются бифонемными.

Исключая заимствованные гласные [ɛ:], [ɔ:], [ā], [ē], [ō], [œ], гласную [u], встречающуюся в очень ограниченной группе слов национального языка, а также долгий коррелят фонемы /ʌ/ (в слове *freule* «барышня»), фонемный инвентарь современного нидерландского языка можно представить как совокупность 16 фонем: /i:, y:, ɪ, e:, ø:, ε, eɪ, ʌ, ʌɪ, ə, a:, u:, o:, ɔ, ɔɪ, a/. Различие этих фонем определяется четырьмя признаками: рядом, подъемом, огубленностью и дифтонгичностью — краткой моно-

⁵ Более подробно о понятии диахрономы см. нашу работу «К проблеме параллельного развития языковых систем (на материале вокализма английского и французского языков)», ИАН ОЛЯ, 1976, 2.

⁶ Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 62.

⁷ L. P. N. Eijkman, *Phonetiek van het Nederlands*, Haarlem, 1955, стр. 116.

⁸ Там же, стр. 147.

фтонгичностью. Последний признак необходим для различения фонем /ɛɪ/ и /ɛ/, /ʌɪ/ и /ʌ/, /ɔu/ и /ɔ/. Признак долготы оказывается в современном языке полностью избыточным, так как не существует ни одной пары фонем, которые бы противопоставлялись по этому признаку и только по нему. Этот факт отражается в приводимой ниже табл. 1 современного нидерландского вокализма следующим образом: поскольку принципиальное различие между краткими и долгими гласными коренится в их качественном своеобразии, фонемы, воплощающиеся в долгих звукотипах, и соответствующие им фонемы, реализуемые в кратких звукотипах, распределяются по разным клеткам таблицы.

Таблица 1

Современный нидерландский вокализм

Подъем	Ряд		
	передний	смешанный ¹	задний
закрытый	i: y:	ʌ ʌɪ	u:
средний	полузакрытый	e: ø	ɪ o:
	полуоткрытый	ɛ ɛɪ	ə ɔ ɔɪ
открытый		a:	a

¹ Под смешанным рядом понимается объединение переднего продвинутого назад и среднего ряда.

Характерной особенностью вокализма нидерландского языка до начала указанных изменений было наличие парных долгих фонем /â/ и /ā/, /ê/ и /ē/, /ô/ и /ō/. Фонемы, выделяемые обычно знаком циркумфлекса, являются старыми долготами, восходящими непосредственно к древнегерманским гласным. Так, /â/ восходит к древнегерманскому /e¹/ или к древнегерманскому долготому /ā/ перед /xt/, например, *slâpen* «спать», *mând* «месяц», *brâcht* «принес», *dâcht* «думал», /ê/ восходит к древнегерманскому дифтонгу /ai/ в словах типа *blêf* «оставался», *ên* «один», *dêl* «часть», /ô/ представляет собой рефлекс древнегерманского /au/, например, *gôde* «красный», *hóg* «высокий», *óg* «глаз».

Кроме старых долгих гласных, существовали и новые, образовавшиеся в «преднидерландском языке» (*voornederlandse taal* — термин А. Ван Луя) в результате процесса удлинения кратких /a/, /ɛ/, /i/, /u/ и /ɔ/ в открытом слоге. Так, /ē/ образовалось в результате удлинения краткого /ɛ/ (*brêcken* «ломать», *êten* «есть») и /ī/ (*schêpen* «корабли», *hêmel* «небо»), /ā/ появилось в результате удлинения краткого /a/, как в словах *wâter* «вода», *vâder* «отец», *mâken* «делать», /ō/ развилось из удлинившихся в открытом слоге /ɔ/ (*ôpen* «открытый», *bôde* «гонец») и /u/ (*cōmen* «приходить», *bōter* «масло»), а также из /ɔ/ перед /r/: *mōrd* «убийство», *pōrter* «горожанин».

Фонологически эти новые долгие гласные не изменились в процессе развития языка, и современные долгие могут быть к ним приравнены. Поэтому, чтобы подчеркнуть их идентичность, мы будем обозначать новые долгие среднидерландского периода так же, как и современные

долгие гласные фонемы. Таким образом, /ā/ обозначается как /a:/, /ē/ как /e:/ и /ō/ как /o:/.

Краткие гласные средненидерландского периода также фонологически не изменились (за исключением /u/, перешедшего в /ɔ/ в большинстве слов национального языка) и обозначаются так же, как и соответствующие им краткие гласные современного языка.

Из фонологического постоянства новых долгих и кратких гласных следует определенная стабильность отношений между ними. Поэтому можно полагать, что и в средненидерландский период различие между ними было не столько количественным, сколько качественным, и новые долгие не были прямыми коррелятами кратких гласных в количественном аспекте. Но поскольку во всех германских языках существовала четкая корреляция гласных по долготе, можно высказать предположение, что и кратким гласным в нидерландском языке противопоставлялись определенные «контрчлены» по количеству. Ими были старые долгие. Конечно, отражение старых долгот в нидерландских диалектах было весьма разнообразным. Однако мы полагаем, что диапазон их варьирования до качества был все же не настолько велик, чтобы помешать прямой соотнесенности с краткими гласными, и основное различие между старыми долгими и краткими гласными заключалось; не в их качественной специфике, а в длительности звучания. Таким образом, признак долготы можно признать релевантным для различения старых долгих и кратких гласных. В связи с этим условимся обозначать старые долгие теми же знаками, что и краткие, плюс знак долготы. Тогда /â/ обозначится как /a:/, /ê/ как /e:/, /ô/ как /o:/, /î/ как /i:/, /û/, передаваемое графемой *oe*, будет обозначаться как /u:/.

Итак, в отличие от современного языка, в средненидерландском признак долготы был релевантным. Помимо этого признака, релевантным для средненидерландской фонологической системы являлся признак дифтонгичности — монофтонгичности. Однако, если в современном языке этот признак выступает в своей разновидности дифтонгичность — краткая монофтонгичность, так как дифтонгам противопоставляются только краткие монофтонги, то в средненидерландском этот признак был релевантным для различения не только дифтонгов и кратких монофтонгов, но и дифтонгов и долгих гласных, и поэтому заключал в себе как бы два признака: дифтонгичность — краткая монофтонгичность и дифтонгичность — долгая монофтонгичность. Правда, объем этого признака был весьма незначительным, поскольку в нидерландском языке было всего три дифтонга: /ei/ как в словах *einde* «конец», *weinig* «немного», *dweil* «швабра»; /iə/, который соответствовал древнегерманским /eu/, /e²/, например, *bieden* «предлагать», *lieden* «люди», *diep* «глубокий», и развившийся в XI в. дифтонг /ɔi/, например, *woud* «лес», *sprouwen* «колоть», *hout* «дрова».

Признак дифтонгичность — долгая монофтонгичность обеспечивал отличием дифтонга /ei/ от нового долгого монофтонга /e:/, дифтонга /iə/ от монофтонга /i:/ и /ɔi/ от /ɔ:/.

По признаку дифтонгичность — краткая монофтонгичность противопоставлялись фонемы /iə/ и /i/, /ɔi/ и /ɔ/.

При сравнении систем раннесредненидерландского (см. табл. 2) и современного вокализма выясняется, что указанные выше изменения привели к следующим сдвигам в системе гласных: 1) признак долготы из релевантного превратился в отсутствующий; 2) признак дифтонгичности — долгой монофтонгичности также перестал быть релевантным; 3) парность в подсистеме долгих монофтонгов (новые/старые долготы) исчезла.

Согласно правилу выведения диахронем (см. выше), заключаем, что функция рассматриваемых изменений представлена тремя диахронемами: D₁ — ликвидация признака долготы как релевантного; D₂ — ликвидация

Таблица 2

Раннесредненидерландский вокализм

Подъем	Ряд		
	передний	смешанный	задний
закрытый	у:	ʌ	и и:
средний	полузакрытый	eɪ e: ø:	ɪ iə i: o:
	полуоткрытый	ɛ ɛ:	ə ɔ ɔi ɔ:
открытый		a:	ɑ ɑ:

признака дифтонгичности — долгой монофтонгичности как релевантного; Дз — ликвидация парности в подсистеме долгих монофтонгов. Перейдем к рассмотрению реализации этих диахронем в конкретных изменениях.

Ликвидация релевантных количественных противопоставлений гласных может быть реализована двумя способами: за счет изменения синтагматической структуры фонологической системы или за счет изменения парадигматической структуры. Синтагматическая структура (синтагматика) фонологической системы — это отношения, в которые вступают классы фонем в линейной цепи элементов в пределах более крупной единицы (слога или «фонологического слова»), а парадигматическая структура (парадигматика) — это отношения между фонемами, инвариантные относительно линейной цепи элементов.

В результате ликвидации релевантности количественных противопоставлений гласных за счет изменения синтагматики долгота либо оказывается дополнительно распределенной относительно типа слога и слоговой финали (и, таким образом, бывшие долгие и краткие фонемы становятся вариантами), либо возводится в ранг просодической корреляции длительности. По первому пути пошла английский и немецкий языки, в которых произошло удлинение кратких гласных в открытом слоге и перед гомоганными сочетаниями согласных (а в немецком языке и перед одиночными сонорными согласными) и сокращение долгих гласных в закрытом слоге перед группами негоморганных согласных или геминатами. Характерной чертой дополнительного распределения кратких и долгих вариантов в этих языках являлась его большая позиционная зависимость, и, как следствие этого, нерегулярность и нечеткость распределения по разным словам, формам слов и диалектам, особенно в немецком языке. Дополнительное распределение кратких и долгих гласных было окончательно разрушено благодаря падению геминат, что привело к восстановлению релевантности долготы в большом объеме.

Второй путь характерен для скандинавских языков, в которых в результате снятия количественных противопоставлений стало возможным только два типа слога — V : C или VC:. Долгота оказалась, таким образом, функцией целого слога, что позволяет говорить о ее просодическом характере в этих языках⁹.

⁹ О просодической корреляции длительности в шведском и норвежском языках см.: С. Д. К а ц н е л ь с о н, Сравнительная акцентология германских языков, М.—Л., 1966, стр. 80—91.

Нидерландский язык, как и другие западногерманские языки, пошел первоначально по первому из путей снятия количественных корреляций за счет синтагматики, о чем говорит процесс удлинения кратких гласных в открытом слоге. Однако раннее ослабление и падение геминат (с X в.¹⁰) не позволило развиваться в полной мере второму необходимому процессу — сокращению долгих. В этих условиях устранение релевантности количественных противопоставлений могло осуществиться только за счет парадигматики.

Пусть существует пара гласных фонем, противопоставляемых количественно. Обозначим ее /x: — x/. Теоретически возможно несколько путей устранения фонематичности этого противопоставления за счет парадигматики. Так, /x:/ (или /x/) может перейти в другую фонему, которая не имеет прямого контрчлена по долготе, /x:/ может также дифтонгизироваться. Реализуя диахронему ликвидации признака долготы как релевантного, нидерландский язык пошел по нескольким путям. Мы покажем, что некоторые из этих путей были выбраны не случайно, так как существовали стимуляторы, способствовавшие их отбору. В раннем средненидерландском было пять пар по долготе: /a: — a/, /ε: — ε/, /ɔ: — ɔ/, /i: — i/, /u: — u/. Долгие фонемы первых трех пар имели некоторую общность положения в фонологической системе: для каждой из них существовала парная новая долгая фонема, образовавшаяся в ходе удлинения кратких гласных в открытых слогах. Для /a:/ это была фонема /a:/, для /ε:/ — фонема /ε:/ и для /ɔ:/ — гласная /o:/. Новые долгие гласные, в отличие от старых, отличались от соответствующих кратких не столько количественно, сколько качественно. В рамках указанной диахрономы это способствовало переходу старых долгих в новые. Таким образом, в ликвидации релевантности противопоставления по количеству для этих трех пар нидерландский язык пошел по пути сдвига долгой гласной в такую фонему, которая не имеет прямого контрчлена по длительности, что было подсказано существованием в средненидерландской фонологической системе новых долгих, которые принципиально отличались от соответствующих кратких по качественным признакам (см. табл. 2). Значит, наличие новых долгих гласных оказалось стимулятором, способствовавшим выбору определенного пути для реализации диахрономы устранения количественных корреляций для этих трех пар.

Поскольку в результате совпадения старых долгих гласных с новыми первые исчезли, одновременно оказалась реализованной и диахронема D₃; парных долгих в системе вокализма нидерландского языка не осталось. Причем, в отличие от первой диахрономы, диахронема D₃ была реализована полностью, так как в результате сдвигов гласных /a:/, /ε:/ и /ɔ:/ ни для какой новой долгой гласной в системе не осталось старой пары. Таким образом, переход старых долгот в новые воплощает сразу две диахрономы — ликвидацию количественного признака как релевантного и устранение парности в подсистеме долгих фонем.

Сдвиг /a:/ в /a:/ начался в южнонидерландских диалектах и протекал приблизительно с XIII в. Фонему /a:/ на месте старой долгой /a:/ находим, например, в таких словах, как *slaap* «сон», *schapen* «овцы», *daad* «дело», *naald* «игла», *aangenaam* «приятный», *graag* «голодный», *blazen* «дуть». Переход /ɔ:/ в /o:/ происходил позднее и наблюдался в таких словах, как *boom* «дерево», *brood* «хлеб», *lopen* «идти; бежать», *ogen* «глаза», *hoog* «высокий», *loof* «листва».

Особое место занимает переход /ε:/ в /e:/. Дело в том, что в брабантской, лимбургской и отчасти голландской области вместе с переходом /ε:/ в /e:/

¹⁰ M. Schönfeld, указ. соч., стр. 58, 264.

наблюдалась дифтонгизация /ε:/ в /eɪ/. Таким образом, для устранения корреляции по долготе в паре /ε: — ε/ на территории Нидерландов использовался как переход в новую долгую /e:/, так и дифтонгизация /ε:/ в /eɪ/. Последнее наиболее характерно для амстердамского городского диалекта, в котором /ε:/ дифтонгизировалось во всех положениях, и для лимбургского ареала, где дифтонгизация произошла во всех позициях, за исключением положения перед сопорными /h, r, w/ и в исходе слова (ср. лимб. *eid* «клятва», *stein* «камень» и *leer* «учение», *zee* «море»). В брабантской диалектной области дифтонгизация имела место в древних формах с *i*-умлаутом, что говорит о ее раннем распространении (по-видимому, в самом начале раннесреднеидерландского периода).

Фламандские территории не были затронуты этим процессом. Что касается голландских, то они занимали промежуточное положение между фламандским и брабантским ареалами. В связи с усилившимся к началу нового периода брабантским влиянием в голландском расширилось распространение дифтонгизации /ε:/ в /eɪ/ в словах, имевших *i*-умлаут. Некоторые из этих слов перешли в литературный нидерландский язык, сложившийся на базе смешанного по своему характеру голландского диалекта, например, *rein* «чистый» (флам. *reen*), *bereid* «готовый» (флам. *bereed*), *klein* «маленький» (флам. *kleen*), *beide* «оба», *eigen* «собственный».

Итак, устранение корреляции по долготе в парах /ε: — ε/, /a: — a/ и /ɔ: — ɔ/ осуществилось за счет перехода старых долгих в новые — /e:/, /a:/ и /o:/. Именно наличие новых долгих направило перестройку системы по конкретному пути, т. е. выступало в качестве стимулятора изменения. Однако, помимо этого пути, для устранения количественной корреляции в паре /ε: — ε/ был избран и другой метод — дифтонгизация /ε:/ в /eɪ/.

В ходе сдвига долгих гласных образовались новые омонимы, например, *helen* «лечить; выздороветь» (из *hēlen*) и *helen* «скрывать» (из *hēlen*), *rode* «красный» (из *rōde*) и *rode* «выкорчеванный участок» (из *rōde*, нем. *Rodeland*). Несмотря на это, изменение старых долгих в новые, воплощающее диахронему ликвидации релевантности долготы, протекало достаточно регулярно.

Помимо рассмотренных пар фонем, различающихся по признаку долготы, в раннесреднеидерландском имелись еще две пары: /i: — i/ и /u: — u/. Как же была реализована диахронема D₁ для этих пар? Ведь, в отличие от разобранных гласных, у долгих фонем из этих пар не было стимуляторов изменения в виде парных по качеству долгих монофтонгов, в которые они могли бы перейти, устранив тем самым релевантность количественного противопоставления.

Фонема /i:/ пошла по пути дифтонгизации в /eɪ/. Это направление развития также, по-видимому, не следует понимать как чисто случайное. Если справедливо мнение о наличии корреляции на долгих /i:/¹¹ и /y:/ в среднеидерландском, она могла выступить в качестве просодического стимулятора дифтонгизации. Согласно С. Д. Кацнельсону, дифтонгизация узких долгих, широко представленная в германских языках, была обусловлена корреляцией (наличием толчка) на этих долготях¹². Мы считаем, что корреляция только способствовала дифтонгизации, а причины (факторы) дифтонгизации специфичны для каждой отдельной фонологической системы, что, собственно, не препятствует сравнению этих факторов и нахождению каких-то общих черт.

Процесс сдвига /i:/ в /eɪ/ начался в Брабанте в XIII в. К началу нового периода он достиг Голландии и в XVII в. вошел в литературный язык,

¹¹ A. Schmitt, *Akzent und Diphthongierung*, Heidelberg, 1931, стр. 109.

¹² С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 282—284.

как, например, в словах *wijn* «вино», *tijd* «время», *blijven* «оставаться», *bijten* «кусать», *grijpen* «хватать», *wijl* «так как», *vrijdag* «пятница», *ijdel* «напрасный». Распространение дифтонгизации в Голландии стимулировалось (но как мы видим, совсем не объяснялось, вопреки мнению Клуке¹³) интенсивной иммиграцией с юга. Дифтонгизация /i:/ реализовалась на территории Нидерландов менее регулярно, чем сдвиг старых долгот. Согласно С. А. Миронову, этот процесс отсутствовал в диалектах и говорах Западной Фландрии, Зеландии, восточной части Лимбурга, а также в Гелдерланде, Оверейсселе, Дренте, Гронингене, Фрисландии¹⁴. Кроме того, в дифтонгизирующих диалектах и говорах этот процесс не имел места перед /r/: *vieren* «праздновать», *lier* «лира», *spier* «мышца».

Дифтонгизация /i:/ в /ei/ стимулировала переход /y:/ в /ɔ:/, например, в словах *huis* «дом», *tuin* «сад», *bruin* «коричневый», *lui* «люди», *snuit* «морда», *suizen* «шуметь», *bruisen* «пениться», причем этот сдвиг произошел в тех же диалектных областях, что и стимулировавший его переход /i:/ в /ei/. На наш взгляд, место дифтонгизации /y:/ в /ɔ:/ среди других процессов в истории нидерландского языка можно понять, исходя из рассмотрения диахронии как системы особого рода. Элементы любой системы по отношению к ней могут обладать тремя видами свойств: системообразующими, системоприобретенными и системонейтральными¹⁵. Дифтонгизация /i:/ в /ei/ при системном рассмотрении нидерландской диахронии — это элемент с системоприобретенными свойствами, поскольку существование его целиком определяется его ролью в системе как способа ликвидации противопоставления по долготе в паре /i: — eɪ/. Если переход /i:/ в /ei/ обладает системоприобретенными свойствами в эволюции языка, то изменение /y:/ в /ɔ:/ оказывается наделенным системонейтральными свойствами. С точки зрения системы эволюции языка эта дифтонгизация не является необходимой. Ведь долгое /y:/ не вступало в корреляцию по долготе, которая подлежала устранению. Системонейтральными свойствами этого процесса объясняется его нерегулярность: дифтонгизация /y:/ в /ɔ:/ не произошла не только перед /r/ (как в словах *zuur* «кислый», *sturen* «посылать», *duren* «длиться»), но и перед /w/ (*schuwen* «избегать», *duwen* «толкать»), а также и безотносительно к какой-либо позиции, например, *u* «вы», *beduusd* «смущенный», *guzie* «спор», *duzend* «тысяча» (разг.).

Итак, для реализации диахронемы устранения долготы как релевантного признака в паре /i: — i/ был избран путь дифтонгизации /i:/ в /ei/. Этот процесс оказался также стимулятором для системонейтрального перехода /y:/ в /ɔ:/.

Рассмотрим теперь расширение /u/ в /ɔ/. С помощью этого процесса было ликвидировано количественное противопоставление в паре /u: — u/. Переход /u/ в /ɔ/ демонстрирует новый путь реализации диахронемы Д₁. Если в парах /a: — a/ и /ɔ: — ɔ/ противопоставление по долготе было устранено за счет перехода старых долгих в новые, в паре /ε: — ε/ оно было снято либо за счет изменения старой долгой гласной в новую, либо за счет ее дифтонгизации, а в паре /i: — i/ — только за счет дифтонгизации, то корреляция /u: — u/ была ликвидирована путем использования сдвига

¹³ G. G. K l o e k e, *Hollandse Expansie*, Hague, 1927. Теория Клуке подверглась критике рядом исследователей. Обзор дискуссии см.: W. H e l l i n g a, *De orbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van het Nederlands*, Amsterdam, 1937.

¹⁴ С. А. М и р о н о в, *Диалектная основа...*, стр. 73.

¹⁵ Согласно В. М. Солнцеву, системообразующие свойства присущи элементам независимо от их участия в системе, системоприобретенные свойства — это свойства, которыми наделяется элемент, входя в какую-либо систему, системонейтральные свойства — это свойства элемента, несущественные для его отношений с другими элементами данной системы (см.: В. М. С о л н ц е в, *Язык как системно-структурное образование*, М., 1971, стр. 47—48).

краткого /u/ в гласную /ɔ/, свободную от количественного противопоставления в результате изменения /ɔ:/ в /o:/. Важно подчеркнуть, что расширение /u/ в /ɔ/ возникло в древнефранкском, т. е. гораздо раньше начала действия указанной диахронемы, но было использовано для ее реализации и поэтому получило наибольшее распространение в средненидерландский период. Поскольку этот процесс возник независимо от системы эволюции нидерландского вокализма, а затем оказался интегрированным в эту систему, его можно считать системообразующим.

Понижение /u/ в /ɔ/ наиболее типично для брабантского ареала и в несколько меньшей степени для фламандского. Для голландской диалектной области этот процесс не типичен. Однако литературный язык довольно последовательно проводит расширение, например, *borst* «грудь» (голл. *burst*), *tocht* «поездка» (голл. *tucht*), *vlocht* «запелл» (голл. *vlucht*), *dorst* «жажда», *jong* «молодой», *ons* «нам; нас», *bok* «козел», хотя имеются и незначительные исключения типа *kunst* «искусство», *hulde* «почтение», *lust* «желание», что подчеркивает гетерогенный характер литературной нормы¹⁶.

С переходом /u/ в /ɔ/ связано расширение /i/ в /ε/. Отношение между этими процессами такое же, как и между дифтонгизацией /i/ в /εi/ и /y:/ в /ɔi/. Подобно тому как сдвиг /i:/ в /εi/ стимулировал развитие изменения /y:/ в /ɔi/, понижение /u/ в /ɔ/ способствовало сдвигу /i/ в /ε/. Переход /i/ в /ε/ оказывается, таким образом, как и изменение /y:/ в /ɔi/, системонейтральным. Но, в отличие от дифтонгизации /y:/ в /ɔi/, которая стимулировалась системоприобретенным процессом, в качестве стимулятора сдвига /i/ в /ε/ выступил системообразующий процесс.

Расширение /i/ в /ε/ возникло во Фландрии и для голландского ареала было нетипично. Переход /y:/ в /ɔi/, вследствие своей системонейтральности, протекал в общенациональном языке нерегулярно. Сходный с ним по роли в системе эволюции процесс изменения /i/ в /ε/ также не произошел в значительной группе слов общенационального языка. По мнению С. А. Миронова, сохранение /i/ в литературном языке было, кроме того, поддержано брабантской орфоэпической традицией, близкой к голландской¹⁷. Тем не менее, расширение /i/ в /ε/ произошло, например, в таких словах, как *met* «с» (голл. *mit*), *hem* «его; ему» (голл. *him*), *rechter* «судья» (голл. *richter*), *April* «апрель», *brennen* «приносить», *ben* «корзина», *het* — определенный артикль, *zweven* «плыть». Этот переход не имел места в таких словах, как *zilver* «серебро», *gil* «воплъ», *kind* «ребенок», *gist* «дрожжи», *sint* «святой», *gewis* «верно», *binnen* «внутри», *schip* «корабль», *vis* «рыба», *immer* «всегда».

Рассмотрев сдвиги гласных, связанные с реализацией диахронемы устранения фонематичности долготы, суммируем их последствия: 1) элиминация из системы краткого /u/; 2) развитие дифтонгов /ɔi/ и /εi/; 3) выпадение из системы прямых контрчленов по долготе фонем /i/, /ε/, /ɔ/, /a/, в результате чего единственными долгими коррелятами гласных /ε/, /ɔ/ и /a/ стали качественно отличные от них фонемы /e:/, /o:/ и /a:/. Только краткое /i/ не имело такого коррелята. Это объясняется тем, что, в отличие от /ε:/, /ɔ:/, /a:/, в средненидерландской вокалической системе для старой долгой /i:/ не было новой долгой гласной, в которую она могла бы развиваться, устранив тем самым релевантность признака долготы, вследствие чего развитие /i:/ пошло по иному пути: /i:/ дифтонгизировалось в /εi/.

Тот факт, что у фонем /ε/, /ɔ/, /a/ имелись качественно отличные от них корреляты, а у фонемы /i/ такого противочлена не было, стимулировал

¹⁶ С. А. Миронов, Ф. Энгельс и изучение истории нидерландского языка, ВЯ, 1971, 5, стр. 24.

¹⁷ С. А. Миронов, Диалектная основа..., стр. 77.

в конечном итоге развитие у данной гласной подобного коррелята, источником которого явился, во-первых, дифтонг /iə/, подвергнувшийся монофтонгизации в /i:/, например, *ziek* «больной», *liep* «ходил; бежал», *riep* «кричал», *liegen* «лгать», *zieden* «кипеть», *niet* «не», а, во-вторых, /i:/, не дифтонгизировавшееся перед /r/, например, *gier* «гриф», *vier* «четыре», *dier* «животное»¹⁸.

Диахронема устранения парных долгот, третья из диахронем, перечисленных выше, была реализована, как уже говорилось, в тех же изменениях, которые воплощали диахронему ликвидации релевантности долготы, а именно в сдвигах /ε:/ в /e:/, /ɔ:/ в /o:/ и /a:/ в /a:/. Что касается диахронемы устранения релевантности признака дифтонгичность — долгая монофтонгичность (D₂), на котором основывались противопоставления пар /iə — i:/, /ɔi — ɔ:/ и /ei — e:/, то она была реализована следующими путями: 1) для пар /iə — i:/ и /ɔi — ɔ:/ за счет соответственно дифтонгизации /i:/ в /ei/ и слияния /ɔ:/ с /o:/; 2) для пары /ei — e:/ за счет новонидерландского слияния /ei/ с /ɛi/, например, *veinzen* «лицемерить», *peinzen* «размышлять», *peil* «футшток», *lei* «положил», *meid* «девушка», *droefheit* «печаль».

Таким образом, развитие нидерландского вокализма представляло собой процесс, направленный на исключение различительной долготы, ликвидацию противопоставлений дифтонгов долгим гласным и устранение парности по качеству среди долгих монофтонгов¹⁹.

¹⁸ В Голландии на месте /iə/ обнаруживается /y:/ с последующим сдвигом в /ɪ/. Некоторые слова из данной диалектной области, вошедшие в национальный язык, сохраняют эту особенность, например, *kuiken* «цыпленок» (есть также вариант *kicken*), *ruiken* «пахнуть» (с незначительно отличающимся по употреблению вариантом *rieken*), *jelui* (личное и притяжательное местоимение 2-го лица мн. числа с более распространенным вариантом *jullie*).

¹⁹ Заметим, что сходными закономерностями характеризуется также эволюция системы гласных английского и французского языка; см. об этом нашу статью «К проблеме параллельного развития языковых систем (на материале вокализма английского и французского языков)».

Ю. П. КОСТЮЧЕНКО

**ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЯ ПРИ СТРАДАТЕЛЬНОМ ЗАЛОГЕ (АГЕНСА)
И ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ**

1. В весьма обстоятельном описании творительного деятеля (далее — ТД) у А. А. Потебни особое внимание обращает на себя следующее: ТД «весьма далек от творительного социативного»; ТД «напротив... весьма близок к творительному орудия и легко может быть выведен прямо из него. По Буслаеву, этот падеж даже собственно принадлежит к творительному орудия... и действующее лицо в нем более принимается за орудие действия, нежели за самостоятельного действителя»; ТД «есть творительный орудия, специализированный страдательностью сказуемого и условленный ею в большей мере, чем какой-либо другой творительный»¹.

Удаленность ТД от социативного значения и близость ТД к творительному орудия (далее — ТО) есть в то же время косвенный признак удаленности ТО от социатива, что справедливо не только для славянских языков. Положение об ограниченной самостоятельности деятеля при пассиве, поддерживаемое также другими исследователями (А. М. Пешковский, В. В. Виноградов), следует уточнить, высказав предположение о том, что в разные периоды истории языка «степень самостоятельности» агенса оказывается неодинаковой, возрастая по мере приближения к современному языку. В ходе дальнейшего изложения будет предпринята попытка обосновать высказанное предположение с помощью фактического материала славянских и других языков. Наконец, взаимоотношения страдательности сказуемого и агенса также подвержены историческим изменениям, что справедливо не только для ТД, но и для других способов выражения значения при пассиве, что ниже показано на некоторых примерах.

Современная точка зрения на рассматриваемые вопросы отчасти представлена в большом коллективном исследовании «Творительный падеж в славянских языках». В соответствии с общими установками этой работы, об отношениях ТО и ТД к социативу в ней сказано очень мало. Понимание истории ТД в большой степени характеризуется следующим высказыванием: «Творительный падеж является формой выражения логического субъекта страдательных конструкций, искони присущей славянским языкам»². Один из синонимов ТД — сочетание *от* + РП (родительный падеж) — «так же древен, как творительный падеж, и идет из праславянской эпохи»³. Более того, предполагается, что оба способа (ТД и *от* + РП) «были понятны и искони свойственны в с е м (разрядка наша.— Ю. К.) славянским языкам»⁴. О распространенности в древнеславянской письменности названных способов можно судить по тому, что ТД «в старославянском употреблялся приблизительно столь же часто, что и *от* + р о

¹ А. А. П о т е б н я, Из записок по русской грамматике, I—II, М., 1958, стр. 453, 454.

² «Творительный падеж в славянских языках» (далее — ТПСЯ), М., 1958, стр. 148.

³ Там же, стр. 149.

⁴ Там же, стр. 131.

д и т е л ь н ы й⁵, а в древнерусском — «во всяком случае отнюдь не уже, чем родительный с предлогом *от*»⁶.

В этом же исследовании на стр. 139 сказано (на наш взгляд, совершенно справедливо) следующее: «Употребление *от* + р о д и т е л ь н ы й в русском литературном языке прошлых эпох было результатом влияния на него языка старославянского. Оно было значительным в первые века существования письменности на Руси и характерно для определенных жанров древнерусской литературы, подвергавшихся влиянию старославянского языка». Несколькими строками ниже находим еще более определенное высказывание: «Нам кажется, что веским доказательством иноземного характера конструкции *от* + р о д и т е л ь н ы й является почти полное отсутствие его в древней деловой письменности и современных русских диалектах». Поскольку неясные и противоречивые положения встречаются не только в ТПСЯ, но и в других исследованиях, целесообразно кратко изложить некоторые основные сведения, касающиеся распространения значения агенса и способов его выражения в древних славянских языках.

2. Количественная сторона употребления творительного падежа (ТП), ТД и сочетания *от* + РП показана в таблице.

ТП, ТД и *от* + РП в некоторых письменных памятниках

Памятник	Всего примеров с ТП	Из них с ТД	<i>от</i> + РП	Разность в пользу <i>от</i> + РП
1. Новгородские берестяные грамоты (до № 318)	101	—	—	—
2. Былины, сказания	223	—	—	—
3. Слово о полку Игореве	125	—	2	+ 2
4. Хожение игумена Даниила ¹	56	—	2	+ 2
5. Повесть временных лет ²	674 (328)	51—8% (8—2%)	67	+16
6. Евангелие от Марка	153	6—4%	14	+ 8
7. Евангелие от Матфея	201	23—11%	17	— 6
Всего:		80	102	+22

¹ Обследован неполностью.

² Цифры в скобках характеризуют текст «Повести временных лет», из которого исключены почти все религиозно-нравоучительные вкрапления, т. е. характеризуют текст собственно летописи (см.: Н. К. Гудз и И. Хрестоматия по древней русской литературе XI—XVII веков, М., 1952, стр. 3—30).

Как явствует из таблицы, распространенность рассматриваемых способов выражения агенса в древнейших памятниках весьма неодинакова. В памятниках, наиболее близких к живому, народному языку, значение деятеля при страдательном залоге не встречается вовсе. В памятниках, близких к «устному литературному языку», примеры с агенсом крайне редки, причем сочетание *от* + РП оказывается единственным или преобладающим над ТД способом выражения агенса во в с е х древнейших памятниках, что справедливо и для других памятников, не внесенных в таблицу (отклонение от такой закономерности в языке «Евангелия от Матфея» рассматривается ниже). Наши наблюдения и подсчеты позволяют присо-

⁵ Там же, стр. 133.

⁶ Там же, стр. 137.

единиться к мнению Л. А. Булаховского, что при страдательных причастиях и родственных им аналитических формах «чаще, однако (чем ТП. — Ю. К.), в древнерусском... выступает, по-видимому, по иноязычным образцам, *от* с родительным падежом, а также, что «упомянутое древнерусское *от* с родительным падежом при формах страдательного залога останавливает на себе внимание как едва ли не единственная предложная конструкция, проникшая через старославянское посредство из греческого»⁷. В. И. Борковский также отмечает, что «в древнерусских памятниках, насколько позволяют судить немногочисленные примеры, первый способ (ТД. — Ю. К.) указания на действующее лицо не был господствующим в безличных предложениях с причастием страдательного залога», а в «старорусских произведениях тв. п. действующего лица встречается реже, чем род. п. с предлогом *отъ*»⁸. Аналогичное состояние наблюдается в староукраинском, старобелорусском, а также в древнепольском, лужицких и других языках. Необходимо, однако, подчеркнуть, что изложенная выше особенность свойственна прежде всего древнейшим памятникам, а позже — памятникам, продолжающим традиции книжного стиля.

По-иному дело обстоит в более поздних памятниках деловой письменности и других источниках, близких к живому, народному языку. Это обстоятельство, упоминаемое исследователями (Е. А. Седелников, ТПСЯ), привело к выводу о преобладании ТД над сочетанием *от* + РП в древнерусской письменности в общем, что не подтверждается фактическим материалом. В непереводных памятниках значения агенса сначала вовсе нет или же оно встречается крайне редко (тем реже, чем древнее памятник и чем дальше его язык от книжного). Там, где такое значение появляется, оно, по книжным образцам, выражается с помощью сочетания *от* + РП, что очень хорошо заметно в «Слове о полку Игореве», «Хожении игумена Даниила» и др. Употребление ТД в непереводных памятниках появляется значительно позже и, как кажется, непосредственно связано с развитием деловой письменности. (Между прочим, отсутствие агенса и, позже, выражение его с помощью ТД и других средств, кроме *от* + РП, является косвенным, но надежным признаком близости памятника к нормам и стилю живого народного языка). В этом отношении весьма показателен анализ языка «Повести временных лет». В неполном тексте «Повести временных лет» (см. примеч. к табл.) ТД употреблен только в шести из 328 случаев с ТП: *яко ненавидими богомъ есмь; побъжаемъ новыми людьми хрестьяньскими; понъже тѣмъ есть поручено богомъ; быша обидими древлями и инѣми околними; и се влѣзоша послании Святополкомъ и Давыдомъ; не мучимы никимже*. Книжный характер примеров говорит сам за себя. В полном тексте «Повести» от начала до описания событий в 1015 г. (80 стр. современного издания) обнаружены всего 10 примеров с ТД. И только во всем тексте памятника (при 674 случаях употребления ТП) количество примеров с ТД возрастает за счет «вкраплений» до 51 (8%). Можно полагать, что в древнерусской письменности (независимо от решения вопроса о существовании ТД «в языке праславянской эпохи» или еще раньше, что одинаково сомнительно) распространение ТД непосредственно связано с влиянием моделей (норм, стиля) старославянских памятников и церковнославянской литературы вообще.

3. В употреблении ТП и сочетания *от* + РП в древнейших памятниках легко обнаруживается закономерность, восходящая к нормам греческого оригинала «священного писания»: ДП или, чаще, сочетание *ѣв* +

⁷ Л. А. Булаховский, Исторический комментарий к русскому литературному языку, Киев, 1950, стр. 253, 265.

⁸ [В. И. Борковский], Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Типы простого предложения, М., 1968, стр. 172—173.

+ ДП выражает «орудие-предмет» или, редко, «орудие-лицо», «посредника», что обычно выражалось сочетанием предлога *diá* («через») с РП и ВП. Значение деятеля обычно, но не всегда, выражается сочетанием РП с предлогом *bló* — «внизу, под, от». В старославянских переводах греческому ДП или *év* + ДП закономерно (при немногочисленных отступлениях) соответствует ТП, выражающий «орудие» или «посредника», а сочетание *bló* + РП соответствует *от* + РП. (Отступления от этой закономерности обычно состоят не в употреблении ТП, но в изменении структуры всего предложения.) Упомянутая закономерность видна в примерах: *на томъ мѣстѣ побиевъ бысть каменіемъ* (ТП) *Стефанъ первомученикъ отъ іудей* (*от* + РП) («Хождение игумена Даниила»); *прелщена суци отъ него влѣхоннымъ злодѣйствомъ* («Александрия»); *уязвенъ будише отъ бѣсовъ язвою* («Повесть временных лет»); *посеканы саблями калеными шеломи оварскыя отъ тебя, яръ туре Всеволоде* («Слово о полку Игореве») и множестве других, обнаруживаемых в древнейших памятниках всех жанров. При этом необходимо помнить о действии в конкретных общественно-исторических условиях столь существенного «внешнелингвистического» фактора, каким являлось влияние церковнославянских норм на развитие древнерусского и родственных языков.

В общем виде соотношения и развитие упоминавшихся выше средств языка можно представить следующим образом:

Значение	Греч.	Ст.-слав.	Др.-русск.	Совр.
«собственно деятель»	<i>bló</i> +	РП → <i>отъ</i> + РП → <i>от</i> + РП	→ ТП	→ ТП (ТД)
«лицо-орудие»	<i>diá</i> +	РП, ВП	{ ТП } { ТП }	} }
«предмет-орудие»	<i>év</i> +	ДП } ДП }		
				} <i>через</i> + ВП } ТП (ТО)

Схема, в частности, помогает уяснить необычное, на первый взгляд, отступление от общей закономерности в «Евангелии от Матфея». Анализ текста показывает, что значение «собственно деятеля» можно обнаружить только в 11 из 23 примеров с ТП: *попираема челоувѣки* (Мт IV, 13), *рожденных женами* (Мт XI, 11), *реченнаго вамъ богомъ* (Мт XXII, 31) и др. В остальных примерах ТП оказывается «лицом-орудием», выполняющим действие по воле другого лица. В оригинале в таких местах употреблен ДП без предлога: *ἄσι ἑρρέθη τοῖς ἀρχαίοις* (Мт V, 21 — *яко речено бысть древнимъ*) и др., что последовательно переводилось славянским ТП, обычно независимо от значений «лицо — не-лицо». Кроме того, в нескольких местах славянский ТП употреблен там, где в оригинале или готском переводе нет указания агенса: ст.-слав. *речено бысть древнимъ* (Мт V, 27) — греч. *ἑρρέθη*, гот. *qīþan ist*.

4. Изложенные выше закономерности наблюдаются и в древнейших памятниках других жанров. Сопоставление языка трех договоров с Византией показывает следующее. В договоре 911 г., в полном соответствии с распространенным мнением о заметном влиянии на его язык норм греческого оригинала⁹, сочетание *от* + РП решительно преобладает над примерами с ТП, которых всего два, причем второй — не во всех списках: *да ят будеть тѣмъ же у него будеть украдено и аще вывержена будеть лодья въ тромъ великимъ* (в части списков *въ тромъ великимъ* отсутствует); примеры на сочетание с *от*: *иже послани отъ Олга... и отъ всѣхъ* (в летописи далее

⁹ См.: С. П. Обнорский, Язык договоров русских с греками, «Язык и мышление», VI—VII, М.—Л., 1936, стр. 102—103.

непосредственно после текста договора употреблен ТП: *послании же Олгом сли, также послы; и ятъ будетъ в томъ часть татъ... отъ погубившего* (т. е. потерпевшим); *да не възыщеться смерть его ни отъ хрестыанъ ни отъ Руси; держимъ естъ или отъ Руси или отъ грекъ* и под., иноязычный характер которых обычно явно ощутим. При уточнении в 944 г. некоторых статей договора Олега (911 г.) во всех случаях с агенсом употреблено сочетание с *отъ*; ср. *да умретъ иде же сотворитъ убийство* (911 г.) — *да держимъ будетъ створимый убийство отъ ближнихъ убьенаго* (944 г.) и др. В примере *и отъ тѣхъ заповедано обновити ветхий миръ ненавидящаго добра и враждолюбца дьявола разоренный отъ многъ лѣтъ* (в некоторых списках разоренный отсутствует) форма РП *дьявола* может быть либо определением к *миръ*, что мало вероятно, либо в сочетании с разоренный образует «родительный деятеля», подобно аналогичному употреблению в балтийских, древнеперсидском и других языках, в том числе и в греческом. В примере *да кленутся о всемъ яже суть написана на харатъи сей, хранити отъ Игоря и отъ всѣхъ бояръ и отъ всѣхъ людей отъ страны Рускыя* сочетания с предлогом *отъ* могут относиться либо к *кленутся*, т. е. «клянутся отъ (имени) к о г о», либо к *хранити*. В последнем случае, вытекающем из контекста, образуется указание деятеля при инфинитиве: *хранити отъ Игоря* (и других), т. е. «Игорем и другими лицами». Эти и многие другие примеры [ср. *имемъ клятву отъ бога* (971 г.), *и да посечени будутъ мечи, своими, отъ стрѣлъ и отъ иного оружья своего* и др.] позволяют лишь отчасти присоединиться к мнению Л. П. Якубинского о том, что договор 944 г. «переведен в общем хорошо». Примеры такого рода не встречаются в памятниках устного народного творчества, берестяных грамотах, деловой письменности, говорах и т. п., и это еще раз свидетельствует о том, что сочетание *отъ* + РП в качестве способа выражения значения агенса было чуждым древнерусскому языку (и другим), который уже располагал ТО, в особых условиях развивающимся в ТД. Изложенные выше и другие обстоятельства заставляют думать о том, что в период создания первых письменных памятников древние славянские языки (подобно древним германским, греческому и др.) не располагали еще ни ясно осознаваемым значением агенса, ни четко оформившимися способами его выражения. [Впрочем в языке греческого оригинала, представляющем довольно поздний период истории греческого языка, также нет однозначных и универсальных средств выражения значения агенса, которое вполне отчетливо восходит к конкретным значениям удаления, отделения, направления действия, принадлежности и др.; ср. примеры: *и будете ненавидимы всеми* — ὑπὸ πάντων («от всех»); *дано ему отъ отца моего* — ἐκ τοῦ πατρὸς μου («из → отца моего»); *бысть человекъ посланъ отъ бога* — παρὰ Θεοῦ («у, при → от бога»); *искушену быти отъ старьць и архиереи* — ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων («с их стороны, от них»); *аще се услышано будетъ оу игемона* — ἐπι τοῦ ἡγεμόνος («около, при → у него → им»); *законъ моисеомъ данъ бысть* — διὰ Μωσέως («через него»); *о божѣ суть сѣблана* — ἐν Θεῷ («в, у, при → у кого → кем»); *и яко ся позна има* — αυτοῖς («им → ими»); *бѣ знаемъ архиереови* — τῷ ἀρχιερεῖ («кому»); *сѣвѣдѣтельство иоаново* — τοῦ Ἰωάννου («кого, чье → сделано кем»); *поношение мое въ человекѣхъ* — ἐν ἀνθρώποις («в людях, в их среде → людьми») и мн. др.]

5. Весьма распространенный в западной части севернорусских говоров оборот с предлогом *у* и формой РП (редко — местного падежа) типа *три овцы у волка зарезано* (т. е. «волк зарезал»), *впереди его проехано у богатыря* («богатырь проехал впереди»), *овес у птицахъ* (МП) *склевано* («птицы склевали») и под. в разное время привлекал внимание исследователей. А. А. Потехин считал «странным» совмещение безличного страдательного причастия на -о «с указанием на определенного деятеля посредством *у* с р о-

д и т е л ь н ы м»¹⁰, что не укладывается в рамки традиционных представлений об «искони» существующих в славянских языках способах выражения деятеля при страдательных оборотах. В. И. Борковский считает, что «данный безличный оборот, — по-видимому, новгородская особенность, при этом д р е в н е й ш е г о» (разрядка наша. — Ю. К.) происхождения, имевшая место в крестьянских говорах, но не проникшая в письменный язык. Нормы литературного языка не смогли поколебать этой особенности и безличный оборот типа: *у него уехано* — не вышел из употребления¹¹. В ТПСЯ (стр. 141) сказано, что «своеобразие этой конструкции до сих пор не получило достаточно полного объяснения», что вполне справедливо.

Весьма существенно то, что оборот *у* + РП понимается как древнейшее явление, сохранившееся в наиболее удаленных от южнославянского влияния говорах. Можно полагать, что в древности, а отчасти и позже, этот оборот был распространен шире. В переводах «священного писания» есть примеры типа *аще се оуслышано бѣдетъ оу игемона* (Мт XXVIII, 14 — *ἐπι τοῦ ἡγεμόνος*), а также типа *оучисъ оу Тиса* и под.; ср. также в былинах: *неладно у апостолов удумано, неладно у святыхъ отцовъ написано* и др.

Во всех славянских языках широко распространены употребления типа ст.-слав. *гласъ трубы услышано будеть*, др.-русск. *елико ихъ есть не хрещено*, русск. *с молодю много бито, граблено; три озерышка горючихъ слезъ наронено; про все договорено ся; укр. з тої сосни медъ вибрано і сосну спалено; і злодія не було, і батька вкрадено*; белорусск. *у храмъ божий приуходжано, на коленацьки падзёно* и под.; то же в польском, болгарском и других языках. Причастие на -о образуется как от переходных, так и от непереходных глаголов, что позволяет думать о его первоначальном употреблении в условиях неразличения этих категорий и, следовательно, вне какой-либо связи со значением действующего лица. В предложениях типа укр. *тополю істятю і гілля забрано*, по выражению А. А. Потемни, «не думается о том, кем оно сделано». Безразличие к переходности глагола и отсутствие какого-либо намека на возможность мысли об источнике (виновнике, агенте) действия или состояния свидетельствуют о сохранении в таких предложениях следов глубокой древности. Они, как видно, намного древнее тех, в которых как-либо указан деятель при причастии страдательном. Страдательность рассмотренных выше причастий на -о (*идено, сосватанось, послужено, взято, насеяно* и т. п.), следовательно, осознавалась в условиях, так сказать, «безактуализации» действия, приведшего к возникновению того или иного признака.

«Расширение» предложений с причастиями на -о при помощи оборота с предлогом *у*, как в *у меня три поля кручиночки насыяно; завечен я у своихъ родителей; онъ обернутъ у Маришки у Кайдалевны; у волка идено по дороге; столько пройдено у малой у скотинушки* и под., восходит к такому же конкретному значению места, какое наблюдается, например, в *у тоя у Грязи у Черныя, у тоя у березы у покляпыя, у славного креста у Леванидова, у славенькой у речки у Смородинки сидитъ Соловей-разбойникъ* и во множестве аналогичных употреблений. Однако в определенных условиях, а именно — с РП от наименований живых существ происходит изменение местного значения *у*, *при*, *возле* → *у кого: и брака у нихъ не бываше; и не бѣ в нихъ правды; у коня-то стали ножки подгибаться* и под. Местное значение отягощается оттенком значения принадлежности, которое становится «семантическим центром» выражений типа *у меня три года какъ сосватанось* или *ейна шубонька была у насъ скидывана*. Значение же деятеля остается

¹⁰ А. А. Потемня, Из записок по русской грамматике, III, М., 1968, стр. 344.

¹¹ В. И. Борковский, Синтаксис древнерусских грамот, Львов, 1949, стр. 79; «Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Типы простого предложения», стр. 171.

факультативным, оно может в некоторых ситуациях ощущаться в большей или меньшей степени, но может и пребывать в качестве оттенка значения принадлежности или места действия. В этом отношении сочетание *y + + РП* (как, впрочем, ст.-слав. *омъ + РП*, греч. *ὀπό + РП*, обороты с лат. *a, ab*, герм. *von, by, fram* и др.) в с е г д а отягощено оттенками конкретных местных значений и по точности, выразительности и однозначности не идет ни в какое сравнение со славянским ТД. Кроме того, употребление сочетания *y + РП* нередко оказывается двусмысленным: ср. *сено у его куплено* — «он купил» или «у него купили». Естественно полагать, что употребление оборота *y + РП* могло возникнуть только в условиях отсутствия более совершенного способа выражения значения агенса — ТД. (Предположение о вытеснении ТД оборотом *y + РП* кажется совершенно нереальным). Поскольку в рассматриваемых говорах существует ТО, который во всех других языках и говорах лежит в основе ТД, то можно думать, что, по крайней мере, для части древних говоров ТД и сочетание *от + РП* не являются средствами, «искони» им присущими. Более того, имеются веские основания полагать, что, во-первых, в древние времена значение агенса не было известно этим говорам и что, во-вторых, такое предполагаемое состояние было свойственно не только западной части северных говоров. В пользу такого предположения свидетельствуют также другие обстоятельства, отчасти изложенные ниже.

6. Помимо рассмотренных, в славянских языках существуют многие средства языка, используемые для выражения значения деятеля при страдательном залоге. Здесь целесообразно упомянуть лишь о значении принадлежности, выражаемом РП или притяжательным местоимением, и значении направления → перехода или источника действия, что выражается дательным падежом. Упомянутые средства языка заслуживают особого внимания еще и потому, что они используются для выражения агенса не только в славянских, но и в других, древних и новых, родственных языках.

В примере *все думушки его да е обдуманы* [ср. *все думушки у его (у него) обдуманно*] «не думается» о том, кем выполнено действие, но вполне ясно, что *его думушки* обдуманы им же самим, и в том случае, если возникает необходимость указать, КЕМ выполнено действие (что для страдательных оборотов существовало в языке отнюдь не «искони»), значение принадлежности может служить указанием деятеля. Похоже на то, что именно такое факультативное значение деятеля наблюдается в др.-перс. *ima tya manā kartam* «это, которое мое сделанное» или *maiū riça kartam* «моего отца сделанное» с формами родительного-дательного падежа¹². Аналогичное положение в балтийских языках, например, в латыш. *mana drauga padaritais darbs...* «моего друга сделанная работа», но отнюдь не «моим другом»; таково же употребление РП в литовском языке. Существенно, что в некоторых языках (например, в балтийских) РП является единственной падежной формой, которая может при необходимости указать деятеля страдательной конструкции, в то время как ТП, существующий в этих языках, для этой цели не употребляется и, как можно полагать, не употреблялся ранее.

Довольно близкую аналогию можно обнаружить, например, в др.-греч. *οἱ ἵπποι αὐτοῦ δεδευχται* «лошади у них (у персов) привязаны» (дословно «им привязаны») с так называемым «ДП принадлежности», который, однако, выражает и то, что лошади у персов привязаны самими же персами. Значение принадлежности в примерах: *остави намъ прегръшенія наша*

¹² Л. А. П и р е й к о, Основные вопросы эргативности на материале индоиранских языков, М., 1968, стр. 10—15.

(т. е. «грехи, сделанные нами»), и *обличи побѣду свою* («одержанную тобою»), *се есть свѣдѣтельство Иоаново* и под. также служит указанием деятеля, хотя само действие не выражено глагольной или причастной формой.

В славянских (и других) языках известны также употребления ДП, не выражающего значения принадлежности, для выражения агенса действия, которое уже в древнем языке ограничено довольно узким кругом глаголов, принадлежащих, однако, к весьма распространенным (со значениями «видеть», «слышать», «знать» и др.). Примерами могут служить ст.-слав. *бѣ знаемъ архиероуи*, др.-русск. *пути имъ вѣдоми, яругы имъ знаеми*, русск. *нам известно, видно, слышно*, укр. *мені це вѣдомо* и под.; ср. также ст.-слав. *чоудися ему* («удивился ему, удивлен им») и др. Аналогичные употребления известны в греческом, германских и некоторых других языках, в частности, с причастием «рожденный» (КОМУ) и другими, что в известных случаях могло лечь в основу значения деятеля у ДП.

7. При описании значений ТП, включая и ТД, в древних языках обычно не учитывается то немаловажное обстоятельство, что появление и существование ТД самым непосредственным образом связано с развитием «страдательности сказуемого» (А. А. Потебня). Значение агенса, независимо от способа выражения, осознается и оформляется как таковое в составе трехчленного пассива (модель ЧТО СДЕЛАНО КЕМ). Необходимо высказать ряд замечаний относительно истории последнего в славянских языках.

Традиционная точка зрения в рассматриваемом вопросе, как известно, предполагает существование «искони» трехчленного пассива и обратимости его в активную конструкцию. Под влиянием этой точки зрения двучленная пассивная конструкция типа *князь нашъ убьенъ; люди его разграблены; в анбар лажено; их обмо(л)влено* и под. определяется как «дезактуализация» былого трехчленного страдательного оборота типа * *князь нашъ убьенъ (есть, былъ)* т а к и м - т о (КЕМ). Однако в действительности дело обстоит так, что предполагаемые «актуализированные» трехчленные страдательные обороты в древних непереводах памятниках встречаются исключительно редко или, как правило, вовсе отсутствуют. В последние ступени истории языка они начинают встречаться чаще, представляя собою развешенное явление языка. Традиционное мнение обязательно предполагает волнообразное развитие: и.-е. или праслав. * ЧТО СДЕЛАНО КЕМ → ЧТО СДЕЛАНО → ЧТО СДЕЛАНО КЕМ — и нуждается в объяснении причин «дезактуализации» (проще — устранения агенса). Такая схема плохо согласуется с фактическим материалом, не говоря уже о предполагаемом состоянии до возникновения и.-е. или праслав. * ЧТО СДЕЛАНО КЕМ.

В древнем языке в примерах типа *се сынъ твой убьенъ; и възвратися Андрей невреженъ; князь нашъ убьенъ* и под. с причастием страдательным, т. е. в благоприятных условиях для употребления ТД, последний, тем не менее, обычно не встречается. Для древнего языка кажется справедливым то, что «*князь убит*» — это состояние самого князя, мыслимое безотносительно к деятелю, который совершил убийство»¹³, т. е. весьма близкое по значению к *князь мертв* или *умер* (ср. с сопоставлением у А. А. Потебни примеров *он любим, он осужден* и *он прав*). Безотносительность к деятелю (во многих других случаях — к орудью, причине, источнику) подтверждает мнение А. А. Потебни о том, что «причастия страдательные с довольно давнего времени близки к прилагательному», в котором признак не предполагает и к а к о г о источника своего возникновения. То, что Т. П. Лом-

¹³ В. Л. Георгиева, История синтаксических явлений русского языка, М., 1968, стр. 48

тев считал «дезактуализацией» страдательного залога в древнем языке, оказывается, скорее, «безактуализацией», так как значение агенса и средства его выражения в языке значительно моложе, чем их отсутствие в нем. Анализируя примеры типа *князь нашъ убьенъ*, В. Л. Георгиева считает, что они обычно «не имеют четко осознаваемого страдательного значения». К сказанному можно добавить, что в рассматриваемых примерах не только деятель, но и само действие оказывается «на заднем плане», что объясняется характерным свойством причастия — близостью к имени и тем, что причастия страдательные — «наименее предикативны» (А. А. Потебня). Близость примеров типа *князь убит* и *князь мертв* проявляется в том, что оба они позволяют выразить статичность в предикации, так сказать, «неподвижность» (Л. П. Якубинский) признака. «Расширение» таких примеров путем обстоятельственных слов характеризует в первую очередь именно состояние, признак, а не предшествующее действие и, тем более, его источник. Поэтому описанные условия в древнем языке были далеко не столь благоприятны для употребления ТД, как это кажется с высоты развитого современного языка. (Одним из стимулов образования значения агенса должно быть увеличение «степени предикативности» причастия, что достигается в сочетаниях с глаголами «ослабленной семантики».)

8. Следует отметить также тот немаловажный акт, что количество примеров употребления модели ЧТО ЕСТЬ СДЕЛАНО, а в древнерусских непереводных памятниках — ЧТО СДЕЛАНО, т. е. модели с двучленным пассивом, вообще весьма невелико. По наблюдениям В. И. Борковского, в обследованных им древнерусских грамотах обнаружено всего 23 примера такого рода, из которых большинство принадлежит XV—XVI в.¹⁴ Заметный рост начинается с XVII в., но и в этом случае «в древнерусских памятниках при причастии обычно не называется действующее лицо»¹⁵. По нашим наблюдениям, в «Слове о полку Игореве» употреблено немногим более 20 страдательных причастий (совершенного вида), а в «Поучении Владимира Мономаха» — менее 10, из которых в собственно повествовательной обнаружено только одно: *и Олегъ приде из Володимыря выведен*, а остальные употреблены в правоучительной части памятника: *како небо устроено; земля на водахъ положена; сваленъ зъло; да будетъ проклятъ; украшено твоимъ промысломъ* (часть примеров явно книжного происхождения). В памятниках народного творчества страдательных причастий еще меньше; так, в былинах обнаружены: *ему выбито право око; ко стремени булатному прикована; на камени подпись подписана* и нескольких других, среди них — на -о: *было воткнуто два острые ножика; было вставлено по дороге камению; мудрены вырезы вырезано; неладно у апостолов удумано; неладно у святыхъ отцовъ написано* и немногие другие¹⁶.

Язык древнерусских непереводных памятников свидетельствует о весьма редком употреблении модели ЧТО (ЕСТЬ) СДЕЛАНО, а язык памятников последующих столетий отражает ее постепенное распространение, что в общем указывает на в о с х о д я щ у ю тенденцию в истории развития такой конструкции. Из этого обстоятельства следует весьма вероятное предположение о том, что в языке дописьменного периода двучленный пассив едва ли был распространен шире (как и потенциальная возможность для возникновения значения агенса). Скорее — наоборот,

¹⁴ В. И. Борковский, Синтаксис древнерусских грамот, стр. 73—74. 81; см. также «Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Типы простого предложения», стр. 170—171.

¹⁵ «Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Типы простого предложения», стр. 171.

¹⁶ В. В. Сиповский, Историческая хрестоматия по истории русской словесности, I, 1, СПб., 1914, стр. 39—71.

что подтверждается не только изложенными выше, но и другими обстоятельствами.

9. Незначительное распространение страдательных оборотов в древнем языке по-своему компенсируется (и отчасти объясняется) весьма обширным употреблением неопределенно-личных предложений: *видяху столпъ огьнь*; *поставиша* (НН.) *игоуменовъ*; *на мѣстѣ идеже оубиша Бориса* и множестве других. Широкое распространение таких предложений во всех древних письменных памятниках, особенно непереводных, объясняет, по-видимому, причины замены греческого пассивного оборота (двучленного, в частности) старославянским действительным оборотом с 3-м лицом мн. числа, что отметил А. Вайан¹⁷. Важно, что двучленный пассив обычно не калькировался, но заменялся действительным неопределенно-личным оборотом не только в древнейших памятниках, но и гораздо позже. В древнерусских памятниках безличные предложения с причастием страдательным «занимают... скромное место по сравнению с другими безличными предложениями»¹⁸. По нашим подсчетам, количество страдательных причастий (вместе с формами на -о), например, в летописных частях «Повести временных лет» во много раз меньше, чем во «вкраплениях», а количество действительных безличных оборотов в несколько раз больше, чем двучленных страдательных конструкций. Употребление на месте последних более привычных действительных оборотов (тип *да не судятъ вамъ* вместо ожидаемого *да не судимы будете*) наводит на мысль о том, что в действительном обороте представлено древнейшее состояние. Это же обстоятельство, как нам кажется, объясняет парадоксальную, на первый взгляд, замену двучленного пассива при сохранении трехчленного. Последний калькировался (вместе с сочетанием *от + РП*), сохранялся именно потому, что модель ЧТО СДЕЛАНО КЕМ/ОТ КОГО была еще чуждой славянским языкам. Однако авторитет оригинала требовал, а «арсенал» средств славянских языков позволял, чтобы трехчленный пассив вошел в язык перевода без изменений. Двучленный же пассив как более близкое явление (отсутствие агенса — безличность) легко заменялся давно существующим, «своим» средством — оборотом с 3-м лицом мн. числа и действительным залогом сказуемого. Подобного рода процессы и детали заимствований и иноязычных влияний известны в истории многих языков.

«Дезактуализация» страдательного залога, или «устранение» (Е. Ф. Карский) указания деятеля, происходила в древнем языке не столько «по ненужности обозначения деятеля», сколько потому, что само значение агенса и осознаваемые средства его выражения были чуждыми древним славянским и другим языкам, что сохраняется в них в течение весьма длительного времени. Это обстоятельство сближает выражения типа *князь нашъ убьенъ* и *еще убьютъ посла*, в которых деятель вообще не подразумевается, подобному тому, как в *князь нашъ мертвъ* и под. Однако между ними есть и существенные различия.

10. В одном из них развитие происходило таким образом, что устранение деятеля, даже выраженного формой 3-го лица мн. числа и не предполагающего за собою кого-либо, исторически имело место, но это — действительная конструкция, продукт активного строя языка. Во втором обороте — страдательном, зародившемся в таком же строе языка, указание деятеля тем или иным способом оказывается сравнительно поздним явлением, которому предшествовала «безактуализация» действия.

Развитие рассматриваемых оборотов в древнерусском языке происходило в двух направлениях: выражение в предикации статичного, «непод-

¹⁷ А. В а й а н, Руководство по старославянскому языку, М., 1952, стр. 386.

¹⁸ «Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Типы простого предложения», стр. 170.

вижного» признака и динамичного, «возникающего». Различия в значениях и способах выражения весьма наглядны в следующем отрывке из «Слова о полку Игореве»: *На Немизь снопы стелють головами* (т. е. «из голов»), *молотять чепи харалужными, на тоць животъ кладуть, вьютъ душу отъ тѣла. Немизь кровави, брезъ не бологомъ бяхуть посьяни, посьяни костьми рускихъ сыновъ*. Следует добавить, что употребление в рассматриваемых случаях форм 3-го лица мн. числа обусловлено тем, что их «неопределенность» (В. И. Борковский) значительно больше, чем у любой другой личной формы глагола, а их предикативность — больше, чем у причастия страдательного. В процессе последующего развития литературного языка оборот типа *аще убьютъ посла* (по нашему убеждению — более древний и самобытный) вытесняется оборотом *и да будетъ убитъ* (как кажется, не без влияния книжных, церковнославянских норм).

Целесообразно сопоставить особенности рассматриваемых оборотов на примерах, скажем, *приведоша* и «привели его» и *он приведен*. Общим и свойствами оборотов *привели его* и *он приведен* оказываются следующие: а) отсутствие указания действующего лица; б) длительное употребление в различных жанрах (если даже не в языках): древнерусском, народном и старославянском, книжном.

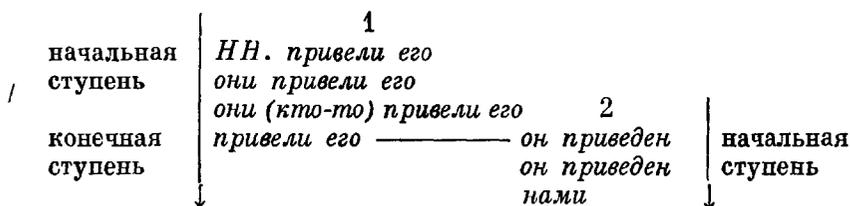
Различия рассматриваемых оборотов: а) действительный и страдательный залоги; б) семантические — «возникающий» и «данный» признаки, «черта глагола» и «черта имени» (А. А. Потебня); в) синтаксические — одно из принципиальных различий состоит в невозможности употребления прямого дополнения в обороте с причастием страдательным: * *приведен его*. Народный язык, в котором очень прочны древние основы активного строя, устранил это противоречие и создал возможность употреблять прямое дополнение при страдательных причастиях на *-о*, сохраняя древнюю тенденцию к «безактуализации» пассива: ст.-укр. *подрубано сосну бортнуу... и съ тое сосны медъ vybrано и сосну спалено; товариство все побито*, укр. *а на дворі коня взято; синка твого поховано*, ст. белорусск. *самого вдарено каменемъ; царя пуцоно*, русск. *скорбново словомъ пользовано; воду отнято; рубашку взято* и др., чему, возможно, предшествовало использование именительного падежа, как в *вода отнято*¹⁹. Весьма вероятно, что такого рода употребления (тип *воду отнято*) существовали и в более древнем языке. В. И. Борковский считает, что «большой рост безличных предложений с причастием прошедшего времени страдательного залога в старобелорусских и староукраинских памятниках вызван в первую очередь тем, что при причастии стала возможной постановка прямого дополнения»²⁰. Первоначально такой оборот не предполагал никакого значения деятеля. А. А. Потебня приводит всего один «крайне редкий случай» из украинского народного языка: *Походжено та поброджено, та коло моря кіньми* (ТП), *то ж не кіньми поброджено, то — журавочка з дїтьми* со страдательным причастием на *-о* от непереходного глагола. В письменных памятниках XVI—XVII вв. редко встречаются примеры с указанием деятеля: *ничого ти* («тебе») *мною не заборонено* и др.²¹. Употребление в литературном языке сочетания *его приведено* с ТД, т. е. **его приведено нами* и под. представляло бы собою в некотором смысле идеальную страдательную конструкцию с агенсом, объектом и страдательным причастием, но без подлежащего, т. е. без «остатков» активного строя предложения, если не учитывать значения среднего рода в форме на *-о*; г) противоположные тенденции развития оборотов *привели его* (1) и *он приведен* (2). В примере 1 уст-

¹⁹ Примеры А. А. Потебни и В. И. Борковского.

²⁰ «Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Типы простого предложения», стр. 175.

²¹ Там же, стр. 176.

ранение деятеля возможно только на последнем этапе развития предложения *НН. привели его*:



«Расширение» примера 1 с целью «актуализации» действующего лица возможно только в направлении, противоположном развитию этой конструкции. «Расширение» примера 2, в отличие от первого, путем «актуализации» деятеля (КЕМ — *нами*) является результатом и признаком дальнейшего развития конструкции.

Предложенная выше схема в общем виде показывает основные закономерности развития страдательных оборотов не только в славянских языках. Имеются основания считать, что в последних, а также в балтийских и германских языках категория страдательного залога, которая «для языков древних эпох вообще не является типичной»²², и, в частности, значение агенса и способы его выражения относятся к сравнительно поздним явлениям. В истории славянских и многих других языков распространение трехчленной пассивной конструкции с ТД и сочетанием *от* + РП непосредственно связано с возникновением письменности и влиянием норм книжного языка. Эта особенность древних языков в значительной степени свойственна и большей части современных индоевропейских языков, в которых страдательный залог не приобрел заметного распространения в живом, народном языке. Едва ли есть основания думать, что в древних языках наблюдалось иное, принципиально отличное (в рассматриваемом вопросе) состояние, что в значительной степени способствует выяснению вопроса о значениях ТП и о времени образования некоторых из них.

²² Б. А. Серебряников, К проблеме отражения развития человеческого мышления в структуре языка, ВЯ, 1970, 2, стр. 45.

Г. Н. АКИМОВА

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЭТИЧЕСКОГО СИНТАКСИСА

Об особенностях поэтической формы речи написано немало, однако наиболее частыми оказались две основные темы — лексическая (изучение так называемой поэтической лексики) и интонационно-ритмическая. Последняя тема интересует более всего теоретиков литературы в связи с кардинальными проблемами стиховедения и, прежде всего, установлением различий между прозаической и поэтической речью. Это различие, как установлено, зависит преимущественно от ритма (связанного в свою очередь с метрическим членением), которому в конце концов и подчиняются различные стороны стихотворного языка. При исследовании же метра и ритма особенно отмечается связь ритмических и синтаксических явлений. Изучению русского стиха в этом направлении особенно много внимания уделялось в 10—20-е годы нашего столетия. Знаменитые статьи А. Белого, основанные на применении статистического метода, вызвали отклики и интерес многих стиховедов, во-первых, постановкой теоретического вопроса о сущности ритма, во-вторых, выявлением закономерностей в ритмических вариациях одного из наиболее популярных размеров в русском стихосложении — четырехстопного ямба¹. Работы Б. В. Томашевского тех лет, В. М. Жирмунского, Б. М. Эйхенбаума, Ю. Н. Тынянова, С. И. Бернштейна и др. во многом обсуждают проблему поэтического ритма, иногда в сравнении с прозаическим ритмом, и устанавливают связь между этими явлениями и синтаксисом. Некоторые работы отражают это даже в заглавии². Принципиальное различие между стихом и прозой определяется по различиям конструктивного основания. Если конструктивный признак прозы состоит в связях и членениях семантико-синтаксических, то конструктивный признак поэзии иной, и семантические и синтаксические аспекты там подчинены ритмическому с известной реформацией синтаксических построений. (Мысль о том, что синтаксис в поэтической речи подвергается деформации и становится «условным», особенно подчеркнута Б. М. Эйхенбаумом и Ю. Н. Тыняновым³. Многие же авторы не ставят вопрос так категорически, а подчеркивают, что синтаксическая структура в стихе лишь приспосабливается к ритмике и метру⁴.

Что же специфического в поэтическом синтаксисе и как синтаксический строй подчиняется стихотворному размеру и ритму? Исследователи отме-

¹ А. Белый, Опыт характеристик и русского четырехстопного ямба. Сравнительная морфология ритма русских лириков в ямбическом диметре, сб. «Символисты», М., 1910.

² О. Брик, Ритм и синтаксис (серия статей в журнале «Новый лев» за 1927 г.).

³ Б. А. Эйхенбаум, Мелодика русского лирического стиха (1922), сб. «О поэзии», М., 1969, стр. 328; Ю. Н. Тынянов, Проблема стихотворного языка (1925), М., 1965, стр. 69—70.

⁴ См.: О. Брик, указ. соч.; С. П. Бобров, Синтагмы, словоразделы и литавриды: понятие о ритме содержательно-эффективном и о естественной ритмизации речи, «Русская литература», 1965, 4, и 1966, 1; Н. С. Поспелов, Синтаксический строй стихотворных произведений Пушкина М., 1960, стр. 5.

чают, что ритмические законы усложняют синтаксическую природу стиха, в результате чего выступают не те ударения и акценты. В чем же состоят наблюдения чисто синтаксического порядка, какие явления синтаксиса отмечены как зависимые от специфики стихотворной формы?

1. Было установлено понятие стихового ряда, или строки, как основной, ведущей стиховой единицы, обладающей метром и ритмом. Эта минимальная единица накладывает известные ограничения на синтаксические структуры. Идеальным представляется совпадение строки (ритмической единицы) и предложения (основной грамматической единицы): «Богат и славен Кочубей». Однако подобные совпадения встречаются значительно реже, чем несовпадения. Именно в последнем случае возникают разнообразные ритмико-синтаксические фигуры, размещающиеся на двух или нескольких строках.

2. Были намечены некоторые закономерности зависимости синтаксического построения от различных версификационных факторов.

Так, строфичность/астрофичность формы влияет на синтаксическую структуру: при строфической форме стиха чаще отмечаются более крупные синтаксические единицы (сложные предложения, сложное синтаксическое целое), чем в астрофических формах. Строфические стихи как бы используют синтаксическую перспективу, которая открывается при данной форме стиха ⁵.

Стихотворный размер и типы рифм связаны с возможностями синтаксического распространения. «Короткие ряды, метрически однообразные, гораздо более самостоятельны, более связаны друг с другом — ритмически и синтаксически, чем ряды относительно более длинные или метрически разнообразные» ⁶, а перекрестные рифмы дают больше возможностей для связанных и развернутых предложений (Б. В. Томашевский, Н. С. Поспелов).

Неоднократно отмечалась зависимость между типом стиха (напевный/говорной) и синтаксическим строением строки: в напевных стихах синтаксическая структура более проста, чем в говорных ⁷.

Однако все эти факторы только намечены отдельными исследователями и не подвергались анализу на конкретном материале.

3. Сравнительно более других синтаксических явлений стиха рассматривался так называемый перенос (enjambement):

Науки, чуждые музыки, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке...

(Пушкин, Моцарт и Сальери).

Практически каждый крупный стиховед отмечает перенос как явление, специфическое для стихотворной формы речи и появившееся в сравнительно поздний период развития системы национального стихосложения (например, В. М. Жирмунский). Большинство исследователей толкуют яв-

⁵ Г. О. Винокур, Слово и стих в «Евгении Онегине», сб. «Пушкин», М., 1941, стр. 188—200; Б. В. Томашевский, Стих и язык, М.—Л., 1959, стр. 305—313; Н. С. Поспелов, указ. соч., стр. 33—39. Ср., однако, наблюдения над астрофическими стиховыми периодами, подобными строфическим по синтаксическому и интонационному строению, в ст.: М. А. Пейсахович, Астрофический стих и его формы, ВЯ, 1976, 1.

⁶ Ю. Н. Тынянов, указ. соч., стр. 94.

⁷ В. М. Жирмунский, Введение в метрику, сб. «Теория стиха», Л., 1975, стр. 146 и др.

ление переноса как несовпадение ритмических и синтаксических единиц, как диссонанс между ритмом и синтаксисом⁸.

4. Другой синтаксической проблемой, явно находящейся на поверхности при изучении законов стихотворной речи, является проблема порядка слов. Частое использование инверсий, наблюдаемое многими стиховедами, практически мало исследовано. Вопросы словорасположения в поэзии (на материале стихотворений А. Блока) основательно рассмотрены только И. И. Ковтуновой⁹. Порядок слов в стихотворном языке, безусловно, связан с ритмико-интонационным оформлением. Последняя проблема была представлена в работах Б. М. Эйхенбаума, Б. В. Томашевского, В. М. Жирмунского, Ю. Н. Тынянова и др. Исследователи, особенно С. И. Бернштейн, занимались интонационно-мелодической стороной стихотворной речи, устными (декламационными) вариантами звучащего стиха. Проблема влияния ритмической интонации на смысловую и деформации последней в условиях стиха наиболее отчетливо выражена в работах Б. В. Томашевского, утверждавшего, что фразовое (логическое) ударение, характерное для прозы, в стихе невозможно, «стих есть речь без логического ударения»¹⁰. Подобное мнение сложилось в результате анализа русского классического стиха XIX в. и, вероятно, могло бы измениться после анализа современного стиха или просто различных интонационных типов стиха. И. И. Ковтунова уже показала, что стихотворная речь допускает экспрессивные варианты порядка слов в той мере, в какой стихотворная речь допускает интонацию прозаической речи.

5. Поскольку связь ритма и синтаксиса стала аксиоматическим положением, внимание стиховедов было направлено и на поиски основной синтаксической единицы, релевантной для стихотворной речи. Наблюдая над случаями совпадения/несовпадения метрико-ритмической единицы (строки) и некоей синтаксической единицы, исследователи исходили именно из стихотворной строки, ибо она определяет специфику стиха и может подчинить себе синтаксическую структуру. Так как русское стихосложение основано на количестве ударных слогов, чередующихся с неударными, то в основу синтаксической единицы предлагали семантико-синтаксическое образование, обладающее определенным фонетическим обликом. Так, Б. В. Томашевский предлагает в ритме прозы выделить фонационный период, связанный не с предложением, а со слогом. Такая единица — речевой к о л о н, состоящий в прозе в среднем из 8 слогов, который похож на строку четырехстопного ямба. В стихе же кóлон появляется только в случае переноса¹¹. Б. В. Томашевский, С. И. Бернштейн и другие исследователи останавливаются на синтаксически-интонационном понятии фразы, членимой на синтагмы (в понимании Л. В. Щербы и В. В. Виноградова). Однако неоднократно отмечались как трудности в выделении самих фраз, то совпадающих, то не совпадающих с предложением, так и стремление синтагм совместиться со стихом или полустихом.

⁸ См. противоположную оценку явления переноса как положительного фактора, пмеющего организующее синтаксическое значение: Н. С. П о с п е л о в, указ. соч., стр. 27—30.

⁹ И. И. К о в т у н о в а, Порядок слов в современном русском литературном языке и формирование норм словорасположения в XVIII — первой трети XIX в. ДД, М., 1973, гл. VIII.

¹⁰ Б. В. Т о м а ш е в с к и й, Ритм прозы (по «Пиковой даме»), сб. «О стихе», Л., 1929, стр. 313; е г о ж е, Проблема стихотворного ритма, там же, стр. 17. Из последних работ, развивающих эту идею, см.: Т. И. С и л ь м а н, Лирический текст и вопросы актуального членения, ВЯ, 1974, 6.

¹¹ Б. В. Т о м а ш е в с к и й, Ритм прозы, стр. 314. Отсчет ритмических единиц в слогах восходит в теории русского стихосложения к понятию просодического периода А. Х. Востокова (см. его «Опыт о русском стихосложении», 2-е изд., СПб., 1817).

С. П. Бобров, напротив, практически предлагает игнорировать синтагму как единицу, нерелевантную для стихотворной речи, ввиду ее аритмичности. Это важное свойство синтагмы, как подчеркивает С. П. Бобров, было отмечено В. В. Виноградовым вопреки А. Х. Востокову и Л. В. Щербе, установившим среднее количество слогов в синтагме, как и в речевом колоне Томашевского, — 7—8. Совершенно иное понимание синтагмы как явления речевого и стилистического, дополняющего структурно-синтаксическое (языковое), представлено Н. В. Лебедевой. В противоположность синтагме в прозе, автор выдвигает так называемую строчную синтагму, или поэтическую, совпадающую со стихорядом, что практически ничего не объясняет в синтаксисе стихотворного языка¹².

Таким образом, внимание исследователей оказалось сосредоточенным на интонационно-ритмическом аспекте при выборе синтаксической единицы, однако поиски не привели к однозначному решению. Решение это оказалось скорее негативным, подкрепленное еще и тем, что интонационно-логические ударения, нивелированные в стихе, возмещаются ударениями, связанными с ритмико-метрическими условиями. При этом, видимо, мало существенными оказываются такие фундаментальные понятия синтаксиса, как словосочетание и предложение. Подобное мнение высказывалось теоретиками-стиховедом, а обращение к анализу стихотворной речи собственно синтаксистов было пока крайне редким. Но и синтаксисты делали предметом анализа динамические единицы языка. Так, Н. С. Поспелов, описывая синтаксические особенности, зависящие от самой стихотворной формы, отмечает тесную взаимосвязь, конденсацию отдельных предложений в стихотворном тексте, особенно в строфической форме. Автор изучает синтаксическую единицу, которая появляется в более крупной стиховой форме, чем строка. В строфической форме это строфа, в астрофической — четверостишие. Синтаксическая замкнутость строфы создает обычно сложное синтаксическое целое, или высказывание, причем предлагается создать синтаксис строфы или синтаксис целого стихотворения (Н. В. Лебедева). В пределах синтаксиса сложного целого и рассматриваются различные способы связи между отдельными предложениями, преимущественно присоединительные отношения¹³. В итоге без внимания оставалась основная синтаксическая единица — предложение и ее место в условиях стиха. Даже высказывалось мнение, что предложение, находясь в различных соотношениях с композиционной структурой стиха, снижает свою категориальную самостоятельность, повышая одновременно значимость речевого высказывания.

В настоящей статье предпринята попытка подойти к вопросу синтаксической организации стихотворного текста с учетом основных синтаксических единиц, и прежде всего предложения. Не отрицая важности изучения стихотворного синтаксиса с позиций собственно стиховых единиц, думается, можно рассмотреть и «поведение» предложения и его компонентов в стихе, исходя из самих этих единиц.

В качестве материала были исследованы оды двух выдающихся авторов XVIII в. — М. В. Ломоносова и А. П. Сумарокова. Ломоносов и Сумароков — одновременно и поэты, и теоретики поэтики, однако они расходи-

¹² Н. В. Лебедева, Некоторые особенности синтагматики поэтической речи, ВЯ, 1972, 4.

¹³ Н. С. Поспелов, указ. соч.; Н. В. Лебедева, Синтаксическое членение поэтической речи (на материале русского и английского языков), ФН, 1974, 5. Подобным идеям предшествовала предложенная еще Б. В. Томашевским иерархия интонации в стиховых единицах (стопа → полустопище → стих → строфа → сложная строфа), которой в известной степени соответствует иерархия фонетических единиц (слог → слово → фразовое членение → речевой такт; или: фраза → предложение → период).

лись как в поэтической теории, так и в поэтическом творчестве. Анализ поэтического наследия поэтов проводился параллельно анализу их многоочисленных по количеству и разнообразных по форме прозаических произведений: ораторская, научная, деловая, эпистолярная проза. Это было вызвано проблемами, очень важными для письменного русского литературного языка XVIII в., и прежде всего проблемой синтаксической сложности текста, ибо тексты этого периода традиционно трактуются как тяжелые и синтаксически усложненные. В связи с этим была рассмотрена организация предложения в двух направлениях: количественном (объем предложения) и качественном (принципы развертывания и расширения предложения).

Вопрос о размере синтаксических единиц в стихотворной речи уже был в поле зрения исследователей, и это вполне понятно в связи с изучением стихотворных размеров и тесной связью между ритмом и синтаксисом. Так, Б. В. Томашевский устанавливал среднюю длину колона в прозе, но, видимо, с целью перенести эти данные и на язык поэзии. Автор отказывается учитывать длину предложения в словах, ибо именно слог, а не предложение, связан с ритмом и метром. С. И. Бернштейн анализировал объем фразы в стихотворении А. Блока «Пляски осенние», измеряя фразу числом полнозначных слов, включая местоимения. Средний объем фразы — 6,6 слова, наиболее частый — 5,2 слова; в стихе от 3 до 4 полнозначных слов; таким образом, фраза занимает в среднем два стиха, точнее 1,9¹⁴. Позднее измерение размера предложения в русском стихотворном тексте не производилось. Учитывая различия в основании определения размера синтаксических единиц, а также нечеткость самих понятий «фраза», «синтагма», «колон», мы предпочли исходить из размера предложения. Объем предложения исчислялся в словах, под которыми понимается последовательность букв между двумя пробелами. Это наиболее принятая в последнее время мера измерения длины предложения. Само предложение определяется пунктуационно — это текст от точки до точки. Понимая уязвимость подобного подхода (опора на пунктуацию и колебания в расчете служебных слов и аналитических форм), мы остановились на нем потому, что полученные в этом случае данные можно сопоставить с размерами предложения в прозе тех же авторов, а также с данными, полученными другими авторами на другом материале с использованием данной методики.

Анализ размера предложения в одах Ломоносова и Сумарокова показал, что количественный состав предложений в одах сравнительно с прозаическими жанрами тех же авторов свидетельствует об их линейной короткости. Нами вычислена длина предложений — как цельных (сложных и простых), так и простых предикативных единиц (предложений) в составе сложного предложения. Получены следующие данные. Средний размер цельного предложения в одах Ломоносова — 16,4 слова, в одах Сумарокова — 18,3 слова. Дифференцировано по типам предложений: средний размер сложного предложения в одах Ломоносова — 22,7 слова, простого самостоятельного — 9,1 слова, простого в составе сложного — 7,8 слова. Соответственно в одах Сумарокова: 21,5 слова, 12 слов, 6,7 слова. Близость данных проявляется и в наиболее частотных размерах предложений, которые, естественно, меньше, чем средние размеры. В одах Ломоносова наиболее частотный размер сложного предложения варьируется от 13 до 18 слов, простого самостоятельного предложения — от 5 до 8 слов, простого в составе сложного — 4—5 слов. Соответственно в одах

¹⁴ С. И. Бернштейн, *Художественная структура стихотворения Блока «Пляски осенние»*, «Труды по знаковым системам», 6 («Уч. зап. Тартуск. ун-та», 308), 1973, стр. 540.

Средние размеры предложений в произведениях Ломоносова и Сумарокова

Произведения	Цельное предложение	Сложное предложение	Простое самостоятельное предложение	Простое предл. в составе сложного
Оды Ломоносов	16,4	22,7	9,1	7,8
Сумароков	18,3	21,5	12	6,7
Научная проза Ломоносов, Слово о явлениях воздушных	26,4	29,8	13,6	9,5
Сумароков, Первый и главный стрел бунт	31,4	36,5	21,1	10,4
Ораторская проза Ломоносов, Слово похвальное Елиз Петр	33,9	44,6	17,5	12,4
Сумароков, 6 Похв. слов	21,7	25,2	13,4	8

Сумарокова: 11—15 слов, 7—10 слов, 4 слова. Сравнение этих данных с размерами предложений в научной и ораторской прозе тех же авторов свидетельствует о значительно меньшем объеме всех видов предложений в одах сравнительно с прозаическими текстами. Так, средний размер предложения в научной прозе Ломоносова («Слово о явлениях воздушных») — 26,4 слова, в научной прозе Сумарокова («Первый и главный стрелецкий бунт») — 31,4 слова. Особенно ощущается линейная короткость предложений в одах сравнительно с ораторской прозой у Ломоносова, меньше у Сумарокова: средние размеры предложений в ораторской прозе у обоих авторов — 33,9 слова (Ломоносов) и 21,7 слова (Сумароков)¹⁵, т. е. в полтора раза короче, чем у Ломоносова. При сравнении этих данных следует подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, близость различных количественных показателей в одах Ломоносова и Сумарокова и их совместную противопоставленность в этом отношении прозаическим жанрам. Во-вторых, близость размеров предложений наблюдаем только в одах, в то время как в другом виде художественной речи, в ораторской прозе, размеры предложений у Ломоносова и Сумарокова существенно различаются. На рис. 1 и 2 показано различное соотношение размеров простого предложения в составе сложного в одах Ломоносова и в ораторской прозе (на оси икс отмечено количество слов в предложении, на оси игрек — распределение предложений в процентах). Различия в эстетических установках двух выдающихся поэтов нашли синтаксическое проявление преимущественно в художественной прозе, и это видно по существенным различиям в размере предложений в ораторской прозе. Что же касается од, оба поэта еще больше различались поэтической манерой в этом виде художественной речи. Так, отмечается, что у Ломоносова была установка на воздействие оды на слушателя, ораторский план, «взвешивающее» начало оды, подобно ораторской прозе, ориентировано на произносимость. В отличие от этого, оды Сумарокова обладали иной поэтикой, их интонационный строй, более сдержанный и бедный, [не рас-

¹⁵ Более подробные данные по размерам предложений в прозе Ломоносова и Сумарокова см. в нашей статье «Размер предложения как фактор стилистики и грамматики (На материале русского литературного языка XVIII в.)» (ВЯ, 1973, 2).

считан на произношение¹⁶. Близость размеров предложений в одах Ломоносова и Сумарокова в свете указанных различий в их поэтике можно объяснить только спецификой стиха.

Большинство од Ломоносова и Сумарокова написано четырехстопным ямбом. Разыскания в области истории русского стихосложения и ритмического разнообразия четырехстопного ямба показали, что Ломоносов, будучи и теоретиком силлабо-тонического стихосложения, и практиком одновременно, выступает как реформатор стиха в целом¹⁷. Уже в своей

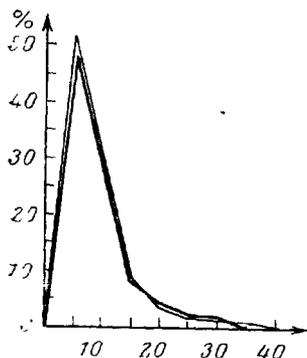


Рис. 1

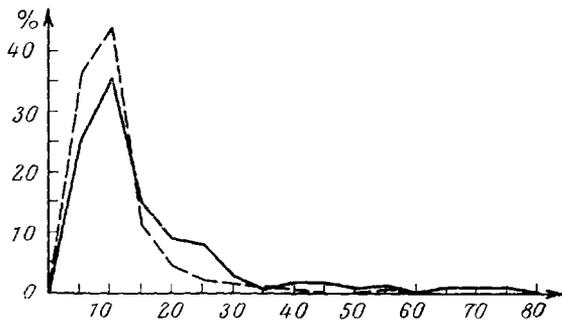


Рис. 2

Рис. 1. Распределение размеров простого предложения в составе сложного в одах:

———— Ломоносов
 ————— Сумароков

Рис. 2. Распределение размеров простого предложения в составе сложного в ораторской прозе: ————— Ломоносов
 Сумароков

поэтической практике Ломоносов освобождал себя от собственных теоретических установок, изложенных им в «Правилах российского стихотворства», — употреблять в ямбе только ямбические слова, т. е. двухсложные с ударением на втором слоге. Если бы Ломоносов и другие поэты XVIII в. следовали этому правилу (постулированному еще Тредиаковским), могло бы оказаться, что в ямбической строке должно было бы уместиться обязательно не менее четырех полнозначных слов, и, косвенным образом, это сказало бы на длине предложения. Может показаться, что в одном стихотворении возможно разместить больше слов, чем в прозаическом отрезке того же размера. Анализ ритмики четырехстопного ямба, проведенный А. Белым, показывает, что уже у Ломоносова полноударных строк не больше, чем у русских поэтов XIX в., что Ломоносов использует так называемый пиррихий (двухсложная стопа из двух безударных слогов) так же часто, как и последующие поэты. Различие состоит лишь в том, какие стопы он занимает пиррихией: у Ломоносова больше отклонений от правильного размера, т. е. пропусков ударений на второй стопе, в отличие от большинства поэтов XIX в., предпочитающих пропускать ударения на других

¹⁶ См.: Ю. Н. Тынянов, Ода как ораторский жанр, сб. «Поэтика», III, Л., 1927, стр. 104—107; Г. А. Гукowski, Из истории русской оды XVIII в., там же.

¹⁷ «Ломоносов не только обратился к новому ритму, но и связал эту ритмическую реформу с новой лексикой и новым синтаксисом» (Л. И. Тимофеев, Очерки теории и истории русского стиха XVIII—XIX вв., М., 1958, стр. 338).

стопах¹⁸. Это отражается на ритме, но не имеет значения для количества слов в строке. Само же употребление пиррихия было вызвано важной закономерностью — количеством слогов в русском слове. Этот вопрос неоднократно исследовался не только (но преимущественно) по отношению к стиху, но и русской прозе. Было установлено, что наиболее частотными являются трехсложные слова с ударением в середине, а для четырехсложного ямба и двухсложные с ударением на втором слоге. Средняя длина русского слова от 2,7 до 3 слогов, в зависимости от оснований подсчета¹⁹. Таким образом, размер, длина слова не является причиной укороченности (или возможного удлинения) предложения в стихотворной речи (в четырехсложном ямбе, по крайней мере), а влияние Ломоносова, его ритмико-синтаксической реформы русского стихосложения на поэзию современников и ближайших последователей исторически мотивировано особенностями форм русского стиха XVIII в.

Размер предложения дает количественные данные, требующие дальнейшей качественной интерпретации, ибо «с точки зрения художественного восприятия важен не столько объем фразы и его соотношение с объемом стиха, сколько ее синтаксическое строение и соотношение синтаксических границ с метрико-строфическими»²⁰. Качественная интерпретация привела к рассмотрению предложения со стороны его развертывания и расширения. Элементы простого предложения находятся в определенных статусных отношениях, представленных тремя видами, которые можно измерить: 1) уровнем синтаксической иерархии, 2) шириной соподчиненного куста, 3) шириной однородного куста. Первые два измерения основаны на подчинительных связях и дают развертывание предложения, третье измерение основано на сочинительных отношениях и дает расширение предложения. Нами была рассмотрена иерархическая организация простых предложений в упомянутых текстах, а результаты анализа развертывания и расширения подвергнуты статистической обработке. По всем трем измерениям, особенно по первому и второму, синтаксические построения в одах оказались более укороченными сравнительно со всеми прозаическими жанрами. В отдельных видах измерения они сближались с ораторской прозой как художественные жанры и вместе противопоставлялись нехудожественным (научной, деловой прозе). В других же случаях оды обнаруживали синтаксическую укороченность предложений и противопоставлялись прозаическим жанрам вообще, в чем уже проявлялась специфика стиха. Рассмотрим результаты измерения отдельно.

1. Уровни синтаксической иерархии представляют шаги последовательно зависимых словоформ в предложении²¹. При статистическом обследовании уровней иерархии в различных жанрах, хотя и отмечены высокие критические меры (от 1 до 12 уровней в прозе, от 1 до 7 уровней в одах), но наиболее частотными по количеству уровней иерархии во всех прозаических жанрах являются трехуровневые предложения, оды же дают

¹⁸ А. Б е л ы й, Опыт характеристики русского четырехсложного ямба, стр. 290, 295.

¹⁹ См. историю вопроса в ст.: В. М. Ж и р м у н с к и й, О национальных формах ямбического стиха, сб. «Теория стиха», Л., 1968, а также интересные материалы, представленные в статье М. Л. Г а с п а р о в а «Русский трехударный дольник XX в.» (там же). М. Л. Гаспаров использовал данные по четырехсложному ямбу из предшествующих работ Б. В. Томашевского, например, «Ритмика четырехсложного ямба по наблюдениям за стихом „Евгения Онегина“», где, кстати, приводятся материалы и по одам Ломоносова (см. сб. Б. В. Томашевского «О стихе», стр. 103—107).

²⁰ С. И. Б е р н ш т е й н, указ. соч., стр. 540.

²¹ О способах подсчета с использованием графического изображения предложения как дерева зависимостей применительно к исследуемому материалу см. в нашей статье «Уровни синтаксической иерархии как принцип развертывания предложения» («Slavica slovaca», 1974, 1).

в качестве наиболее частотных двууровневые предложения, т. е. противостоят в этом отношении всем прозаическим жанрам.

Что касается загруженности того или иного уровня иерархии отдельными словоформами, то оды, как и прозаические жанры, обнаруживают максимальную загруженность второго уровня иерархии, на котором располагаются компоненты, зависимые от первого уровня, так называемых главных членов. Однако линия распределения в статистическом выражении представлена без резкой скошенности левого угла. Это значит, что в одах много одноуровневых предложений, часто не расчлененных с точки зрения актуального членения предложения, представляющих целостное описание событий²². Ср.:

Хладнеют жилы, сердце ноет
(Лом., Ода 1739, 21);

Отмкнулась дверь, поля открылись
(Лом., Ода 1741, 40);

Земля трещит, деревья гнутся,
Единым махом с корней рвутся,
Трепещут нивы и луга
(Сум., Ода IV, 26).

2. Второе измерение представлено шириной так называемого соподчиненного куста, т. е. конфигурацией, состоящей из компонента предложения, распространенного двумя или более зависимыми одновременно. Элементы соподчиненного куста располагаются, естественно, на одном уровне иерархии, начиная со второго. Увеличение ширины соподчиненного куста, особенно глагольно-финитного или субстантивного, — один из существенных способов развертывания предложения и увеличения его массы²³.

Статистическая обработка материала показала, что наиболее загруженным является глагольно-финитный куст. Его ширина — важный показатель информативной насыщенности текста. Однако это проявляется более всего в деловой, научной, эпистолярной прозе, где наиболее частотная ширина глагольно-финитного куста равна 2. Это значит, что финитный глагол имеет две зависимых от него словоформы, кроме подлежащего, одновременно, причем формы, не находящиеся между собою ни в подчинительных, ни в сочинительных отношениях. В одах наиболее частотная ширина глагольно-финитного куста равна 1. В этом отношении к одам примыкает и ораторская проза Ломоносова, что связано с особенностями этого художественного жанра в исследуемую эпоху. Интересным представляется и факт высокого процента нулевой ширины глагольно-финитного куста, т. е. отсутствие зависимых от финитного глагола форм вообще — около 7%, что связано с наличием значительного количества так называемых нераспространенных предложений в одах сравнительно с информативно насыщенными деловым и научным жанрами, где подобные конструкции составляют не более 1—2%.

Субстантивный куст — это существительное с зависимыми от него компонентами. Он в исследуемом материале наименее загружен в одах.

²² Использовано: М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч. в 10 томах, 8, М.—Л., 1959 (20 од); А. П. Сумароков, Собр. соч. в 10 томах, изд. Новикова, 2, М., 1781, Оды торжественные (1—33).

²³ Об организации соподчиненных кустов и их роли в развертывании предложения см. подробнее в нашей ст. «Ширина соподчиненного куста как принцип развертывания предложения» («Československá rusistika», 1973, 5).

Хотя наиболее частотной во всех жанрах, в том числе и в одах, является ширина, равная 1, именно в одах очень высок процент субстантивов с нулевой шириной (употребление существительных без всяких определителей): 45% субстантивов без определителей, в то время как субстантивов с одним определителем — 47%. Этот факт кажется странным, потому что именно в стихах мы ожидаем обильного употребления эпитетов, этих постоянных субстантивных спутников в художественной речи. И в ораторской прозе у Ломоносова и Сумарокова отмечаем большое количество субстантивных распространителей, большее, чем в нехудожественной прозе, и, таким образом, малый процент нулевой ширины субстантивного куста. Оба обстоятельства свидетельствуют, очевидно, об особых закономерностях именно стихотворной речи этого периода. Требуются специальные исследования не только качественного, но и количественного соотношения различных художественных приемов, связанных с употреблением субстантивов, например эпитетов и различных видов метафор.

3. Относительная словесная загруженность предложения в одах проявляется за счет ширины однородного куста, употребления однородных членов. В поэтическом языке особенно распространены однородные предикативные группы, подчас параллельные субстантивно-подлежащим группам:

Однако топчут, режут, рвут,
Губят, терзают, грабят, жгут,
Склоняют нас враги под ноги
(Лом., Ода 1741, 47);

Надежда, радость, страх, любовь
Живит, крепит, печалит, клонит,
Противна страсть противну гонит,
Играет и кипит в нас кровь
(Лом., Ода 1752, 506);

Рушитель сладкого покою
Одной восток он тряс рукою,
Другую запад колебал;
Но сброшенным с небес пожаром
Пресильным поражен ударом,
Взревел, оцепенел и пал
(Сум., Ода IV, 26).

Широкое употребление однородных кустов сближает оды XVIII в. и ораторскую прозу как жанры художественные и находится в корреляции с тем фактом, что паратактические средства связи преобладают в художественных жанрах и на уровне сложного предложения. Давно отмечено, что сложносочиненные и особенно сложноподчиненные предложения бытуют преимущественно в логизированном научном синтаксисе. Но группа независимых предложений в стихотворной или вообще художественной речи, и в том числе в составе бессоюзного сложного предложения, может быть связана рядоположенностью, разными формами параллелизма и интонационным единством. Такие отношения В. М. Жирмунский предлагает назвать синтаксическим сопоставлением²⁴. Ср.:

²⁴ В. М. Жирмунский, Композиция лирических стихотворений, сб. «Теория стиха», Л., 1975, стр. 452. См. также: Г. О. Винокур, указ. соч., стр. 188; Н. С. Поспелов, указ. соч., стр. 18, и др.

Уже врата отверзло лето,
 Натура ставит общий пир,
 Земля и сердце в нас нагрето,
 Колеблет ветви тих зефир,
 Объемлет мягкий луг крылами,
 Крутится чистый ток полями,
 Брега питает тучный ил,
 Древа и цвет покрылись медом,
 Ведет своим довольство следом
 Поспешно ясный вождь светил

(Лом., Ода 1743, 103);

Плутон и фурии мягутся,
 Подземны пропасти ревут:
 Врат ада верей трясутся,
 Врата колеблемы падут.
 Цербер гортаньми всеми лает,
 Геена изо рта пылает:
 Раздвинул челюсти Плутон,
 Вострепетал и пал со трона:
 Слетела с головы корона,
 Смутился Стикс и Археон

(Сум., Ода X, 57).

Анализ размера простых предложений в составе сложного показал, что средние размеры колеблются в зависимости от типа сложного, в который входят простые (бессоюзные, сочиненные, подчиненные). Простые предложения в составе бессоюзных (и сочиненных) в среднем короче главных и большинства видов придаточных в сложноподчиненных предложениях. В одах (например, Сумарокова) более половины всех сложных предложений текста составляют бессоюзные и сложносочиненные, и именно они включают неразвернутые, короткие простые предложения.

Таким образом, укороченность предложений в одах связана прежде всего с сокращением подчинительных отношений как в простом, так и в сложном предложении. Из двух видов отношений, основанных на подчинении, — последовательном подчинении (уровни иерархии) и соподчинении (ширина соподчиненного куста) — именно первый вид оказывается наиболее укороченным в одах сравнительно с прозаическими жанрами. Последовательное подчинение является наиболее замкнутой синтаксической связью, труднее всего поддающейся влиянию стихотворного размера и ритма. Соподчиненный куст представляет, как правило, менее замкнутую связь, допускающую интонационное расчленение на более мелкие части, укладываемые в ритмико-метрические единицы. Что же касается сочинительной связи, она, естественно, наиболее открытая и более всего по своей природе пригодна для расчленения, связанного с ритмом и особенно метром. Этим и объясняется факт сравнительно частого употребления однородных кустов в простом предложении и обильного употребления сложносочиненных и особенно бессоюзных предложений (с более короткими простыми предложениями) в стихотворной речи.

Каковы же основные причины синтаксической неразвернутости предложений в одах? Очевидно, это связано как с особенностями художественного текста вообще, так и с особенностями стиха. Оба фактора, естественно, могут совмещаться. О том, что поэтическая речь лаконичнее, синтаксически экономнее, чем прозаическая, неоднократно писалось. Филологи и писатели XIX в. отлично это понимали. Так, К. С. Аксаков (1846),

говоря о синтаксическом построении органической фразы у Ломоносова, отмечал высокое синтаксическое развитие в ораторской прозе, в то время как стих, по словам К. С. Аксакова, не может дать вполне места синтаксическому развитию слова. Короткость стихов сравнительно с прозой отмечал А. С. Шишков (1828), А. К. Толстой (1871) и др.

Большое внимание этому вопросу было уделено Ю. Н. Тыняновым, который ввел понятие единства и тесноты стихового ряда. Этот почти термин очень часто цитируется, его пытаются объяснить, истолковать (Н. С. Поспелов, С. П. Бобров и др.). Ю. Н. Тынянов считает объективным признаком стихового ритма именно единство и тесноту стихового ряда, основной единицы стиха, подчеркивая его количественную ограниченность. Единство и теснота создают третий признак — динамизацию речевого материала. Единый ряд в стихе более стеснен, чем в прозаической речи. Это создает перегруппировку семантико-синтаксического членения, а если стиховой ряд равен грамматическому единству, то он углубляет синтаксическую и семантическую связь между словами. Взаимодействие стихового, метрического начала и грамматического ведет к тому, что как слово, так и предложение оказываются «результантой двух рядов»²⁵. Таким образом, теснота стихового ряда ведет к плотному взаимодействию слов, а синтаксически — компонентов предложения, в итоге чего вся строка образует «целостный организм, где все стоит в ряд, плечом к плечу, в великолепной и стройной поэтической тесноте»²⁶. В результате мы имеем словесную экономию, которую называют поэтической экономией²⁷. Синтаксически, как мы показали, экономия выражается в сокращенном объеме предложения. Несмотря на замкнутость подчинительной связи, именно она подвергается редукции в языке од в первую очередь. Цепочка последовательного подчинения (уровней иерархии) оказывается укороченной прежде всего из-за того, что она не терпит разрыва между отдельными стихами. Следует помнить и о том, что в исследуемую эпоху практически еще не применялись и переносы и стих стремился совместиться либо с предложением, либо с той его частью, которая составляла бы единую подчинительную группу.

За счет чего компенсируется в поэзии отсутствие развернутой подчинительной связи и как идет передача необходимой информации? В силу законов художественной речи вообще, и поэтической речи в особенности, происходят синтаксические и семантические изменения на уровне синтаксических конструкций и на уровне словоупотребления.

Синтаксический уровень проявляется, во-первых, в объединении предложений в строфы, в создании сложного целого, периодической формы речи; во-вторых, в употреблении (в риторических целях) конструкций, близких к разговорным, — вопросительных, восклицательных, т. е. эмоционально окрашенных.

Где ныне похвальба твоя?
Где дерзость? Где в бою упорство?
Где злость на северны края?
Стамбул, где наших войск презерство?

(Лом., Ода 1739, 25);

²⁵ Ю. Н. Тынянов, указ. соч., стр. 66—70. Т. И. Сильман называет короткость стихотворного текста, вмещающую в условиях чрезвычайной сжатости большое содержание, «перенаселенностью лирического пространства» [см.: «Заметки о лирике (мысль — образ — эмоция — звук)», ФН, 1974, 5, стр. 13].

²⁶ С. П. Бобров. Теснота стихового ряда (опыт статистического анализа литературоведческого понятия, введенного Ю. Тыняновым), «Русская литература», 1965, 3, стр. 122.

²⁷ См.: Л. Озеров, Поэтическая экономия, сб. «Мастерство и волшебство», М., 1972.

О день, исполненный утехи!

(Сум., Ода II, 13);

О вы, прекрасные места,

Что были вы и что вы стали?

(Сум., Ода XXIV, 116).

Употребление вопросительных и восклицательных предложений в стихотворной речи отмечалось как особый прием (В. М. Жирмунский, Б. В. Томашевский и др.). «Классическая русская ода имеет свою каноническую интонационную схему; в известных ее местах, например, являются характерные вопросительные предложения, в других — восклицания и т. д. Но интонация не выдвигается здесь на первый план — она как бы аккомпанирует канону логическому и лишь окрашивает собой его отвлеченные деления»²⁸. Существенно, что даже при таких условиях употребление эмоционально окрашенных предложений ведет к уменьшению словесного объема высказывания, ибо эти виды синтаксических структур в среднем короче повествовательных (неэмоциональных) предложений.

Уровень словоупотребления состоит в точности, меткости поэтического слова, которая определяется не только художественной образностью, а теснотой и единством стихоряда. Динамизация речи в стихе, указывает Ю. Н. Тынянов, сказывается в семантической области выделением слов и повышением семантического момента в них. Процесс этот состоит в том, что в поэтическом языке употребляются слова, заменяющие собою целые словесные группы. Эта замена происходит из-за тесной связи подобного слова с другими, в результате оставшееся слово приобретает значение целой группы, которая могла бы быть на его месте в прозаическом тексте. Вундт называл это «сгущением понятия через синтаксическую ассоциацию»²⁹.

Поэтическая экономия создается в значительной степени за счет словоупотребления, метафор и эпитетов. Различие в этих средствах и дает существенное различие в поэтической манере Ломоносова и Сумарокова. Однако это не сказывается резко на общем облике синтаксических конструкций, подверженных прежде всего законам самой стихотворной речи.

Факт синтаксической неразвернутости предложений в нашем материале с полной очевидностью убеждает в сильном воздействии стихового ряда (или шире — комплекса версификационных причин) на синтаксический облик текста. Можно ли это наблюдение распространить на русскую стихотворную речь вообще? Это потребует не только статистического исследования русских стихов в этом направлении, но и внимания к самим стихотворным формам, ибо, как было отмечено, на синтаксическую организацию стиха оказывают воздействие собственно стиховые формы: размер строки, вид стиха, строфичность/астрофичность, употребление переноса и т. д. Все эти факторы еще накладываются на диахроническую перспективу как в области развития форм стиха, так и синтаксических конструкций вообще. Однако представляется, что исследуемый материал — оды Ломоносова и Сумарокова, написанные самым распространенным размером, четырехстопным ямбом, — все-таки выявляет некую общую закономерность, синтаксическую неразвернутость стихотворной речи, особенно заметную в период процветания объемных и синтаксически развернутых предложений в прозе письменных жанров.

²⁸ Б. М. Эйхенбаум, указ. соч., стр. 331.

²⁹ Ю. Н. Тынянов, указ. соч., стр. 105. Факт недосказанности, подтекста в стихотворной речи неоднократно отмечался: «...восприятие живой, образной речи побуждает нас к творчеству, в каждом живом человеке эта речь вызывает ряд деятельностей, и поэтический образ создается — каждый» (разрядка наша. — Г. А.) (А. Белый, Магия слов, сб. «Символисты», стр. 433).

О. Д. КУЗНЕЦОВА

О ПРИЧИНАХ ЛЕКСИКАЛИЗАЦИИ В РУССКИХ ГОВОРАХ

Вопрос о лексикализации в говорах русского языка, т. е. о тех минимальных нерегулярных изменениях фонетического облика слов, которые заключаются в замене одной — двух фонем, их перестановке, исчезновении или, наоборот, добавлении, представляется одним из сложных и любопытных в современной диалектной лексикологии. Изучение этой весьма важной проблемы — проблемы явлений, лежащих на границе фонетики и лексики, — обещает быть интересным и в теоретическом плане. На важность теоретического осмысления таких явлений впервые обратил внимание Ф. П. Филин. По его мнению, «дальнейшее изучение „лексикализованных“ фонетических и морфологических вариантов слов несомненно дает много нового, до настоящего времени неизвестного и, может быть, даже неожиданного»¹.

Среди многочисленных вопросов, связанных с лексикализацией фонетических явлений, наиболее важным является вопрос о причинах, вызывающих лексикализацию. Нередко и специальные разыскания, и исследования отдельного лексикализованного случая не приводят к раскрытию причин его появления. И тогда приходится говорить только о тех факторах, которые в большей или меньшей степени способствуют лексикализации.

Говоря о причинах возникновения лексикализованных случаев, следует, очевидно, различать причины, вызывающие определенные фонетические изменения, на почве которых произошла лексикализация, и причины, из-за которых имело место закрепление измененного облика отдельного слова, собственно — перевод фонетического явления в явление лексическое. Если причины первого рода находятся в ведении фонетистов и фонологов, то выяснение причин второго рода является задачей лексикологов. Однако, как показывает опыт, обычно и лексиколог вынужден исследовать причины первого порядка; такова природа явлений, именно она заставляет лексиколога рассматривать его всесторонне: невнимание к одной из сторон в данном случае не дает возможности вскрыть истинный характер явления. Часто только изучение механизма фонетического изменения, условий его осуществления проясняет вопрос, почему в определенных словах происходит закрепление измененного фонетического облика.

Как показывает анализ диалектного материала русского языка, причины появления лексикализованных случаев различны. Иногда лексикализация отмечается на почве регулярного фонетического изменения, имевшего место в прошлом. Например, в ряде говоров русского языка в словах *железо*, *жемчуг* производится з на месте ж (*зелезо*, *жемчуг*). Изучение этого вопроса (преимущественно по материалам XIX — начала XX в.) убеждает в том, что ареал распространения этих слов в основном сов-

¹ Ф. П. Ф и л и н, О лексикализованных фонетико-морфологических вариантах слов в русских говорах, «Лексика русских народных говоров», М.—Л., 1966, стр. 32.

падает с ареалом распространения в недавнем прошлом (в XIX — начале XX в.) шепелявых свистящих и мены свистящих и шипящих. Последнее, как известно, было системным фонетическим явлением ряда говоров русского языка. На основе близости мягких свистящих и шипящих возникало колебание в произношении этих согласных, что нашло отражение и в памятниках письменности. Напомним хотя бы всем известную мену свистящих и шипящих в псковских летописях, отражающую шепелявость свистящих в этих говорах. Именно в них закреплялось произношение *з* на месте *ж* в некоторых словах. Ответить на вопрос, почему именно в словах *железо*, *жемчуг* и некоторых других произносится *з* на месте *ж* — это значит установить непосредственные причины лексикализации, указать факторы, вызвавшие закрепление фонетического облика со звуком *з* в этих словах. Решение этого весьма сложного вопроса, думается, надо искать на пути выяснения семантических особенностей указанных слов, характера функционирования, их роли в лексических системах и микро-системах, наконец, их истории и судеб в говорах.

Пример появления лексикализованных случаев на почве отмирающего фонетического явления находим у С. С. Высотского. Говоря о наличии в начале XX в. в говоре д. Лека двух фонем /*ô*/ и /*o*/, об исчезновении этой особенности фонетической системы говора, об объединении двух фонем в одну /*o*/, С. С. Высотский замечает, «что в ряде слов в силу каких-либо причин „отстоялось“ звучание *ô* настолько близкое к *o*, что этот звук уже осознаётся фонемой *o* и в дальнейшем еще ближе „подтягивается“ к ней в своем образовании»². По его наблюдению, это происходит в словах, «не представляющих легких путей для аналогии. Ср., например, *берлук*, *валуга* — с ясным *o*, записанные даже от лиц, не употребляющих в своей речи особой фонемы *ô*. Как раз эти слова в говоре одиноки, трудно или совсем не сравниваются с группами родственных слов и по лексикологическим причинам не могут легко соотноситься с литературным образцом, чтобы „восстановить“ здесь произношение *o*»³. В этом наблюдении С. С. Высотского отчетливо дифференцирована фонетическая основа лексикализации: наличие в говоре д. Лека двух фонем /*o*/, в частности, /*ô*/ закрытого — и причины самой лексикализации: отсутствие у слов с *o* на месте *ô* закрытого родственных слов, не дающее возможности аналогий и связей, по которым можно было бы восстановить произношение *o*.

Лексикализация может происходить также и на почве живой и действующей фонетической закономерности. Так, например, явление стяжения гласных, наблюдаемое в некоторых русских говорах, обычно проявляется только при определенных условиях — без них фонетический облик слов не изменяется. Однако в отдельных словах в силу причин индивидуального характера изменение фонетического облика слова закрепляется, и его исходная форма уже не восстанавливается. Отпадение начальных *a* и *o*, получившее наибольшее развитие в юго-западных говорах (смоленских, брянских), обусловлено характерным свойством этих говоров: произношением предударных слогов с меньшей силой, чем ударного. Эта тенденция наиболее отчетливо проявляется во втором предударном слоге и особенно на стыке предлога или приставки и слова, начинающегося с *a*, *o*, т. е. при наличии третьего предударного слога. Образующиеся здесь сочетания гласных *ao*, *oo* и др. не свойственны исконным восточнославянским языкам; такие сочетания подвергаются стяжению за счет исчезновения начального гласного звука в слове (*на огорбд* — *нагорбд*). Отпадение

² С. С. Высотский, О говоре д. Лека (По материалам экспедиции 1945 г.), «Материалы и исследования по русской диалектологии», II, М.—Л., 1949, стр. 13.

³ Там же.

начального гласного, как правило, не приводит к закреплению формы слов без начального гласного, тем не менее в отдельных случаях именно такие словесные формы закрепляются в диалектах. Об этом свидетельствуют употребления, подобные следующим: *мать прийти з горбду*, *горбд не пахан* (Курск.), *к үрбду* (Брян.), *к гарбдам* (Смол.), т. е. такие случаи, в которых новая форма слова употребляется при отсутствии указанных выше условий. Одним из обстоятельств, способствующих закреплению формы слова без начального гласного, является постоянное ударение на третьем (реже — на втором) слоге от начала (*огорбд*, *огурец*, *океан*); при подвижном ударении начальный гласный легко восстанавливается в других формах слова, и единство фонетического облика слова тем самым нарушается.

Кроме перечисленных фонетических особенностей слов, имеют значение и факторы, проявляющиеся на лексическом уровне. Для слова *горбд* (из *огорбд*), например, обстоятельством, способствующим закреплению нового облика, могло быть то, что наряду со словом *огорбд* имеется еще ряд производных слов также с постоянным ударением на том же третьем слоге [в говорах они зарегистрированы также без начальной гласной: *горбдишка* (Курск.), *горбдина* «огородные овощи» (Курск.), *горбдное «овощи»* (Брян.) и т. п.]. Другим обстоятельством, действующим подобным же образом, могло служить наличие у слова *огорбд* ряда родственных слов, в фонетическом составе которых нет начального гласного: *городить* «огораживать; сооружать плетень», *горбжа* «плетень» и т. п., служившие как бы поддержкой нового облика слова без начального гласного. Закрепление формы *гурец* «огурец» [*падүрөц*, *үрөшки*, *цвет үрөшной* (Брян.); *гуркй*, *гурцы* (Смол.)] могло произойти потому, что слово *огурец* и его производные составляют очень ограниченное по количеству гнездо слов. Известное главным образом по произведениям фольклора произношение слова *океан* без начального гласного могло закрепиться по той причине, что это заимствованное из литературного языка слово в обиходной речи в говорах вообще не употребляется [*По морю кияню*, *на мори кияни* (Брян., Смол., Иван., Нижегород., Вят.); в плаче из Олонецкой губ.: *с-за этого ль кеан синя морюшка*], а также потому, что в диалектах оно не имело производных слов.

Если характер слоговых отношений в слове и тенденцию к возрастающей звучности слога можно считать факторами системными на фонетическом уровне, то причины, вызывающие лексикализацию — у слова *горбд* «огород», например, разрыв родственных связей со словами *огородить* и др. и, наоборот, переход в микросистему слов с корнем без начального *о* (*городить*, *горбжа*), — можно отнести к системным на лексическом уровне. У *океан*, *огурец* лексикализации фонетического облика слова без начального гласного способствовало отсутствие системных связей и ассоциаций с родственными словами. Как известно, еще С. С. Высотский при описании говора д. Лека обратил внимание на эту особенность. Он заметил, что изменение внешнего облика слова (закрепление *у* на месте *о*) чаще всего наблюдается у слов, не входивших в какие-либо микросистемы говоров и, следовательно, не имевших системных отношений на уровне лексики. Обычно это происходит с именами собственными⁴. О такой же изменчивости собственных названий, объясняемой их семантической изолированностью, пишет А. Степановичус, подтверждая это английским ономастическим материалом⁵. Таким образом, в приведенном случае приходится говорить о целом ряде причин (или факторов) и условий, отно-

⁴ Там же, стр. 12, 13, 32.

⁵ А. Степановичус, Языковое изменение и проблемы диахронической фонологии (II) *, «Kalbotuga», XXVI (3), 1975, стр. 234.

сящихся к разным уровням языка, при которых происходит лексикализация. Однако можно видеть, что в этом комплексе разнородных причин и условий отчетливо выделяется фонетическая основа лексикализации: появление слов *горбд*, *гурец* происходит на почве явления стяжения гласных, вызванного тенденцией возрастающей звучности слога. Причины, вызывающие закрепление облика слова без начального гласного у отдельных слов, являются причинами лексикализации. Помимо одного общего условия (постоянное ударение на третьем, реже на втором слоге), в рассматриваемом случае у каждого слова они могут быть разные. Если для одного слова решающим явилось отсутствие родственных слов, для второго — разрыв родственных связей вследствие затемнения морфологического состава, то в третьем — наличие родственных слов, фонематический состав которых не имел начального гласного.

Отмечаются случаи, когда причины лексикализации те же самые, что и причины, вызывающие фонетические изменения. Лексикализированным можно считать, например, произношение *лошечка* вм. *ложечка*, *крушечка* вм. *кружечка* и т. п. с глухим звуком вместо звонкого. Ряд слов с такого рода изменением приведен А. М. Селищевым: „лошечка“ (с. Кежма Енис., Иркутская губ., Забайкалье), ... „лоточка“, „воточка“, „крушечка“, ... „лоточный“ (Сиб.)⁶. Поскольку такое изменение коснулось только отдельных слов, оно не имеет характера закономерности и потому должно считаться лексикализированным. Их появление в говорах А. М. Селищев объяснял аналогией со словами производящими, в которых согласный оглушился перед суффиксом *-к-*: *лошка*, *крушка*, *вотка*. Но, как известно, слов, в которых оглушенный согласный стоял бы перед глухим *к*, довольно много (*дежка*, *одежка*, *тележка*, *рогожка*, *ножка* и др.), однако уменьшительные слова с глухим согласным от них не образуются. Следовательно, простая аналогия не может быть причиной образования форм *крушечка*, *лоточка* и т. п. На наш взгляд, история появления таких форм гораздо сложнее. Слова *лодка*, *кружка*, *водка* имеют одну общую особенность, отличающую их от других слов с суффиксом *-к-*: они только по форме напоминают уменьшительные слова, а по существу значение уменьшительности ими утрачено. У носителей диалектов, следовательно, отсутствует связь между словами *лодка*, *водка*, *кружка* и соответствующими производящими, в которых бы глухому звуку соответствовал звонкий согласный. Такая связь или забыта, как в случае *водка* — *вода*, *лодка* — *лодья*, или отсутствует, как в случае со словом *кружка*, которое является образованием от заимствованного слова. Как известно, после падения глухих звонкий согласный в словах *лодъка*, *водъка* во всех падежных формах, за исключением род. падежа мн. числа, оказавшись перед глухим, утратил свою звонкость. По этой причине только форма род. падежа мн. числа напоминала о том, что в словах *водка*, *лодка* согласный перед *к* был звонким. Можно указать и на третий фактор, который был также одним из слагаемых в сумме причин, приведших к образованию уменьшительных *крушечка*, *лоточка* с глухим согласным. Дело в том, что в сибирских говорах большое распространение получило окончание существительных род. падежа мн. числа *-ов*. По свидетельству А. М. Селищева, оно было распространено шире, чем в литературном языке, и встречалось не только у существительных муж. рода, но также у существительных среднего (*окнбв*, *местбв*, *селбв*, *пизбв*, *полбв*, *имбв*) и женского рода (*избв*, *иконов*, *усатьбв*, *птицбв*, *пáлков* и *лбиков*, *чáшков*)⁷. Единственная форма (род. падеж мн. числа *лбжек*, *крúжек*), дававшая возможность ассоциации глухого звука

⁶ А. М. Селищев, Диалектологический очерк Сибири, 1, Иркутск, 1921, стр. 79, 81.

⁷ Там же, стр. 231.

со звонким, была утрачена. Нельзя не отметить, что последний фактор, касающийся парадигмы указанных слов и, следовательно, проявляющийся на морфологическом уровне, также можно отнести к системным. Таким образом, и в данном случае можно видеть, что к появлению форм *лоточка*, *воточка* вместо *лодочка*, *водочка* привел целый ряд факторов, действие которых относилось к разным периодам истории русского языка. Постепенно оставалось все меньше и меньше возможностей ассоциации глухого согласного (перед *к*) со звонким. Это произошло не на почве какого-то одного фонетического изменения, а в результате различных изменений, касающихся семантики слов, фонематического состава их, а также парадигмы. Таким образом, взаимосвязь, взаимовлияние различных ярусов языка проявляется в данном случае довольно отчетливо.

Нельзя не заметить, что с самого начала изменение коснулось только ограниченного круга слов, направлено было только на отдельные слова. Здесь, следовательно, невозможно дифференцировать причины, приведшие к лексикализации, так как фонетическое изменение с самого начала было лексикализовано. Изучение происхождения лексикализованных случаев в говорах представляется задачей нелегкой, нередко требующей изучения целого комплекса явлений: истории диалектных фонетических изменений, условий их осуществления, ареала распространения, а также изучения истории и судьбы каждого слова в отдельности.

Рассмотрение лексикализованных звуковых изменений в говорах, этих своеобразных явлений, которые лежат как бы на границе фонетики и лексики, дает неожиданные результаты теоретического характера. Исследование процесса лексикализации, выяснение ее причин, нередко приводящее к объяснению причин звукового изменения, являющегося основой лексикализации — все это в то же время и исследование причин звукового изменения слов. Конечно, речь идет об изменениях фонетического облика, затрагивающих небольшое количество слов, а не являющихся изменениями, важными в структурном отношении, охватывающими значительное количество слов; тем не менее, на наш взгляд, для решения кардинальных вопросов языкознания имеют значение и результаты, полученные при изучении изменений, касающихся даже незначительного количества слов. Исследование лексикализованных фонетических случаев помогает уяснению причин звуковых изменений.

В этом плане представляется возможным сделать следующие выводы: изменение фонетического облика слов не может быть результатом действия одного фактора, а является следствием весьма сложного проявления многих различных факторов. Лексикализация, таким образом, представляется процессом, в котором постепенно на протяжении иногда очень длительного (как в случае *лошечка*, *крушечка*), иногда менее длительного (как в случае *горбд* «огород») времени происходит ряд отдельных изменений, приводящих в конечном итоге к изменению фонетического облика слов.

В тех случаях, когда имеется возможность проследить самый процесс лексикализации, его происхождение, открывается сложная картина взаимоотношений, взаимозависимостей и взаимообусловленности различных факторов и обстоятельств, выявляющихся на разных уровнях языковой структуры. Уместно вспомнить здесь слова И. А. Бодуэна де Куртене о том, что «действительные „законы“, законы причинности, скрыты в глубине, в запутанном узле самых различных элементов»⁸. Изменение фонетического облика слова происходит в результате как бы совпадения, скрещения действия многих условий или обстоятельств и факторов, вызывающих такое изменение.

⁸ И. А. Бодуэн де Куртене, Фонетические законы, «Избр. труды по общему языкознанию», II, М., 1963, стр. 208.

В ряду различных причин, в сложном комплексе их, чаще всего выделяется непосредственная причина лексикализации — та, которая служит толчком к закреплению измененного облика слов. Другими словами, происходит как бы качественный скачок, кардинально изменяющий положение вещей, существовавшее до него. Стяжение гласных, наблюдаемое в говорах, обычно бывает факультативным; лексикализация измененного облика отмечается только у слов, для которых характерны обстоятельства, как бы «располагающие» к лексикализации. Действие последних оказывается решающим: именно в результате его закрепляется новый облик слова.

Как можно было видеть, в процессе лексикализации принимают также участие факторы разнородные. Их разнородность проявляется в том, что относятся они к разным уровням языка, не только фонетическому, но также лексическому и морфологическому⁹. При этом в каждом случае наблюдается разная комбинация этих факторов. Разнородны, различны они и в другом плане. Если одни из них представляют собой важные системные свойства говоров: закономерные звуковые особенности, слоговые отношения в слове, общие тенденции диалектных систем и т. п., то другие к таким языковым особенностям не относятся, они касаются конкретных лексических микросистем, парадигматики отдельных слов и т. п.

Чтобы понять процесс лексикализации, причины, вызывающие ее, необходимо тщательное и детальное выяснение роли факторов, приводящих к лексикализации. Известны попытки определить степень участия различных факторов при том или ином фонетическом изменении, отделить более активные факторы от менее активных, более важные от менее важных¹⁰. Изучение лексикализованных фонетических изменений показывает, что такое разграничение едва ли существенно, так как без совпадения действия всех этих факторов изменения фонетического облика слов не наблюдается. Оно происходит в случае совпадения, скрещения различных обстоятельств и факторов, в обстановке, как бы наиболее удачно складывающейся для того, чтобы определенное фонетическое изменение наступило. Отсутствие хотя бы одного из суммы обстоятельств и факторов, приводящих к изменению, решительным образом изменяет ситуацию. В рассмотренном случае, приведенном А. М. Селищевым, — это и оглушение звонких согласных после падения глухих перед суффиксом *-к-*, и выпадение ряда слов из системы уменьшительных существительных с суффиксом *-к-*, и разрыв родственных отношений производных слов с производящими, и отсутствие вследствие этого ассоциаций с производящими словами. Определить, какая из этих причин была наиболее существенной при изменении внешнего облика слов, не представляется возможным.

Другое дело — выяснение конкретной роли каждого обстоятельства, каждого фактора. Указанная задача представляется и важной, и необходимой, так как в то же время это и прояснение обстоятельств, при которых происходит лексикализация. В случае *горбд* из *огорбд* (Смол., Брян.), помимо общих системных свойств говоров, вызывающих стяжение гласных, имели место и индивидуальные для каждого слова обстоятельства, приведшие к закреплению измененного облика. Роль тех и других, безусловно, различна: если общие системные свойства говоров вызывают в этом случае факультативное изменение фонетического облика слов, то индивидуальные обстоятельства, способствуя закреплению измененного облика слов, являются как бы непосредственной причиной лексикализации.

⁹ По мнению Л. Р. Зиндера и Т. В. Строевой, фонетическая обусловленность изменений внешнего облика слов является только кажущейся (Л. Р. Зиндер, Т. В. Стр о е в а, Историческая фонетика немецкого языка, М.—Л., 1965, стр. 21—22).

¹⁰ См. об этом: А. Степ о н а в и ч ю с, указ. соч., стр. 215—219.

А. И. СОЛОГУБ

**О СКЛОНЕНИИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА
ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА В РУССКИХ ГОВОРАХ**

Длительное изучение говоров русского языка методами лингвистической географии дало возможность суммировать сведения, характеризующие состояние именного склонения в них, и на основании полученных данных прийти к выводам общего характера. В предлагаемой статье излагаются соображения, касающиеся состояния склонения существительных жен. рода, в отношении которого в говорах русского языка наблюдаются существенные различия. Эти различия, связанные с образованием разного рода инноваций в склонении существительных жен. рода в одних говорах при сохранении более архаичных форм в других, обусловлены в основном действием различных процессов аналогического характера. При этом в одних случаях процессы осуществлялись как бы однопланово (например, воздействие одной формы на другую только в плане ударения или только в плане образования нового гласного в окончании и т. д.), в других — они могли вызвать более сложные, многоплановые, изменения, могли приводить к образованию новых форм с измененным характером как ударения, так и гласного в окончании, и тем самым — к образованию в ряде случаев новой парадигмы.

По характеру взаимодействия компонентов эти процессы можно разделить на два основных типа: процессы, связанные с взаимовлиянием разных форм внутри одной парадигмы (назовем их внутрипарадигматическими), и процессы, связанные с взаимодействием разных парадигм (назовем их межпарадигматическими). Отметим, что в редких случаях в говорах можно наблюдать наложение этих процессов друг на друга, что приводит к более сложным по своему характеру результатам. Процессы подобного рода будем называть в дальнейшем синтетическими.

В качестве не основных, но имеющих также место при развитии инноваций в области именного склонения можно назвать процессы, связанные с действием определенных лексико-семантических моделей образования слов, а также процессы, обусловленные более общими процессами взаимодействия говоров русского языка. Основанием для отнесения их к процессам более частного характера является то, что они захватывают лишь отдельные слова и, таким образом, инновации, вызванные ими, связаны уже с лексико-грамматическим уровнем. Внутрипарадигматические процессы аналогии могут касаться всех формообразующих элементов существительных жен. рода: основы, ударения, гласного в окончании. При этом они могут быть ограничены определенными условиями (например, определенными предложными конструкциями или характером ударения в форме и т. д.) или выступать в качестве ничем не ограниченных.

Широко представлен, например, в говорах процесс усвоения нового окончания отдельными формами под воздействием других форм той же парадигмы в склонении существительных жен. рода на -а. Парадигмы, характеризующиеся наличием новых форм род. падежа с окончанием -е, усвоенным ими от форм дат.-предл. падежей, имеют распространение на тер-

ритории южного наречия русского языка и большей части среднерусских говоров, а парадигмы с формами дат.-предл. падежей, имеющими окончание *-ы* и образованными по типу формы род. падежа, характерны в основном для территории северо-запада и юго-запада. При этом в одних говорах процесс усвоения нового окончания выступает в качестве ничем не обусловленного (мы имеем в виду говоры северо-запада, последовательно представляющие окончание *-ы* в формах дат.-предл. падежей), в других он ограничен в реализации различными условиями. Так, на территории распространения южного наречия русского языка и среднерусских говоров употребление окончания *-е* в форме род. падежа этих существительных представлено различно в зависимости от характера ударения в форме существительного, от употребления существительного в предложных или беспредложных конструкциях, от характера самих предложных конструкций. Наиболее широко это явление представлено, например, в формах, имеющих в окончании ударенный гласный (*от женé, без сестрé* и т. п.).

Значительно уже территория распространения форм род. падежа с этим окончанием у существительных, имеющих безударное окончание, у которых появление нового окончания находит выражение в смягчении согласного основы (*ис шкóли, с рабóти* и т. п.). Распространение окончания *-е* в форме род. падежа существительных жен. рода на *-а* более широко представлено в предложных конструкциях и сравнительно редко в беспредложных. Кроме того, употребление ударенного окончания *-е* в род. падеже существительных может различаться по говорам в зависимости от характера предложной конструкции, в которой выступает эта форма. В ряде говоров юго-востока форма на *-е* употребляется только в конструкциях с предлогом *у*, в западной половине говоров южной территории русского языка эта форма может выступать в сочетании с любым предлогом. Подобной дифференциации не наблюдается в употреблении формы на *-е* у существительных с безударным окончанием.

Различным является характер употребления формы на *-е* в род. падеже в зависимости от основы существительного: наиболее широко этот процесс представлен у существительных с твердой основой (*у женé, от сестрé* и т. п.) и редко его отмечают у существительных с мягкой основой (*для семé, у роднé* и т. п.). Возможно, это связано с тем, что подобных слов, широко бытующих в говорах, мало. В результате сохранения более архаичных форм с последующим совпадением двух падежных форм на основе этой архаичной могут также возникать определенные различия в области именного склонения, имеющие, однако, лексикализованный характер. Ср. известную в говорах русского языка унификацию окончания в формах им.-вин. падежей существительного *свекрý* (ср. им. пад. *свекрý*, род. пад. *свекрóви*, вин. пад. *свекрý*), основанную на действии общей тенденции к употреблению форм им.-вин. падежей существительных типа *кость*. Обобщенная лексикализованная форма может быть также новообразованием: ср. им., род., дат., вин., предл. пад. *мáтри*, тв. пад. *мáтрей*. Характер описанных процессов и территорий их распространения дает ценный материал для суждения об их возникновении и развитии в говорах русского языка.

Уподобление форм по характеру ударения внутри одной парадигмы наиболее широко представлено у существительных жен. рода с нулевой флексией и захватывает лишь отдельные слова в склонении существительных продуктивного типа. Совершенно очевидно, что подобный процесс мог осуществляться лишь в том случае, когда парадигма имела искони подвижное ударение. Известно, что первоначальные формы дат. и предл. падежей существительных жен. рода с основой на мягкий согласный, имевших подвижную акцентную парадигму, различались по характеру их

ударения: форма дат. падежа имела ударение на основе, а форма предл. падежа — на окончании (дат. пад. *кóсти*, предл. пад. *костí*). В говорах русского языка широко отмечены результаты действия тенденции к унификации ударения в этих формах, хотя и ограниченные в разных говорах условиями различного характера. Так, особенно ярко прослеживается тот факт, что в ряде говоров процесс унификации осуществляется лишь в части лексического состава существительных данного типа. Унификацию ударения по типу формы дат. падежа (*по гря́зи* — *в гря́зи*) можно считать характерной для подавляющего большинства говоров русского языка, поскольку образование форм данного типа до сих пор известно в разрозненных говорах многих территорий. Тенденция к изменению ударения в форме дат. падежа по типу формы предл. падежа характеризует преимущественно говоры юго-западной территории.

Однако в целом ряде говоров русского языка можно наблюдать действие тенденции к образованию синкретической формы дат.-предл. падежей в ее самом общем виде, т. е. в одном и том же говоре у одних существительных унификация ударения осуществляется по типу формы дат. падежа, а у других — по типу предл. падежа (см. *к пéчи*, *на пéчи*, *но по гря́зи*, *в гря́зи* и т. п.). Процесс унификации ударения в формах дат.-предл. падежей может быть обусловлен характером предложной конструкции, в которой употребляется существительное. Так, в ряде случаев можно наблюдать употребление различных форм дат. и предл. падежей при разных предлогах, ср. *в но́чи*, *но о но́чи*, *по гря́зи*, *но к гря́зи*, *к пéчи*, *но по пéчи* и под. Это явление с давних пор было свойственно также и литературному языку¹.

Аналогические процессы, связанные с ударением в формах изучаемых существительных, могли приводить и к результатам, прямо противоположным описанным. В результате этих процессов могло развиться различие по ударению форм дат.-предл. падежей у существительных того же типа склонения, имевших ранее одинаковое ударение. Так, в южной части территории северо-восточной диалектной зоны и на территории Ладого-Тихвинской группы говоров северного наречия русского языка отмечены значительные ареалы употребления форм дат. падежа с ударением на основе и форм предл. падежа с ударенным окончанием у многосложных существительных жен. рода с нулевой флексией, т. е. ареалы с различием этих форм по типу ударения (*к ло́шади* — *на лошади́*). Многосложные существительные, как известно, искони имели парадигму с постоянным ударением на основе. Лишь в определенном и сравнительно поздний период существования русского языка и на достаточно ограниченной части территории Московского княжества появилась тенденция к образованию форм предл. падежа с ударением на окончании, возникшая, как можно думать, под влиянием существительных того же типа склонения, имевших подвижный тип ударения². Таким образом, появились формы дат. и предл. падежей многосложных существительных, различающихся по типу ударения.

В парадигме существительных с окончанием *-а* в ряде случаев можно наблюдать процесс выравнивания ударения в исконно подвижной акцентной парадигме, т. е. в случаях, когда одна лишь форма в парадигме отличалась от остальных по месту ударения; она под влиянием остальных

¹ См.: А. А. Шахматов, Очерк современного русского литературного языка, в кн.: «Из трудов А. А. Шахматова по современному русскому языку», М., 1952, стр. 171—172; Л. А. Булаховский, Русский литературный язык первой половины XIX века, М., 1954, стр. 161—163; В. В. Колесов, История русского ударения, Л., 1972, стр. 78, 81, и др.

² См. также: П. Я. Черных, Язык Уложения 1649 года, М., 1953, стр. 183; Л. А. Булаховский, указ. соч., стр. 164.]

форм получает новое ударение. Так, например, в целом ряде говоров юго-западной диалектной зоны можно наблюдать формы вин. падежа с ударением на окончании у существительных, ранее имевших его на основе (см. *рукý, рекý, козу́* и т. п.).

В некоторых говорах наблюдается различный характер ударения в слове *дочь*, исконно имевшем подвижное ударение. Возможно с этим и связаны особенности ударения в парадигме данного слова, наблюдаемые в говорах. Так, в одних из них оно представлено с подвижным ударением: им. пад. *дочэря*, род.-дат.-предл. пад. *дочэри*, вин. пад. *дбчэрю*, тв. пад. *дбчэрью* или : им. пад. *дбчи*, род.-дат. пад. *дочэри*, вин. пад. *дбчэрь*, тв. пад. *дбчэрью*, предл. пад. *дбчери* и т. д. В других говорах это слогу унифицировало ударение во всех формах и имеет постоянное ударение на втором слоге: им.-вин. пад. *дочэрь*, род.-дат.-предл. пад. *дочэри*, тв. пад. *дочэрью* или: им. пад. *дочэрь*, род.-дат.-предл. пад. *дочэри*, вин. пад. *дочэрю*, тв. пад. *дочэрью* и т. д. В ряде говоров северо-востока существительные *мать* и *дочь*, а также некоторые существительные с нулевой флексией, имевшие исконно постоянное ударение на основе, развили подвижное ударение в связи с тем, что они под влиянием существительных продуктивного типа усвоили новый ударенный гласный в окончании дат.-предл. падежей, ср. им.-вин. пад. *мать*, *дочь*, род. пад. *мáтери*, *дбчери*, дат.-предл. пад. *мáтерэ*, *дочерэ*, тв. пад. *мáтерью*, *дбчэрью*, или: им.-вин. пад. *соль*, род. пад. *сбли*, дат.-предл. пад. *солэ*, тв. пад. *сблю* и под.

К наиболее ранним акцентологическим изменениям следует, по-видимому, отнести изменение ударения в слове *морковь*. В процессе своего развития это слово получает в большинстве русских говоров постоянное ударение во всей парадигме на втором слоге, т. е. унифицирует исконное ударение формы вин. падежа (ср. *морковь* — *моркови* — *морковью* и т. д.). Лишь в говорах юго-запада происходит унификация исконного ударения форм остальных косвенных падежей этого существительного, в результате чего возникла парадигма с постоянным ударением на первом слоге: *морква* — *морквы* — *моркве* и т. д.

Сугубо внутрипарадигматическими являются инновации, связанные с процессами обобщения основы существительных в различных падежных формах. При этом наблюдаются разные случаи в зависимости от степени охвата форм подобным процессом. Наиболее широко представлены в говорах случаи обобщения основы в форме им. падежа по типу форм косвенных падежей, в результате чего появилась общая основа для всех падежных форм. К наиболее ранним инновациям такого рода можно отнести обобщение основы им. падежа у существительных *свекрѳвь*, *морковь*, *цѳрковь*, *любовь*, *кровь*, а также у существительных *мать* и *дочь*, в связи с чем появились основы *свекров'-*, *морков'-*, *мáтер'-*, *дбчер'-*, *кров'-*, характерные для всей парадигмы этих существительных. В основе косвенных падежей существительных *любовь*, *цѳрковь* в большинстве русских говоров произошли фонетические изменения — редукция и утрата безударного *о*; лишь в некоторых из них можно наблюдать сохранение старой основы *цѳркови*, *любѳви* и т. д. Обобщение основы форм косвенных падежей *цѳркв-*, связанное, по-видимому, с переходом существительного в продуктивный тип склонения, вероятно, произошло сравнительно рано, поскольку в настоящее время эта основа широко известна говорам русского языка.

Известны говорам русского языка и случаи обобщения основы по форме какого-либо одного падежа. Таковы парадигмы с унифицированной основой им. падежа, имеющие узлокальное или рассеянное распространение. Мы имеем в виду парадигмы с основой *мáт'-*, *доч'-* (*мáть* — *мáти* и т. д., *дочь* — *дбчи* и т. д.), а также парадигму с основой *свекр-* (*свекрѳ* — *свекрѳи* и т. д. или *свекрá* — *свекрѳи* и т. д.). Достаточно широкое

распространение по центральной части территории южного наречия русского языка имеет парадигма с обобщенной основой тв. падежа, которую отмечают у существительного *свекрóвь* (см. *свекрóвья* — *свекрóвьи* и т. д.).

Хотя процессы изменения основы являются только внутрипарадигматическими, первоначальным толчком к образованию новых основ существительных могут в некоторых случаях послужить более общие межпарадигматические процессы. Так, в говорах юго-востока можно наблюдать явление выравнивания слогов по типу форм существительных с нулевой флексией в косвенных формах существительных *мать* и *дочь*, результатом которого явилось образование основ *матр'*- и *дочр'*-: ср. им. пад. *мать*, *дочь* — род. пад. *мáтри*, *дбчри* — дат. пад. *мáтри*, *дбчри* — вин. пад. *мать*, *дочь* — тв. пад. *мáтрей*, *дбчрей*, предл. пад. — *мáтри*, *дбчри*, как им. пад. *кость* — род. пад. *кóсти* — дат. пад. *кóсти* — вин. пад. *кость* — тв. пад. *кóстей* — предл. пад. *кóсти*.

Межпарадигматические процессы связаны, как правило, с изменением окончаний существительных одной парадигмы под влиянием существительных другой парадигмы. Процессы этого рода известны славянским языкам с древних времен. В одних случаях они касаются лишь отдельных форм, в других — приводят к изменению типа склонения существительного, т. е. могут быть связаны с изменением окончаний во всей парадигме. Общее направление подобных изменений на разных этапах существования русского языка определялось различными процессами. Так, известно, что в эпоху древнерусского языка наиболее актуальными являлись процессы взаимодействия между существительными, относившимися к разным основам.

На этапе обособления и становления русского языка как такового все большее значение приобретают процессы взаимодействия существительных продуктивного типа склонения с существительными, относящимися к непродуктивным типам. Говорам русского языка достаточно широко известны процессы образования отдельных падежных форм существительных непродуктивных классов по типу форм продуктивного типа склонения. Так, на территории северо-востока распространены формы дат. и предл. падежей с окончанием *-е* у существительных, имеющих основу на мягкий согласный и нулевое окончание, типа *пéче*, *грязе*, *пáмьате*, *ладбне* и под., а также у существительных *мать* и *дочь* (*мáтере*, *дбчере*); на территории крайнего северо-востока те же формы имеют окончание *-е* ударенное: *печé*, *грязé*, *пáмьатé*, *матерé*, *дочерé*; на территории юго-востока указанные формы с ударенным *-е* имеют существительные типа *печь*, *грязь* (*печé*, *грязé* и под.).

В основном на территории среднерусских говоров, а также на части территории вологодских говоров известны формы твор. падежа с окончанием *-ей* от существительных с основой на мягкий согласный и нулевым окончанием и от существительных *мать*, *дочь*, *свекрóвь*, также образованные по типу форм существительных на *-а*: *грязей* (*грязюй*), *пéчей* (*пéчуй*), *мáтерей*, *дбчерей*, *свекрóвеей*, *свекрóвьеёй* и т. д. Широко известен в говорах юго-востока процесс усвоения окончания *-у* в форме вин. падежа у существительных *мать*, *дочь* (*мáтерю* *дбчерю*), несколько уже этот процесс представлен у существительного *свекрóвь* (*свекрóвю*). В некоторых говорах той же территории наблюдается процесс образования формы им. падежа по образцу форм продуктивного типа склонения существительных жен. рода: *мáтеря*, *дбчеря*, и, таким образом, в части говоров этой территории выступают две формы, образованные по модели существительных на *-а*: им. пад. *мáтеря*, *дбчеря* и вин. пад. *мáтерю*, *дбчерю*. В некоторых говорах юго-востока аналогичные формы могут иметь и отдельные существитель-

ные с основой на мягкий согласный и нулевой флексией: *пéча* — *пéчу*, *нóча* — *нóчу* и др. В восточной половине южного наречия русского языка имеют распространение парадигмы существительных *мать* и *дочь* с формами вин. и твор. падежей, образованными по типу форм существительных на -а: вин. пад. *мáтерю* *дóщерю*, тв. пад. *мáтерей*, *дóщерей*. Широко представлен в говорах русского языка процесс усвоения окончания -а в форме им. падежа существительными *свекрѡвь*, *моркѡвь* (ср. образование и распространение таких форм, как *свекрѡва*, *свекрѡвья*, *моркѡва*, *мѡркѡва*, *моркѡѣ*). Существительные *свекрѡва*, *свекрѡвья*, *моркѡва*, *мѡркѡва*, *моркѡѣ* чаще склоняются как существительные на -а (*свекрѡва* — *свекрѡвы* — *свекрѡве* и т. д.), т. е. полностью переходят в продуктивный тип склонения. Однако есть случаи, когда, видимо, могут образоваться парадигмы смешанного типа: например, в части западных говоров можно наблюдать при формах им.пад. *свекрѡва* и вин. пад. *свекрѡву* форму род.пад. *свекрѡви*. Таким образом, процессы межпарадигматического взаимодействия вызывают наиболее сложные сдвиги в структурах парадигм существительных, ведущие или уже приведшие к изменению типа склонения различных существительных.

В говорах русского языка можно наблюдать и наложение различных процессов друг на друга (выше случаи этого рода мы обозначили как синтетические процессы). Так, могут быть выделены случаи сочетания разноплановых внутрипарадигматических процессов (назовем их синтетическими процессами первого уровня). К ним можно отнести сочетающиеся друг с другом обобщение основы и унификацию ударения внутри одной и той же парадигмы. Ср. подобное явление в парадигме существительного *моркѡвь* (*моркѡвь* — *моркѡви* и т. д.). В других случаях можно видеть совмещение процессов внутрипарадигматических и межпарадигматических (назовем их синтетическими процессами второго уровня). При этом могут выступать разные комбинации названных процессов. Образование одних форм связано с обобщением основы внутри парадигмы и усвоением окончаний парадигмы продуктивного типа склонения: ср., например, образование форм в парадигмах *моркѡва*, *моркѡвы* и т. д., *свекрѡва*, *свекрѡвы* и т. д., или форм им. пад. *мáтеря*, *дóщеря*, *свекрѡвья*, или форм *свекрѡ* — *свекрѡи* — *свекрѡу* и т. д. и т. п. Другие формы связаны в своем возникновении с унификацией внутрипарадигматического ударения и усвоением нового окончания существительных на -а (ср., например, развитие форм типа *по грязѣ*, *к печѣ* и под.). Синтетические процессы могут включать также наложение внутрипарадигматических процессов, связанных с обобщением основы и унификацией ударения, при одновременном усвоении окончаний продуктивного типа склонения (ср. образование парадигмы у существительного *цѣркава*: *цѣркава* — *цѣркѡвы* и т. д.).

Таким образом, все изменения, наблюдаемые в настоящее время в склонении существительных, связаны с достаточно сложными и нередко взаимосвязанными и взаимообусловленными процессами: «... различные морфологические процессы, — писал П. С. Кузнецов, — представляют собой сложную систему, элементы которой находятся в сложном переплетении и взаимодействии»³.

Процессы, аналогичные описанным, могли быть различными по времени и характеру их развития. Для изучаемого нами периода самостоятельного существования восточнославянских языков наиболее характерны процессы взаимодействия различных типов склонения существительных жен. рода в говорах русского языка, характеризующиеся в целом

³ В. И. Борковски й, П. С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка, М., 1963, стр. 166.

влиянием существительных продуктивного типа склонения на существительные непродуктивного типа. И хотя эти процессы имеют различные хронологические рамки действия, в их основе лежит одна и та же тенденция — тенденция к объединению этих существительных в одно общее склонение, тенденция к унификации их падежных форм. Наиболее ранние процессы привели к унификации окончаний и основы в системе отдельных парадигм (ср. *свекрѡвь*, *мать* — *мáтери* и др.); на более позднем этапе унификация падежных форм существительных жен. рода разных типов склонения проявляется уже и в стремлении к акцентной унификации отдельных форм внутри одной парадигмы, а также форм, ранее принадлежавших разным парадигмам. К подобным изменениям относится упоминавшаяся выше унификация ударения форм дат.-предл. падежей существительных типа *грязь* (типа *грязи́* или типа *грязи*); а также образование форм дат.-предл. падежей в говорах северо-востока и юго-востока типа *грязѣ* по типу форм *женѣ*, *землѣ*, также имеющих новое ударение уже наряду с изменением гласного в окончании.

Достаточно широко представлено на современном этапе развития русских говоров стремление к обобщению основы в различных формах существительных одной парадигмы. Ср., например, распространение в части западных и северных говоров форм с основой *доч'-*, реже *мат'-* (*дѡчи*, *дѡчей* и т. д.) или наличие в говорах опоясывающей территории форм с основой *мáтер'-*, *дѡчер'-* (*мáтерь* или *мáтерья* — *мáтери* и т. д.) и т. д. и т. п. В более общем виде действие этой тенденции можно видеть и в наличии своеобразного употребления основ *матр'-*, *дочр'-*.

Необходимо заметить, что тенденция к унификации гласных в окончании остается постоянной и в достаточной мере действенной на протяжении всего периода развития говоров русского языка. Так, к сравнительно поздним новообразованиям, связанным с влиянием существительных на *-а*, можно отнести случаи оформления им. падежа типа *кáзня*, *пѣча* и т. п. или возникновение форм типа *в грязѣ*, *в грязе*, *грязей*, *мáтерей*, *свекрѡвья*, *свекрѡва* и т. д.

Таким образом, можно сказать, что склонение существительных жен. рода с нулевой флексией уже к настоящему времени в целом ряде говоров оказалось достаточно сильно поколебленным в результате влияния продуктивного типа склонения, хотя процесс его разрушения в этих говорах и оказывается заторможенным благодаря влиянию нормированного языка. Неустойчивость данного типа склонения была усилена также и тем, что в говорах развивались различные изменения в категории рода этих существительных. С одной стороны, некоторые существительные жен. рода с нулевой флексией изменили род, а в связи с этим и тип склонения (они перешли в склонение существительных муж. рода). Ср. употребление в муж. роде таких существительных, как *молодѣжь*, *лѡшадь*, *скáтерть*, *мышь*, *дверь* и др. С другой стороны, в этот тип склонения перешли существительные муж. рода (ср. употребление в жен. роде существительных *путь*, *зверь* и др.). По-видимому, указанные изменения начались в период утраты склонения *i*-основ муж. рода, с которой они по сути и связаны. Возможно, что в настоящее время этот процесс поддерживается и тем, что основной, определяющей тип склонения существительного становится исходная форма им. падежа. Наиболее противопоставленными являются исходные формы с наличием разных окончаний, например, с окончанием *-а* и *-о*. Если читатель (или слушатель) видит (или слышит) форму на *-а* (*женá* и т. п.), то мысленно он уже может построить парадигму с набором соответствующих окончаний (*-ы*, *-е*, *-у*, *-ой*, *-е*), а если исходная форма оканчивается на *-о*, то известно, что ей соответствует парадигма уже других окончаний (*-а*, *-у*, *-о*, *-ом*, *-е*). Таким образом, наименее вырази-

тельной оказывается исходная форма с нулевой флексией, которой могут соответствовать различные парадигмы окончаний: в одних случаях -Ø, -а, -у, -а, -ом, -е (конь, коня и т. д.), в других — -Ø, -и, -и, -Ø, -ью, -и (кость, кости и т. д.). Видимо, в определенных говорах действовала тенденция к избавлению от многозначности исходной формы с нулевой флексией. Возможно, что в этих говорах намечается тенденция к противопоставлению исходных форм на -а, -о, -Ø, закрепляющихся соответственно за жен., ср. и муж. родом существительных. Однако необходимо отметить также, что в известной части говоров наблюдается определенная устойчивость исходной формы. Имеются в виду те случаи, когда эта форма осталась неизменной при формах косвенных падежей, переживших инновации. Ср., например, наличие ископной формы им. падежа *мать* при общей форме *мáтри* в остальных падежах, или наличие формы *мать* при формах остальных падежей, усвоивших окончания существительных продуктивного типа склонения (ср. им. пад. *мать*, род. пад. *мáтри*, дат.-предл. пад. *мáтре*, вин. пад. *мáтрю*, тв. пад. *мáтрей*), или, что наиболее показательно, наличие старых форм *мáти*, *дóчи* в парадигме, изменившей все остальные формы по типу существительных на -а (ср. им. пад. *мáти*, род. пад. *мáтери*, дат.-предл. пад. *мáтере*, вин. пад. *мáтерю*, тв. пад. *мáтерей*, им. пад. *дóчи*, род.-дат.-предл. пад. *дóчере*, вин. пад. *дóчерю*, тв. пад. *дóчерей*) и др.

Таким образом, в основе рассмотренных аналогических процессов можно видеть три основные тенденции, характеризовавшие говоры русского языка на разных стадиях их развития. В период существования древнерусского языка, как известно, актуальной была тенденция взаимодействия разных основ склонения, приведшая к объединению форм твердой и мягкой разновидности склонения основ на *-а и к унодoblению в целом ряде говоров русского языка форм основ на согласный и основ на *-и формам основы на *-i. Эти процессы были свойственны всем говорам русского языка. На этапе раздельного существования восточнославянских языков развивается новая тенденция, связанная с унификацией форм внутри отдельных парадигм, т. е. с развитием синкретизма форм (ср. образование форм род.-дат.-предл. падежей типа *женé* или *жены́*, типа *кóсти*, *кóсти* и др.). Наконец, в более позднее время получает достаточно интенсивное развитие тенденция к объединению существительных жен. рода в единое склонение по грамматическому роду по типу существительных на -а (ср. образование форм дат.-предл. падежей типа *грязé*, *пáмьате*, *грязé*, форм тв. падежа *грязéй*, *мáтерей*, *мáтерей*, *грязéй*, реже форм типа *пáча*, *лбшадя*, *пéчу*, *грязю* и др.). Наибольшее воплощение эта тенденция получила на территории говоров юго-востока.

Известно, что процесс объединения различных основ склонения, начавшийся еще в дописьменный период и наиболее энергично протекавший в более позднее время, был известен и другим славянским языкам. ср., например, объединение в одном склонении существительных типа *tykew*, *mati* и *kost* (*kost'*) в чешских, словацких и польских говорах, переход существительных на *-ü в склонение основ на *-а (*mrkwa*, *mrkwy* и т. д.) в части словацких говоров и др. Процессы, связанные с унификацией форм внутри парадигм, а также и с объединением существительных жен. рода в один тип склонения, являются инновациями, характерными только для говоров русского языка и лишь отчасти для говоров восточнославянских языков.

Как следствие всех рассмотренных выше процессов в говорах развились новые типы парадигм существительных жен. рода. Развитие одних парадигм определяется тем, что они приобретают смешанный характер или полностью изменяют свой вид и унодoblяются парадигме существи-

тельных жен. рода продуктивного типа склонения. В подобных парадигмах сочетаются исконные формы непродуктивных типов склонения с новыми формами, усвоившими новый гласный в окончании по типу форм существительных на *-а*, или выступают новые формы с окончаниями продуктивного типа: ср., например: им.-вин. пад. *грязь*, род. пад. *грязи*, дат.-предл. пад. *грязе* или *грязѣ*, тв. пад. *грязью*, или им.-вин. пад. *грязь*, род. пад. *грязи*, дат.-предл. пад. *грязѣ*, тв. пад. *грязей*, или им.-вин. пад. *мать*, род. пад. *матери*, дат.-предл. пад. *матере*, тв. пад. *матерей*, или им. пад. *мать*, род.-дат.-предл. пад. *матери*, вин. пад. *матерю*, тв. пад. *матерей* и т. д., или им. пад. *дочь*, род. пад. *дочи*, дат.-предл. пад. *доче*, вин. пад. *дочу*, тв. пад. *дочей* и др. Таким образом, в современных говорах существуют три типа парадигм по характеру форм, представленных в них: 1) парадигмы с исконными формами; 2) парадигмы, содержащие старые и новые формы (т. е. парадигмы смешанного типа); 3) парадигмы, развившие новые формы. Два последних типа парадигм наблюдаются только у существительных непродуктивного типа склонения. Их появление связано с влиянием существительных на *-а*.

Развитие других парадигм связано с сокращением количества падежных форм вследствие образования синкретических форм. Это явление характерно для всех парадигм существительных жен. рода. Определенные предпосылки к этому были заложены уже в системе склонения древнерусского языка, где, например, полностью совпадали формы дат. и предл. падежей существительных с основой на **-а* (*к женѣ*, *о женѣ* и под.), формы род., дат. и предл. падежей существительных с основой на **-i*, имевших постоянное ударение на основе (*сбли*, *пѣмѣти* и под.), формы род. и предл. падежей в склонении существительных с основой на **-i* и на согласный. Возможно, это послужило основанием, на котором в дальнейшем развилась тенденция к образованию общей формы род., дат. и предл. падежей в различных парадигмах существительных жен. рода. В настоящее время в большинстве русских говоров представлены парадигмы существительных жен. рода, состоящие не из шести, а из меньшего количества грамматических форм: из четырех — у существительных жен. рода на *-а*:

И.	<i>женá</i>	<i>земля</i>
Р.-Д.-П.	<i>женѣ (женѣ)</i>	<i>землѣ (землѣ)</i>
В.	<i>женѣу</i>	<i>землѣу</i>
Т.	<i>женѣй</i>	<i>землѣй</i>

и из трех у остальных существительных:

И.-В.	<i>грязь</i>	<i>соль</i>	<i>мать</i>	<i>дочь</i>	<i>свекрѣвь</i>	<i>кровь</i>
Р.-Д.-П.	<i>грязи</i>	<i>сбли</i>	<i>матери</i>	<i>дѣчери</i>	<i>свекрѣви</i>	<i>крѣви</i>
	(<i>грязѣй</i> , <i>грязѣ</i> , <i>грязѣ</i>)	(редко <i>сбле</i>)	(<i>матере</i> , <i>метере</i>)	(<i>дѣчере</i> , <i>дочере</i>)	(редко <i>свекрѣве</i>)	(<i>крѣви</i> , <i>крѣве</i> , <i>крѣсе</i>)
Т.	<i>грязью</i>	<i>сблью</i>	<i>матерю</i>	<i>дѣчерю</i>	<i>свекрѣвью</i>	<i>крѣвью</i>
	(<i>грязей</i> , <i>грязѣй</i>)	(<i>сблеи</i> , <i>сбльеи</i>)	(<i>матерей</i> , <i>матерѣи</i>)	(<i>дѣчрей</i> , <i>дѣчерѣи</i>)	(<i>свекрѣвей</i> , <i>свекрѣвѣи</i>)	(<i>крѣвей</i> , <i>крѣвѣи</i>)

Таким образом, процессы аналогического характера, происходившие в склонении существительных жен. рода, привели в итоге к определенному упрощению и сокращению количества грамматических форм существительных. В основе этого процесса лежит тенденция к утрате семантического значения этих форм, начавшаяся еще в системе древнерусского языка и получившая свое дальнейшее развитие в русских говорах. В процессе образования синкретических форм семантическая нагрузка полностью переносится на предлоги и другие синтаксические конструкции.

Изменения в группировке типов склонения существительных жен. рода могли быть вызваны и некоторыми более общими процессами, находящими

мися за пределами внутрипарадигматических или межпарадигматических отношений, а также процессом взаимодействия говоров русского языка. Известно, что на разных этапах существования русского языка по тем или иным причинам происходили различные сдвиги в системе словообразования существительных жен. рода, приводившие к изменению основы этих существительных и, таким образом, изменявшие их парадигму. Так, с развитием эмоционально-окрашенного значения суффикса *-к-* в языке появилась словообразовательная модель существительных жен. рода, основанная на соотношении: нейтральное слово — слово эмоционально окрашенное (*голова́* — *голова́к* и под.). В связи с этим в ряде говоров выходят из употребления формы с основой *морко́вк-*, *свекрóвк-*, в которых суффикс *-к-*, развившись в свое время из уменьшительного, имел нейтральное значение. Эти формы начинают заменяться формами с новой основой без суффикса *-к-*: *свекрóв-*, *морко́в-*, которая уже соответствует основе с нейтральным значением во вновь развившейся словообразовательной модели.

В некоторых случаях существительные жен. рода изменяют основу в связи с процессом включения их в определенные лексико-семантические словообразовательные модели. Так, образование формы *морко́шка* связано, по-видимому, с аналогичным по типу образования названием также сельскохозяйственной культуры *карто́шка*. Процесс унификации названий в данном случае одного рода сельскохозяйственных культур является актуальным в настоящее время для говоров разных территорий (ср. образование формы *карто́вь* по типу *морко́вь*, также известное многим русским говорам). Возникновение новых лексико-семантических и словообразовательных ассоциаций в некоторых случаях приводило к тому, что существительные, искони принадлежавшие к одному и тому же типу склонения, утрачивали грамматическую связь друг с другом и получали в говорах самостоятельное и своеобразное развитие. В качестве примера можно привести развитие парадигмы склонения и формообразования у существительных типа *свекрóвь*, *морко́вь*, *це́рковь*.

Таким образом, обзор диалектного материала показывает, что на протяжении периода формирования русского национального языка склонение существительных жен. рода приобретало по говорам существенные отличия по сравнению с литературным языком. Эти отличия формировались на основе разноместных процессов-инноваций, характерных для отдельных диалектных объединений. Наиболее интенсивно они развивались в период, предшествующий резко выраженному влиянию нормированного языка. Однако результаты соответствующих инноваций до сих пор достаточно устойчиво сохраняются в повседневной речевой практике носителей диалектов. Наряду с этим в говорах более наглядно прослеживаются связи изучаемых типов склонения и направления в их трансформации с исконными типами склонения. Так, с одной стороны, в ряде случаев можно наблюдать употребление древних форм, характерных для того или иного исконного типа склонения (ср. например, наличие в соответствующих парадигмах форм им. пад. *свекрóй*, род. пад. *ма́тере*, *до́чере*). С другой стороны, различные инновации, наблюдаемые в границах склонений, соответствующих также древним основам, протекали в говорах в ряде случаев иначе, чем в литературном языке. Ср., например, своеобразную и совершенно самостоятельную судьбу склонения существительных *свекрóвь*, *морко́вь*, *це́рковь* и под., которые полностью объединились с исконным склонением на **-i* в литературном языке, особые инновации у существительных *ма́ть* и *до́чь* и др.

Диалектные особенности, наблюдаемые в склонении существительных жен. рода, дают исключительно важный материал для истории склонения существительных русского языка, взятого во всем многообразии его гово-

ров на протяжении всего периода его существования от древнейшего времени до настоящего. Такая история не могла быть написана до тех пор, пока не были собраны и картографированы необходимые диалектные данные. Сведения о структурных разновидностях парадигм именного склонения окажутся весьма актуальными при разработке исторической морфологии русского языка, охватывающей как литературный язык, так и диалекты. Создание исторической морфологии должно строиться, по-видимому, применительно к отдельным фрагментам морфологической структуры, так как требует обобщения огромных по своему объему собранных к настоящему времени диалектных данных и их синтеза с выводами, сделанными на основе изучения памятников письменности. Подобные сведения оказались весьма важными также при разработке диалектного членения русского языка⁴. Структурные разновидности парадигм существительных жен. рода вошли в языковые комплексы, характеризующие большие диалектные объединения русского языка, или составили характерную черту более мелких диалектных подразделений. Так, разновидности склонения существительных жен. рода, наряду с другими чертами, послужили основой для выделения говоров центральной территории и периферийных говоров. Например, для центральных говоров характерны словоформы *мать*, *дочь*, *свекрѡвь*, *моркѡвь* в исключительном употреблении, наличие различающихся форм дат. и предл. падежей типа *грязи* и типа *грязѣ* и др. Говорам периферийной территории свойственны соответственно в совокупности новообразования с корнем *свекр-* в значении «свекровь», с корнем *моркѡв-* (*мѡркѡв-*) в значении «морковь», различные инновации с корнем *мат'-*, *матѣр'-*, *дѡч'-*, *дѡчер'-*, общие формы дат.-предл. падежей типа *грязѣ* или *грязѣи* и др. В характеристику диалектных зон входят такие, например, черты, как распространение существительного *свекрѡвка* — северная диалектная зона, употребление общей формы род.-дат.-предл. падежей *женѣ*, *землѣ* — северо-западная зона, употребление форм типа *сѡле*, *грязѣ*, *пѡмяте*, *мѡтере*, *дѡчѣре* — северо-восточная диалектная зона, употребление форм типа *рукѣ*, *ногѣ* — юго-западная диалектная зона и др. В числе других черт, противопоставляющих северное и южное наречия русского языка, можно указать, например, употребление форм род.-дат.-предл. падежей типа *женѣ* — южное наречие, и употребление в этом случае различающихся форм род. пад. *женѣ* и дат.-предл. пад. *женѣ* — северное наречие. Многие особенности склонения изучаемых существительных могут составить основу для выделения диалектных групп. Например: употребление существительного *свекрѡвѣшка* (Ладого-Тихвинская группа), употребление форм дат.-предл. падежей типа *грязѣ* (Вологодская группа), наличие существительного *цѣрковѣ* в исключительном употреблении (Костромская группа), употребление старых форм им.-род.-вин. падежей *свекрѣ* — *свекрѡвѣ* — *свекрѡвь* (Рязанская группа) и мн. др.

В совокупности с данными о распространении других диалектных явлений материалы по именному склонению, изученные методами лингвистической географии, уже использовались и будут использоваться в дальнейшем при разработке исторической диалектологии русского языка.

⁴ См.: К. Ф. Захарова, В. Г. Орлова, Диалектное членение русского языка, М., 1970.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

Д. КАРАМШОЕВ

НОВОЕ В ПАМИРСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

Памирские языки, входящие в восточноиранскую группу индоевропейской семьи языков, объединяют ряд бесписьменных языков, бытующих в основном на территории Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикской ССР, а также Афганского Бадахшана, Китая, Пакистана и Индии. К памирским языкам относятся ваханский, ишкашимский, мунджанский, язгулямский и ряд языков шугнано-рупанской группы. Последняя в свою очередь включает собственно шугнанский и его баджувский и шахдаринский говоры, рушанский с его хуфским говором, бартангский, рошорвский (орошорский) и сарыкольский языки.

Основа научного изучения памирских языков была заложена во второй половине XIX в. за рубежом английским ориенталистом Р. Шоу, а в России академиком К. Г. Залеманом.

Развитие памирского языкознания с начала XX в. в нашей стране тесно связано с именем проф. И. И. Зарубина, его учеников и последователей в Москве, Ленинграде и Душанбе.

История изучения памирских языков и диалектов подробно освещена в появившихся в начале 60-х годов работах советских иранистов и памироведов В. С. Соколовой, А. Л. Грюнберга, В. С. Расторгуевой, Д. И. Эдельман¹.

Работы по языкам и диалектам иранской группы, в том числе и памирской, изданные в 1960—1970 гг., получили всесторонний анализ в статье И. М. Оранского². Отмечая существенные успехи в изучении иранских языков и диалектов, автор вместе с тем высказал ряд весьма ценных критических замечаний, касающихся принципов диалектологического описания в иранском языкознании, и определил основные задачи ученых-диалектологов. Многие аспекты лингвистического изучения памирских языков нашли отражение также в большинстве изданных монографических исследований.

Цель данного обзора — в общих чертах проанализировать изданные за последние годы памироведческие работы и в этой связи более подробно

¹ В. С. Соколова, А. Л. Грюнберг, История изучения бесписьменных иранских языков, «Очерки по истории изучения иранских языков», М., 1962; В. С. Расторгуева, Иранские языки, в кн.: «Советское языкознание за 50 лет», М., 1967; Д. И. Эдельман, Современное состояние изучения памирских языков, ВЯ, 1964, 1; о е же, К современному состоянию изучения памирских языков, «Изв. отд. обществ. наук АН ТаджССР», 1964, 1 (36).

² И. М. Оранский, Из заметок о новых советских работах по иранской диалектологии, «Народы Азии и Африки», 1974, 1.

рассказать о развитии памирской филологии за минувшие пять-шесть лет³.

Исследование памирских языков вплоть до 1960 г., ввиду отсутствия официального центра памироведения, в известном смысле слова носило стихийный характер. Отсутствие такого центра исключало возможность планомерного развития науки о памирских языках и создало своего рода неравномерность в изучении одних языков и диалектов по сравнению с другими. В результате некоторые языки оказались более изученными, другие менее, а третьи вовсе оставались неизученными.

Учитывая, с одной стороны, большое научное значение Памира как уникального и живого лингвистического музея (общепризнано, что памирские таджики и их многочисленные языки и диалекты в силу своей вековой изолированности и обособленности сохранили многие архаичные черты и поэтому языковые, фольклорные и этнографические данные представляют большой научный интерес не только для иранистики, но также и для индоевропеистики, а в ряде случаев могут пролить свет на решение сложных и спорных вопросов исторического и этногенетического характера) и стремительное изменение бытующих бесписьменных языков, фольклора и вообще старого быта при современном развитии общества, с другой стороны, Президиум АН ТаджССР в 1967 г. организовал при Институте языка и литературы им. А. Рудаки специальный сектор памирских языков, преобразованный в 1974 г. в Отдел памироведения.

Сам факт создания Отдела памироведения, единственного в мировом востоковедении официального научного центра по изучению духовных богатств памирских народов, свидетельствует о зрелости советской науки, о рождении и развитии новых научных отраслей в республике, о приближении науки к ее непосредственному источнику. (С целью дальнейшего изучения естественных богатств Памира в 1969 г. в самом г. Хороге на базе ботанического сада был создан при АН ТаджССР памирский биологический институт.)

Вместе с тем «приход в науку целого отряда специалистов, для которых эти (памирские. — Д. К.) языки являются родными..., безусловно знаменует собою новый и весьма многообещающий этап в развитии этой отрасли иранистики»⁴.

Перед сектором (ныне Отделом) стояли различные по характеру, объему и тематике научные и научно-организационные задачи, а именно: продолжение и завершение монографического исследования малоизученных и вовсе не изученных до того времени языков и диалектов; постоянный сбор языковых и фольклорных материалов и создание научной базы для дальнейшего синхронного и диахронного изучения языков, диалектов и фольклора памирских народов; составление словарей по отдельным языкам, а затем группам языков; налаживание научной координации с иранистами-памироведами в других городах нашей страны.

Одной из первых и основных задач Отдела памироведения стала подготовка высококвалифицированных научных кадров непосредственно из числа местной интеллигенции советского Памира (Бадахшана).

За короткий срок (менее десяти лет) памирская филология получила интенсивное развитие и обогатилась рядом важных научных работ по различным вопросам памирского языкознания и фольклористики.

Еще в 60-х годах было начато монографическое изучение на уровне системы языков и диалектов и осуществлено более или менее детальное

³ См. также: Д. Карамшоев, Сектор памирских языков Института языка и литературы АН Таджикской ССР и перспективы его работы, ВЯ, 1970, 6; е г о ж е, Олимои советӣ дар бораи Помир, Душанбе, 1975.

⁴ И. М. Оранский, указ. соч., стр. 176.

описание системы трех языковых разновидностей с последующей публикацией трех монографий соответственно по баджувскому диалекту шугнанского языка, рушанскому языку и бартангскому⁵.

В девятой пятилетке полностью завершилось монографическое исследование языков и диалектов шугнано-рушанской группы и итогом явилось синхронное описание фонетической и грамматической систем последних трех малоизученных языков указанной группы: рошорвского (или орошорского)⁶, собственно шугнанского⁷ и хуфского⁸.

Особой оценки заслуживает монография Х. Курбанова, посвященная рошорвскому языку⁹. Рошорвский язык (ранее более известный под названием орошорский) оставался наименее изученным среди языков и диалектов шугнано-рушанской группы.

Монография, восполняющая этот важный пробел, написана на основе обширного материала, собранного автором в труднодоступной долине Рошорв (к работе приложены 1042 разговорные фразы, пять повествовательных текстов с русским переводом). Описание гласных фонем рошорвского языка осуществлено на основе экспериментального фонетического анализа, выявившего четкое противопоставление гласных по долготе и краткости. Монография «Рошорвский язык» Х. Курбанова, несомненно, является надежным источником как в плане точной записи и фиксации живого языкового материала, так и в смысле научной интерпретации языковых фактов.

Большим достижением Отдела памироведения за минувшие годы является составление и подготовка к изданию большого «Шугнанско-русского словаря»¹⁰, который представляет собой первый опыт подробной лексикографической интерпретации и научной фиксации лексики трех языковых разновидностей — собственно шугнанского и близких ему диалектов баджувского и шахдаринского с детальной разработкой словупотребления, семантической структуры лексических единиц и выделением фразеологи-

⁵ Д. Карамшоев, Баджувский диалект¹ шугнанского языка, Душанбе, 1963; М. Файзов, Язык рушанцев советского Памира, Душанбе, 1966; Н. Карамхудоев, Бартангский язык (фонетика и морфология), Душанбе, 1973.

⁶ По рошорвскому языку Х. Курбановым в 1972 г. была защищена кандидатская диссертация и опубликован ряд статей. См.: Х. Курбанов, Система орошорского вокализма (предварительное сообщение), сб. «Памирские языки и фольклор», I, Душанбе, 1972; е го же, Личные глагольные формы в орошорском языке, там же; е го же, Особенности приглагольных отрицательных частиц в орошорском языке, там же; е го же, Причастия в рошорвском языке, сб. «Синхронно-типологические и историко-типологические исследования (на материале языковых систем)», М., 1972; е го же, Язык рошорвцев (к характеристике шугнано-рушанской группы памирских языков). АҚД, М., 1972.

⁷ По грамматике шугнанского языка Т. Бахтибековым в 1974 г. была защищена кандидатская диссертация и опубликованы отдельные статьи; см., в частности: Т. Бахтибеков, «Андар» — и тоҷикӣ ва «андӣр» — и шугноӣ, сб. «Памирские языки и фольклор», I; е го же, Системаи ҷонишинҳои шахсии забони шугноӣ, «Изв. АН ТаджССР», Отд. обществ. наук, 1 (75), 1974; е го же, Грамматика шугнанского языка. АҚД, М., 1974; е го же, Воситаҳои ифодаи ҷумлаи саволи дар забони шугноӣ, сб. «Памироведение (Вопросы филологии)», Душанбе, 1975.

⁸ Хуфский диалект стал объектом исследования хуфки — младшего научного сотрудника отдела памироведения С. Мирзоуддиновой. Отдельные части исследования уже опубликованы, см.: С. Мирзоуддинова, Доир ба омӯзиши шеваи Хуф, сб. «Армуғон», II, Душанбе, 1971; е е же, Хусусиятҳои фонетикӣи шеваи Хуфи забони рӯшонӣ, сб. «Памирские языки и фольклор», I; е е же. Доир ба пешояндҳои шеваи Хуф, сб. «Памироведение (Вопросы филологии)»; е е же, Муносибати лексикӣи шеваи Хуф ва забони рӯшонӣ, там же.

⁹ Х. Курбанов, Рошорвский язык, Душанбе, 1976.

¹⁰ Составитель Д. Карамшоев, научный редактор С. В. Хушенова, ответственный редактор А. Л. Грюнберг. Рукопись Словаря еще в 1971 и 1972 гг. широко обсуждалась иранистами Душанбе, Москвы и Ленинграда и в настоящее время находится в печати (Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука»).

ческого пласта. Словарь содержит более 25 тыс. слов и словосочетаний. Общий объем словаря 100 авт. листов. Словарь снабжен обратным русским указателем, который во многом облегчит пользование словарем.

Впервые в истории памироведения стали разрабатываться проблемы фразеологии шугнанского и рушанского языков. Анализ фразеологии шугнанского языка осуществлен С. В. Хушеновой на основе рукописи выпущенного «Шугнанско-русского словаря»¹¹.

Рушанская фразеология была плановой темой А. Каримовой. Данное исследование базируется на анализе собранных и систематизированных автором рушанских фразеологизмов с привлечением данных других языков и диалектов шугнано-рушанской группы. О предварительных результатах исследования сообщено в печати¹².

Завершение синхронного описания грамматической системы языков и диалектов шугнано-рушанской группы и введение в научный обиход новых материалов по неизученным или малоизученным языкам создали предпосылки для более углубленного исследования отдельных вопросов грамматики в сравнительном аспекте. Так, в Отделе начата разработка темы «Категория грамматического рода в памирских языках», которая в силу своей малоизученности относится к весьма спорной и не решенной до сих пор проблеме пранистики¹³.

Другим направлением стало изучение отдельных вопросов морфологии и синтаксиса того или иного языка. Глагольная система ваханского языка разрабатывается аспирантом ваханцем Б. Лашкарбековым, синтаксис простого предложения язгулямского языка — язгулямцем И. Рахимовым¹⁴.

В течение последних лет коллективом Отдела подготовлены и изданы два сборника и «Инструкция по сбору материалов памирских языков и фольклора». Коллективные сборники имеют большое значение для своевременной постановки и научной разработки неизученных и малоизученных проблем памирской филологии и вместе с тем способствуют повышению научно-теоретического уровня и усовершенствованию исследовательской методики молодых специалистов. В первый сборник (под ред. Д. Карамшоева и С. В. Хушеновой) вошли статьи по двум отраслям памирской

¹¹ См.: С. В. Хушенова, О структурных типах фразеологических единиц шугнанского языка, сб. «Памирские языки и фольклор», I; е е же, К вопросу о разграничении слова и фразеологизма в памирских языках (на материале шугнанского языка), «Труды Самаркандского гос. ун-та им. Навои», Новая серия, 219, Вопросы фразеологии, V, ч. 2, 1972; е е же, Проблемы изучения памирской фразеологии (из наблюдения над шугнанским языком), сб. «Памироведение (Вопросы филологии)»; см. также: Т. Бахтибеков, Образцы фразеологизмов шугнанского языка, сб. «Памирские языки и фольклор», I.

¹² См.: А. Каримова, Намунаҳои фразеологизмҳои соматикӣ забони рӯшонӣ, «Памирские языки и фольклор», I; е е же, К вопросу о семантике рушанских фразеологизмов, «Тезисы докладов республиканской конференции молодых ученых и специалистов ТаджССР», Душанбе, 1974; е е же, Метафорические фразеологизмы рушанского языка, «Памироведение (Вопросы филологии)»; е е же, Дар бораи семантикаи фразеологизмҳои забони рӯшонӣ, там же.

¹³ Некоторые предварительные результаты отражены в следующих статьях: Д. Карамшоев, Грамматический род абстрактных имен в шугнано-рушанской группе, сб. «Памирские языки и фольклор», I; е г о же, Выражение категории рода имени с помощью перегласовки в языках шугнанской группы, сб. «Памироведение (Вопросы филологии)»; е г о же, О влиянии иноязычной среды на категорию рода в памирских языках, «Советские языковеды: вопросы филологии и истории языка. Тезисы докладов и сообщений», М., 1975.

¹⁴ См. их публикации: Б. Лашкарбеков, Огласовка основы презенса ваханского языка, сб. «Памироведение (Вопросы филологии)»; И. Рахимов, Мувофиқати саръазҳои чумла дар забони язгуломӣ, там же; е г о же, Ҳоли миқдору дараҷа дар забони язгуломӣ, там же.

филологии — языкознанию и фольклористике¹⁵. Второй сборник, посвященный 50-летию образования Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР, охватывает 16 статей и сообщений (как на русском, так и на таджикском языках) по малоизученным вопросам памирской филологии — языкознанию, фольклористике и литературоведению¹⁶.

«Инструкция по сбору материалов памирских языков и фольклора»¹⁷ предназначена для разноязычного населения советского Памира с целью привлечения грамотной части населения для сбора языковых и фольклорных данных края. «Инструкция» содержит краткую характеристику фонетических особенностей и отличительных черт каждого языка (диалекта) памирской группы и методические советы по сбору языковых, фольклорных, этнографических и прочих материалов с приложением различных образцов на местном языке с переводом на таджикский.

В обзорный период была заложена основа для комплексного изучения всех вопросов памирской филологии — языков и диалектов, фольклорных жанров и литературного наследия. С этой целью сектор был укомплектован специальной группой фольклористов, возглавляемой старшим научным сотрудником Н. Шакармамадовым.

Важным научным достижением в области памирской фольклористики является создание научного фонда фольклорных произведений по типологическому принципу и выход в свет монографии Н. Шакармамадова, посвященной исследованию народной поэзии разноязычного Бадахшана¹⁸.

Другая группа, возглавляемая старшим научным сотрудником литературоведом А. Хабибовым, занята изучением вопросов таджикоязычного литературного наследия народов Бадахшана. За последние годы вышли две монографии А. Хабибова по истории литературы Бадахшана¹⁹.

Уникальная по своей древности памирская топонимия долгое время оставалась одним из отстающих участков памироведения. Поэтому значительным событием следует считать появление труда известного памироведа республики Р. Х. Додыхудоева, посвященного топонимике Памира²⁰.

Планомерно идет подготовка молодых специалистов-памироведов как через аспирантуру, так и через стажерство. В этом важном деле большую помощь оказывали и продолжают оказывать ведущие иранисты нашей страны в Москве (В. С. Расторгуева, В. И. Абаев, Т. Н. Пахалина, Д. И. Эдельман и др.) и в Ленинграде (В. С. Соколова, М. Н. Боголюбов, А. Н. Болдырев, А. Л. Грюнберг, В. А. Лившиц, И. М. Стеблин-Каменский и др.). Некоторые из названных ученых активно участвуют в рецензировании и редактировании работ по памирской филологии и оказывают помощь в уточнении дальнейшей научной тематики Отдела памироведения. Особо следует упомянуть о том большом вкладе, который внесли в область памирской филологии иранисты-памироведы Москвы и Ленинграда за последние годы.

¹⁵ «Памирские языки и фольклор», I (статьи на таджикском и русском языках). См. рецензии на этот сборник: А. Л. Грюнберг, И. М. Стеблин-Каменский, Интересный сборник, газ. «Коммунист Таджикистана», 1972, 13 апреля; Bogdan Składanek, «Polskie towarzystwo orientalistyczne. Przegląd orientalistyczny», 2 (90), Warszawa, 1974.

¹⁶ «Памироведение (Вопросы филологии)». В конце сборника (стр. 152—174) помещена библиография, составленная Т. Бахтибековым (по языкознанию), Н. Шакармамадовым (по фольклористике) и Н. Саркоровым (по литературоведению).

¹⁷ «Дастури чамъовари материалҳои забониҳои помирӣ ва фольклор», сост. Х. Курбанов, Н. Шакармамадов, Д. Карамшоев, отв. ред. Р. Гаффаров, Душанбе, 1975.

¹⁸ Н. Шакармамадов, Назми халқии Бадахшон, Душанбе, 1975.

¹⁹ А. Хабибов, Аз таърихи адабиёти тоҷик дар Бадахшон, Душанбе, 1971; е го же, Ганҷи Бадахшон, Душанбе, 1972.

²⁰ Р. Х. Додыхудоев, Памирская микротопонимия (исследование и материалы), Душанбе, 1975.

Московскими памироведами Т. Н. Пахалиной и Д. И. Эдельман одновременно было опубликовано два относительно больших словаря соответственно по сарыкольскому и язгулямскому языкам²¹. В 1975 г. вышла в свет монография Т. Н. Пахалиной по ваханскому языку²². Эта книга включает описание фонетики (стр. 10—39), морфологии (стр. 40—115) с приложением текстов (стр. 117—178) и ваханско-русского словаря (стр. 182—314). Словарь содержит этимологические заметки и снабжен русско-ваханским указателем.

Исследование памирских языков в сравнительно-историческом аспекте в нашей стране осуществляется В. С. Соколовой. В книге «Генетические отношения язгулямского языка и шугнанской языковой группы»²³ автором впервые детальным образом выявлено и определено историческое родство язгулямского языка и всех остальных языков и диалектов шугнано-рушанской группы как в синхронном плане, так и в диахронном.

В рассматриваемый период была опубликована новая монография В. С. Соколовой²⁴, которая является логическим продолжением намеченного автором направления исследований. Научная ценность этой работы В. С. Соколовой должна быть определена, в частности, тем обстоятельством, что вопрос о месте мунджанского языка среди других восточноиранских языков (памирских и афганского) до самого последнего времени оставался спорным и недостаточно доказанным. Так, Г. Моргенштерне и Г. Грирсон отнесли мунджанский к памирской группе, однако это мнение не было целиком подтверждено другими исследователями (в частности, Р. Готье и И. И. Зарубиным). В. С. Соколова на основе детального анализа изданных в последние годы работ и привлечения неопубликованных материалов по мунджанскому языку выявила новые генетические связи между мунджанским языком и языками шугнано-рушанской группы и язгулямским, позволяющими возводить эти языки к единому праязыку.

Наряду с этим В. С. Соколова определяет также генетическую принадлежность ишканимского и ваханского к памирской группе, что на данном этапе можно рассматривать как рабочую гипотезу. И сам автор отмечает, что этот вопрос требует дальнейшего более углубленного изучения с привлечением для исторического сравнения также материалов других языков восточноиранской группы (афганского, ягнобского, осетинского и др.)²⁵.

Таким образом, благодаря указанным монографиям и отдельным ранее изданным работам В. С. Соколовой²⁶, мы имеем теперь достаточное основание считать классификацию всех языков и диалектов памирской группы в целом установленной и доказанной как на уровне их синхронного состояния, так и в диахронном плане.

Новым достижением советского памироведения является серийный выпуск монографических исследований под общим названием «Языки Вос-

²¹ Т. Н. Пахалина, Сарыкольско-русский словарь, отв. ред. В. И. Абаев, М., 1971; Д. И. Эдельман, Язгулямско-русский словарь, отв. ред. В. И. Абаев, М., 1971.

²² Т. Н. Пахалина, Ваханский язык, М., 1975; см. также ее «Памирские языки», М., 1969.

²³ В. С. Соколова, Генетические отношения язгулямского языка и шугнанской языковой группы, М., 1967. См. реп. Д. И. Эдельман на эту работу в ВЯ, 1969, 1.

²⁴ В. С. Соколова, Генетические отношения мунджанского языка и шугнано-язгулямской группы, Л., 1973.

²⁵ Там же, стр. 233.

²⁶ В. С. Соколова, К уточнению классификации шугнано-рушанской группы памирских языков, «Иранский сборник», М., 1963. См. также: Д. Карамшоев, О диалектном членении шугнанского языка, сб. «Иранская филология», Душанбе, 1970.

точного Гиндукуша», начатый ленинградским иранистом А. Л. Грюнбергом. Первая книга этой серии посвящена синхронному описанию малоизученного до последнего времени мунджанского языка, распространенного только на территории Афганистана²⁷. Работа, наряду с предисловием (стр. 3—19), содержит большое количество фольклорных и этнографических текстов (стр. 19—263), представляющих интерес не только для лингвистов, но также для специалистов. К текстам приложен мунджанско-русский словарь (стр. 266—397), охватывающий как собранные автором в Афганистане новые материалы, так и опубликованные другими иранистами лексические данные по собственно мунджанскому языку и близкому ему диалекту йидага. В грамматическом очерке (стр. 398—462) в лаконичной форме дано описание фонетической и грамматической системы мунджанского языка. Особый интерес представляет исследование фонетической системы мунджанского языка. Автор впервые в истории памирского языкознания доказывает, что «мунджанский вокализм представляет собой гетерогенную систему, являющуюся совокупностью двух подсистем — собственно мунджанского и вокализма заимствованных слов»²⁸.

Второй выпуск указанной серии, находящийся в настоящее время в печати, осуществляется А. Л. Грюнбергом в соавторстве с И. М. Стеблин-Каменским и посвящается монографическому исследованию ваханского языка.

И. М. Стеблин-Каменским составлен этимологический словарь ваханского языка и опубликован ряд статей по памирским этимологиям²⁹. Опубликованная в 1972 г. работа А. З. Розенфельд по таджикским говорам Бадахшана содержит ряд лексических и грамматических единиц, источниками которых являются памирские языки и которые представляют определенный интерес для изучения вопросов субстрата, языковых контактов и взаимовлияния памирских языков и соседних таджикских говоров³⁰.

В 1975 г. Восточной комиссией Географического общества СССР выпущен сборник «Страны и народы Востока», специально посвященный Памиру. В этом сборнике, наряду со статьями географов, историков, археологов и этнографов, опубликован также ряд статей памироведов-лингвистов³¹. В конце 1976 г. изд-во «Наука» выпустило «Сказки народов Памира». Этот сборник содержит русский перевод памирских сказок, осуществленный А. Л. Грюнбергом, И. М. Стеблин-Каменским, Т. Н. Пахалиной, Д. И. Эдельман, Д. Карамшовым. Книге предпослано обстоятельное предисловие, написанное известным советским востоковедом и крупнейшим специалистом в области бадахшанского фольклора А. Н. Болдыревым.

²⁷ А. Л. Г р ю н б е р г, Языки восточного Гиндукуша. Мунджанский язык, Л., 1972.

²⁸ Там же, стр. 398.

²⁹ И. М. С т е б л и н - К а м е н с к и й, О ваханском этимологическом словаре, «Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока (X годовичная научная сессия ЛО ИВ АН)», М., 1974; е г о ж е, Флора иранской прародины (Этимологические заметки), «Этимология. 1972», М., 1974; е г о ж е, Мунджанские этимологии, «Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока», М., 1973.

³⁰ А. З. Р о з е н ф е л ь д, Бадахшанские говоры таджикского языка, Л., 1972. См. рецензии на эту работу: М. М а х м у д о в, А. Х а қ б е р д и е в, Шеваҳон тоҷикони Бадахшон, «Мактаби советӣ», 1972, 7; И. М. С т е б л и н - К а м е н с к и й, «Народы Азии и Африки», 1974, 2.

³¹ Т. Н. П а х а л и н а, Сравнительный обзор памирских языков, «Страны и народы Востока», XVI (Памир), М., 1975; Д. И. Э д е л ь м а н, Географические названия Памира, там же; А. З. Р о з е н ф е л ь д, Материалы по языку и этнографии и припамирских таджиков, там же; И. М. С т е б л и н - К а м е н с к и й, Повседневная и ритуальная пища ваханцев, там же.

Научная продукция советских памироведов получает все большее признание и все шире используется зарубежными учеными. Так, в основном на материалах советских публикаций выдающийся норвежский лингвист Г. Моргенстьерне в 1974 г. издал этимологический словарь языков и диалектов шугнано-рушанской группы³² — первый опыт этимологического словаря памирских языков.

Наряду с филологическими работами в последние годы появились новые книги историко-этнографического характера. В подобных работах в необходимой мере находят отражение также и языковые данные — термины народной этнографии. Примером тому являются книги Л. Ф. Моногаровой и И. Мухиддинова, посвященные различным вопросам истории и этнографии припамирских народов³³.

В целом научные результаты, достигнутые в девятой пятилетке, значеют собой новый и особый этап в развитии памирской филологии. Характерной чертой данного этапа следует считать планомерное и непрерывное развитие основных направлений памирской филологии (главным образом, диалектологии, грамматики, лексикографии, фольклористики), что можно резюмировать более конкретно: 1) окончательно завершено синхронное описание всех известных науке языков и диалектов памирской группы, в том числе и шугнано-рушанской; 2) значительное развитие получила памирская лексикография: созданы новые относительно большие словари по шугнанскому языку и его диалектам, по язгулямскому, сарыкольскому и ваханскому; издан также первый краткий этимологический словарь по шугнано-рушанской группе; 3) сравнительное и сравнительно-историческое изучение памирских языков поднялось на новую ступень и в результате установлены основные линии исторического развития памирских языков, что в свою очередь способствовало обоснованной классификации указанных языков как в плане синхронии, так и диахронии; 4) окрепла и расширилась научная база памирской филологии: в отделе памироведения создан научный фонд по языкам и фольклору памирских народов, который год от года пополняется новыми языковыми, фольклорными и рукописными материалами; 5) оживилось комплексное изучение языков, фольклора, а также литературного наследия народов Памира; 6) определенный успех достигнут в области подготовки новых молодых специалистов по памирским языкам и фольклору (в девятой пятилетке два сотрудника Отдела защитили кандидатские диссертации и получили ученую степень, а три сотрудника Отдела завершили работу над диссертациями); 7) создан надежный фундамент для составления сравнительного словаря по памирским языкам, что является главной задачей, стоящей перед языковедами Отдела памироведения в десятой пятилетке.

³² G. Morgenstierne, *Etymological vocabulary of the Shughni group*, Wiesbaden, 1974. См. реп. на эту работу: D. N. Mackenzie, «Kratylos», XIX, 1975 (в этой рецензии Д. Н. Маккензи также отмечает большое значение публикаций советских памироведов для иранистики в целом).

³³ Л. Ф. Моногарова, *Преобразования в быту и культуре припамирских народностей*, М., 1972; И. Мухиддинов, *Земледелие памирских таджиков Вахана и Ишкашима в XIX — начале XX в. (историко-этнографический очерк)*, М., 1975.

РЕЦЕНЗИИ

V. Kiparsky. Russische historische Grammatik. III. Entwicklung des Wortschatzes. — Heidelberg, 1975. 375 стр.

Третий том «Исторической грамматики русского языка» выдающегося финского лингвиста В. Кипарского посвящен развитию словарного состава¹ и является первым в науке, притом удачным, опытом общего описания развития русской лексики XI — начала XX вв., а не отдельного периода ее истории². Автор книги — один из известных зарубежных пропагандистов и ценителей русского языка. Исследование выполнено на высоком научно-профессиональном уровне и представляет большой интерес для лексикологов.

Автор монографии отнюдь не задавался целью изложить в небольшом томе всю историю формирования словарного состава русского языка — обозначены как бы штрихами лишь основные ее моменты. Каждое рассматриваемое слово описано предельно лаконично: представлены его графико-орфографический вид, семантика; указаны возраст и, если оно не исконное, источник заимствования; при немногих словах есть дополнительные сведения. Слова объединяются по тому или иному признаку и даются списками. Каждому из списков предпосылаются некоторые общие соображения автора.

При этом монография построена следующим образом: предисловие (стр. 13);

введение (стр. 15—22); I — унаследованные слова: А — русские слова индоевропейского происхождения (приблизительно 3500-летней давности) (стр. 23—37); В — русские слова балто-славянского происхождения (по меньшей мере 2500-летней давности) (стр. 38—46); С — русские слова праславянского (общеславянского) происхождения (стр. 46—53)³; II — заимствованные слова: 1) допетровские заимствованные слова из германских языков — прагерманские (доготские), готские, балканогерманские, западногерманские (стр. 54—58); слова франкские (стр. 59—61), тюркские («дотатарские», перенятые во время татаро-монгольского ига и «послетатарские») (стр. 61—71), церковнославянские (стр. 71—74), греческие (стр. 74—86), финно-угорские (стр. 86—92), балтийские (стр. 92—94), северогерманские (скандинавские) (стр. 94—98), польские (стр. 98—105) и немецкие (стр. 105—107); 2) слова, заимствованные в Петровскую эпоху и послепетровское время (стр. 107—170) — голландские (стр. 111—121), итальянские (стр. 121—124), английские (стр. 124—128), немецкие (стр. 128—142), французские (стр. 142—169), украинские (стр. 169—170); III — новообразования на русской почве: спонтанные новообразования (стр. 171—173), неославянизмы (стр. 173—174), новые слова (неологизмы) (стр. 174—176); IV — суффиксальные образования (стр. 181—305); V — префиксальные образования (306—343); VI — сложения (стр. 344—350). Далее помещен список литературы и словник, включающий в себя, впрочем, не все исследуемые слова.

В таком построении книги отражено отождествление развития русской лексики с ее пополнением, происходящим, по

¹ В I—II томах рассматриваются вопросы исторической фонетики, фонологии, морфологии: V. K i p a r s k y, Russische historische Grammatik, I—Heidelberg, 1963, 171 стр.; II — Heidelberg, 1967, 288 стр. Это трехтомное исследование предназначено главным образом для студентов.

² Ср.: Ф. П. Ф и л и н, Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописей), Л., 1949; П. Я. Ч е р н ы х, Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период, М., 1956 (впрочем, П. Я. Черных подчас выходит за рамки XI—XVII вв.); Ю. С. С о р о к и н, Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы XIX века, М.—Л., 1965.

³ Каждый из разделов А, В, С, делится на подразделы: 1) тело человека; 2) родство и половая жизнь; 3) явления природы; 4) животный мир; 5) растительный мир; 6) деятельность; 7) качества и отвлеченные понятия; 8) материальная культура, техника.

мнению В. Кипарского, двумя путями: 1) появляются новые «непроизводные» слова (исконные и заимствованные); 2) возникают суффиксальные, префиксальные новообразования и сложения слов.

Не менее значителен, однако, третий путь «присвоения языку новых номинативных средств» — путь «существенных семантических сдвигов в традиционно употребительных словах»⁴, не прослеживаемый В. Кипарским, поставившим перед собой другие задачи: «В этом томе я излагаю вопросы, исследованные которыми я посвятил всю свою активную жизнь: вопросы этимологического родства русских слов, заимствованной лексики русского языка и образования новых слов при помощи суффиксов, префиксов и сложения слов» (стр. 13). Можно назвать этот труд кратким историко-этимологическим справочником по русской лексике и словообразованию, являющимся лексикологическим очерком (в книге не рассматриваются наряду с семантическими процессами процессы архаизации слов и исчезновения тех или иных из них в языке, некоторые способы словообразования). Это естественно: вопросы семантической эволюции и архаизации слов не составляют главный предмет исследований этимологического направления. Более пристальное внимание к семантической стороне позволило бы более точно представить, пусть и максимально кратко, самое историю слов.

Так, *уза* определяется как «рыбный суп, уха» (стр. 35). Между тем еще в XVII—XVIII вв. оно обозначало также «мясной, гороховый, сладкий суп» (Т. Д. Якубович, «Русская речь», 1973, 4, стр. 120). При учете этого приводимое В. Кипарским максимально близкое к русскому *уза* индоевропейское соответствие — лат. *iūs* «суп, отвар» (Abl.) становится еще ближе.

Сближение др.-русск. *строй* (по В. Кипарскому, «брат отца») с др.-прл. *sruith* «старый, почтенный (уважаемый)» (стр. 25) было бы семантически более убедительным, если б автор привел и другое значение термина (с вариантами *стрыи*, *стрыи*) — «брат деда и прадеда»⁵. Это важно и для семантической реконструкции слова *семья*, первоначально «большая семья, задруга» — наследие родо-пле-

менной эпохи (Б. А. Ларин; его доказательства: наличие латыш. *sāite* «челядь, большая семья», литов. *šeimyna*, диалектн. *šeimā* «семья, родня, челядь»). Определение же *семья* как лишь «семья» и «жена» В. Кипарским (стр. 25) затемняет древнейшую семантику и дальнейшую историю слова, употреблявшегося в XVI—XVII вв. и в значениях «заговор», «единомышленники»⁶.

При словах *чердак* (стр. 67), *амбар* (стр. 65), *артист* (стр. 145) и некоторых других приведены лишь их современные значения. Семантика первого («зал верхнего этажа дворянского дома; шатер; каюта») и третьего из них («художник; человек, упражняющийся в каком-либо искусстве») была первоначально шире, *артист* в значении «актер» известно лишь с 20-х годов XIX в. (В. С. Филиппов, «Русская речь», 1968, 3, стр. 75); *амбар* сначала означало «строение для торговли, торговый склад»⁶.

В книге В. Кипарского рассматривается современная лексика; историзмы же и вышедшие из употребления архаизмы весьма немногочисленны. В связи с этим любопытна авторская концепция исторического развития лексики: «Графическое изображение развития словарного состава русского языка, данное мной в 1971 г., должно соответствовать перевернутой пирамиде» (стр. 16; имеется в виду общеупотребительная, не узкоспециальная лексика). Конечно, русский словарный состав с XII по XX в. количественно возрос, но не настолько, чтобы его развитие можно было изобразить в виде перевернутой пирамиды; ср. сопоставления количества употреблений разных (не одних и тех же) слов в русских текстах XII—XX вв. в выборках по 1000 словоупотреблений (эти данные указывают на степень роста словарного состава): XII в. — 36,6%; XIII в. — 34,3%; XIV в. — 36,7%; XV в. — 36,9%; XVI в. — 33,8%; XVII в. — 38,1%; XVIII в. — 44,8%; XIX в. — 47,8%; XX в. — 48,6%⁷.

При всей относительности этих подсчетов они правдоподобны, так как развитие древне- и старорусской лексики шло не

⁶ Б. А. Ларин, Из истории слов, «Памяти академика Льва Владимировича Щербы (1880—1944). Сборник статей», Л., 1951, стр. 195—197.

⁷ Е. М. Иссерлин, Лексика русского литературного языка XVII века, М., 1961, стр. 56.

⁸ Е. К. Бахмутова, Иранские элементы в деловом языке Московского государства, «Уч. зап. Казанск. пед. ин-та», 1940, 3, стр. 54—55.

⁹ И. И. Меньшиков, Некоторые статистические характеристики лексического наполнения русских текстов в различные языковые эпохи, «Вопросы лексикологии», Днепропетровск, 1969, стр. 101—105.

⁴ Ю. С. Сорокин, Из истории русской естественной научной терминологии и ее литературного распространения. (Термин *растение* и его синонимы), ИАН ОЛЯ, 1966, 3, стр. 218. Многочисленные примеры семантических русских новообразований см. в названной выше монографии Ю. С. Сорокина.

⁵ О. Н. Трубачев, История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя, М., 1959, стр. 80—81.

только по линии ее пополнения, но и по линии исчезновения многих, к сожалению, по большей части отсутствующих в рецензируемом труде слов типа] *закупь, рядовичь, смердь, видокъ* [очевидец], *послухъ, въсь* «деревня», *фарь* «верховой конь ценной породы», *туль* «колчан», *жалъ* м. р.: «живу в жалю и в горькой кручине», 1724 г. («Scando-Slavica», V, 1959, стр. 167), *двина* «двойня, близнец» (Русско-англ. словарь-дневник Рич. Джемса, стр. 164) и мн. др.

В связи с концептуальным представлением В. Кипарского о перевернутой пирамиде следует отметить факт отсутствия в его книге ряда современных русских слов, относимых к праславянскому лексическому фонду (по данным 1—3 опубликованных и 4—5 подготовленных к печати выпусков «Этимологического словаря славянских языков» под ред. О. Н. Трубачева и — отчасти — «Этимологического словаря» М. Фасмера): глаголы *баловать, беречь, блёкнуть, блеять, бодать, бормотать, бороться(ся), брезговать, брезжить, брить(ся), бросать, буду, бурчать, вить, возить и давить* (оба представлены лишь в разделе о суффиксальном словообразовании XIV—XV вв., стр. 301), *дремать, дробить, дуть, цапать, целовать, черпать, чизать* и т. д.; существительные *багор, балка* «оврат», *банка, баня, бой, ботва, бред, бука* «нелюдим и т. п.», *буря, буча, былина* и *былинка* «стебелек, травинка», *век, вилям, даль, дверь, диво, дробь, дроля, дыра, черепаша, чиж, яблоня* и т. д.

«Самым существенным недостатком словаря нужно признать отсутствие ясно выраженного критерия при подборе слов», — писал В. Р. Кипарский в рецензии на «Russisches etymologisches Wörterbuch» М. Фасмера (ВЯ, 1956, 5, стр. 132).

В книге по истории лексики этот критерий становится особенно важным, и В. Кипарский с большой тщательностью отобрал рассматриваемую им лексику. При этом исключены из поля зрения служебные слова (кроме *а, без*, стр. 22), числительные, местоимения, наречия, рассмотренные автором в предыдущем томе «Исторической грамматики». Изъяты также новейшие (пришедшие с начала XX века) заимствования, являющиеся часто научно-техническими терминами. Многие тематические группы слов представлены полно, например, термины родства и свойства, древнейшие названия животных.]

Подчеркивая вслед за Ф. П. Филиным важность изучения слов по тематическим и лексико-семантическим группам (стр. 20), автор иногда непоследователен: приводится слово *война* (стр. 53), но нет общеслав. *мир*; есть сущ. *ночь* (стр. 26), но нет слова *день*; читателя удивит, что из молочных продуктов русским известны

лишь *сметана, кумыс* и *творог*; указаны термины *бас, альт*, но нет названий *тенор* (с 1679 г.) и *сопрано*; при наличии существительных *валторна, гобой, флейта* нет слова *музыка*; на стр. 135 дано слово *пудр(о)мантель* (1864), но нигде не отмечено *пудра* (см. уже в одной песне 1740—1750 гг.)¹⁰; имеется *дубрава*, но опущено *дуб*; недостаточно представлена общественно-политическая лексика (нет слов *социальный, социалист, коммунизм, коммунист*, известных с середины XIX в., тогда же социально и политически осмысленных *низы, верхи, красный, левый, правый*) и т. д.

Важнейшее достоинство книги — последовательный историзм ее лексикологической части, лежащий в основе систематизации всего материала: рассматриваются древнейшие, затем все менее старые пласты лексики; в частности, сначала перечислены названия частей тела человека, затем термины свойства и родства (стр. 23—25, 38—39, 47—48). Эти две группы лучше было бы поменять местами: есть основания считать вторую из них древнее первой¹¹.

Наряду с относительной, хорошо разработана абсолютная хронологизация при датировке древнейших исконных и заимствованных слов. Здесь ценны и поучительны даже отдельные замечания автора. Например, по поводу слова *броня* < др.-в.-нем. *brunja* сказано: «В 805 г. Карлом Великим был запрещен вывоз панцирей в славянские земли, так что слово и вещь в ту пору должны были быть известны» (стр. 58).

Более же поздние заимствования автор датирует то по словарям, то по памятникам без какой-либо системы. Следовало бы указывать год либо только по памятникам, либо только по словарям, или же указывать при каждом слове обе даты. В перечне заимствований наименее точны датировки англицизмов и тюркизмов. Рассмотрев около 100 английских заимствованных слов, автор пишет, что 14 из них пришли в русский язык в XVIII в., остальные — в XIX в. (стр. 128). В действительности англо-русские контакты установились еще в 80-е годы XVI в. Слово *лорд*, датируемое автором 1804 годом, известно уже в 1582 г.: «королевины ближние люди лордъ Вывзоръ, да лордъ Морлей»¹² (слово склонялось: «въ Ексетцкомъ лорде», 1600—1601 гг.¹³); другие уточнения: несклонявшееся *серъ* (и *саръ, соръ, сиръ*) — 1582, 1586 гг.

¹⁰ А. В. Р о з д н е е в, Russische Sattiren des 18. Jahrhunderts in der Form der «книжные песни», ZfS, IX, 4, 1964, стр. 520.

¹¹ О. Н. Т р у б а ч е в, указ. соч., стр. 17.

¹² «Сборник Русского исторического общества», 38, СПб., 1883, стр. 55.

¹³ Там же, стр. 353.

и т. д.¹⁴ против 1864 г. у В. Кипарского (ср., стр. 127); *чек* — 1698 г.¹⁵ против 1864 г.; *шиллинг* XVI—XVII вв. против 1782 г.¹⁶, *джентльмен* — самое начало XIX в. против 1839 г.¹⁷.

Уточним датировки заимствований из других языков: *аб(б)ат* (стр. 122: с 1738 г.) — в форме *обат* уже в 1490 г.¹⁸; *адмирал* (стр. 111: с Петровской эпохи) — уже в 1582 г. (Fogarasi, указ. соч., стр. 69); *алтынъ* (стр. 65: с 1375) — 1368 г. (Сл. РЯ XI—XVII вв., 1, стр. 32); *армяк* (стр. 65: 1582) — 1517 (Н. М. Шанский, указ. соч., I, 1, стр. 145); *арфа* (стр. 130: 1709) — 1698 (Fogarasi, стр. 64); *аршин* (стр. 65: 1550) — 1488¹⁹; *аул* (стр. 68: 1835) — 1668 (Сл. РЯ XI—XVII вв., 1, стр. 58); *бай* (стр. 68: 1793) — 1616 (Сл. РЯ..., стр. 66); *барс* (стр. 65: 1615) — 1594 (Сл. РЯ..., стр. 74); *барыш* (стр. 68: 1704) — 1659 (Сл. РЯ ..., стр. 76); *башка* (стр. 69: 1780) — 1699 (Сл. РЯ..., стр. 82); *бей*, *бек* (стр. 69: XVIII в.) — 1639 (*бей*), 1682 (*бекъ*, вариант *бегъ* — 1472); *бешмет* (стр. 69: 1780) — 1654 (Сл. РЯ..., стр. 183); *бирюк* (стр. 69: 1789) — 1654 («волк») (Сл. РЯ..., стр. 185); *буза* (стр. 69: 1780 «казакск. слабое пиво») — 1670 («хмельной напиток») (Сл. РЯ..., стр. 349); *буланый* (стр. 65: 1570) — 1535 («Этимология. 1974», М., 1973, стр. 202), К. Р. Галиуллин (Казань) обратил внимание на антропологическое употребление слова в 1473 г.; *бураа* (стр. 65: 1579) — 1568 (Сл. РЯ..., стр. 355); *гусар* (стр. 101: 1614) — 1594 (Фасмер, I, стр. 477); *доктор* (стр. 132: 1704) — *дохто(у)рь* 1492, *дркторъ* 1517 (Fogarasi, стр. 64); *драгун(ский)* (стр. 101: 1661) — *драгуны* 1649, *драгунскій* 1656 (Fogarasi, стр. 64); *дуван* (стр. 69: 1790) — 1515 (Картотека ДРС Института русского языка АН СССР), *инженер* (стр. 101: 1635) — 1631 (Н. И. Тарабасова, «Русская речь», 1976, 1, стр. 77); *кабан* (стр. 69: 1704) — 1608 (Картотека ДРС); *кавалер* (стр. 101: 1634) — *ковалеръ* 1580 (Фасмер, II, стр.

152; Fogarasi, стр. 65); *каланыч* (стр. 69: 1774) — 1660 (Дон. д., V, 636. — Картотека ДРС); *калым* (стр. 69: 1830) — 1643 (Картотека ДРС); *камыш* (стр. 69: 1774) — XVII в. (впервые — 1594—1596)²⁰; *капитан* (стр. 101: 1615) — XV—XVI вв.²¹; *каприв* (стр. 152: 1804) — 1777—1778 (А. И. Горшков, «Русская речь», 1969, 1, стр. 7), *каприс* — 1762²²; *карандаш* (стр. 69: 1700) — 1663—1664 (Картотека ДРС); *каурый* (стр. 66: 1579) — 1490 (Картотека ДРС); *кафе* (стр. 152: 1864) — 1698 (Fogarasi, стр. 65); *кинжал* (стр. 69: 1704) — 1588—1594 (Картотека ДРС); *коляска* (стр. 101: 1689) — середина XVII в.²³; *комендант* (стр. 152: 1731) — 1666 (Fogarasi, стр. 65); *комис(с)ар* (стр. 102: 1632) — *комисаръ* 1615—1617 (Fogarasi, стр. 65); *куръев* (стр. 153: 1864) — до 1824, ср.: Фамусов. Куръевный вист у нас (А. С. Грибоедов, Горе от ума); *кузня* (стр. 102: 1717) — 1576—1578²⁴; *маневр* (стр. 154: 1804) — 1750 (Е. Э. Биржакова и др., указ. соч., стр. 109); *мерин* (стр. 66: 1500) — 1492 (Картотека ДРС); *миля* (стр. 102: 1439) — XIV в. (Г. Я. Романова, указ. соч., стр. 33); *мосье*, *мусье* (стр. 155: 1830) — *мосье*, *мсье* уже в «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1824); *нефть* (стр. 67: XVII в.) — 1582 (Fogarasi, стр. 69); *офицер* (стр. 135: 1774) — 1683 (там же); *палац* (стр. 67: 1704) — XVI в. (Картотека ДРС); *пальто* (стр. 157: 1847) — 1840 (Ю. С. Сорокин, указ. монография, стр. 179); *пика* (стр. 102: 1670; стр. 158: 1704) — 1630—40-е (П. Я. Черных, указ. соч., стр. 236; Картотека ДРС); *протаган* (стр. 106: 1793) — 1607—1621 (О. Михайлов [О. М. Радишевский], Устав ратных, пушечных и других дел, издан В. Рубаном, СПб., 1777 и 1781, стр. 76); *рота «рота»* (стр. 103: 1616) — 1581 (М. Фасмер, указ. соч., III, М., 1974, стр. 507);

²⁰ А. Н. Качалкин, Из наблюдений над словарным составом русского языка XVII в. КД, М., 1968, стр. 307; А. Жаримбетов, Тюркизмы в русских названиях растений. АКД, М., 1976, стр. 7.

²¹ И. С. Хаустова, Из истории лексики рукописных «Ведомостей» конца XVII века, «Уч. зап. ЛГУ», 198, Серия филол. наук, 24, 1956, стр. 78.

²² Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина, Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования, Л., 1972, стр. 367.

²³ S t. K o s c h m a n, Polsko-rozyjskie stosunki językowe od XVI do XVIII w., Opole, 1975, стр. 78.

²⁴ Е. И. Мельников, О чешских лексических элементах в русском языке, заимствованных через посредство польского и других языков (в XIV—XIX вв.), «Slavia», XXXVI, 1, 1967, стр. 103.

¹⁴ Там же, стр. 28, 33, 327 и т. д.

¹⁵ M. F o g a r a s i, Europäische Lehnwörter im Spiegel einer Russischen Urkundensammlung, «Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae», IV, fasc. 1—2, Budapest, 1958, стр. 68.

¹⁶ В. М. Аристова, Трансформация английских слов в русском языке, «Этимологические исследования по русскому языку», М., 1972, стр. 8—9.

¹⁷ «Этимологический словарь русского языка», под ред. Н. М. Шанского, I, 5, М., 1973, стр. 101.

¹⁸ Н. М. Шанский, Этимологический словарь русского языка, I, 1, М., 1963, стр. 13.

¹⁹ Г. Я. Романова, Наименование мер длины в русском языке, М., 1975, стр. 73.

ротмистр (стр. 103: 1614) — 1563 (Fogarasí, стр. 67); *секретарь* (стр. 162: 1782) — 1600 (Fogarasí, стр. 69); *скульптор* (стр. 162: 1806) — 1737 (Е. Э. Биржакова и др., указ. соч., стр. 394); *солдат* (стр. 106: 1611) — 1515—1517 (Fogarasí, стр. 67); *чалый* (стр. 67: 1547) — 1503²⁵; *чулан* (стр. 71: 1731) — 1565—1568 (Картотека ДРС); *шанцы* (стр. 104: 1633) — в форме ед. ч. (*шанець*) уже в XVI в. (Fogarasí, стр. 68); *ясак* (стр. 68: XVI в.) — 1483 (В. Д. Аракин, указ. соч., стр. 131).

Из заимствований особенно неполно представлены полонизмы. В книге их количество значительно, новсе же нет многих слов: *администратор*, *бытность*, *гончая*, *готовность* и т. д.²⁶, *кувала*²⁷, *кролик*, ст.-русск. *возник* «каретная лошадь», *спис(а)* «копьё» (последнее — возможно, через украинский). Вероятно, через польское, а не немецкое посредничество, вопреки В. Кипарскому (стр. 132), пришло слово *доктор*²⁸. Чешские слова пришли преимущественно также через польский²⁹. Струя полонизмов была в XVII в. очень сильной, и вряд ли права А. Дж. Эфендиева, считающая, что вплоть до Петровской эпохи «ведущее место в языковых контактах русских» продолжали сохранять восточные языки³⁰.

Среди источников заимствования В. Кипарский напрасно не указывает ученую латынь (*опшум*, ок. 1603 г. — Сб. РИО, 38, стр. 435; *вулкан*, нач. XVIII в.; *абориген*, 1803 г., см.: И. А. Попов, «Русская речь», 1968, 6, стр. 81; *глобус*, конец XVII в., см.: Д. П. Валькова, «Русская речь», 1967, 2, стр. 83; *вакуум*, серед. XVIII в.³¹; *количество* — калька с лат. *quantitas*³² и т. д.). Среди тюркизмов

следовало бы отметить как булгаризм *чулок* < др.-чуваш. *чулка*³³.

Справедливо внеся в книгу кальки с греческого и тюркских языков, В. Кипарский напрасно не указал хотя бы примеры калек с немецкого и французского.

Автор считает слово *врач* спонтанным новообразованием при помощи суффикса *-ач* от глагола *врасть* (стр. 16, 171, 193). Эта точка зрения давно опровергнута: *врасть* (в такой огласовке) — только великорусское слово, неизвестное южнославянским языкам (включая старославянский), имеющим соответственное *врач(ь)*; ст.-слав. и русск. *врач(ь)*, болг. *врач* «колдун», серб.-хорв. *врач* «прорицатель», словен. *vrāč* «врач» — древний тюркизм³⁴. Слово *баран* отнесено В. Кипарским к праславянской (обшеславянской) лексике. Следовало при этом подчеркнуть, что перед нами одно из ранних восточных заимствований³⁵. Маловероятно объяснение *резеда* из франц. *réséda* (стр. 160). Первоначально слово произошло *резеда* и пришло либо из латинского непосредственно, либо через нем. *Resede, Reseda*³⁶. *Вист* заимствовано не прямо из англ. *whist* (стр. 125), а, по-видимому, через французский³⁷.

В разделе о словообразовании автор обращает основное внимание на суффиксальный способ как важнейший в русском языке. Все суффиксы описаны в очень небольших статьях, расположенных по алфавиту, что создает удобства при пользовании книгой. Так же представлен и материал о приставках. Тем самым в основу рассмотрения русского словообразования положен принцип панхронии, не дающий возможности наглядно представить историческое развитие суффиксальных и префиксальных образований. Отмечая одну из главных закономерностей в развитии суффиксального словообразования в русском языке, автор пишет: «Принципиальным различием между славянскими и другими индоевропейскими языками, на которое уже в 1902 г. указал А. Мейе, является нагромождение суффиксов в первых... и редукция суффиксов в последних. Ревзина в 1969 г. ... показала, что в индоевропейском языке суффиксы состояли в основном из одной

²⁵ В. Д. Аракин, Тюркские лексические элементы в памятниках русского языка монгольского периода, «Тюркизмы в восточнославянских языках», М., 1974, стр. 143.

²⁶ St. K o s c h m a n, указ. соч.

²⁷ О. Н. Трубачев, Ремесленная терминология в славянских языках. (Этимология и опыт групповой реконструкции), М., 1966, стр. 352.

²⁸ М. Брицын, Из истории медицинских терминов древней Руси, «Вопросы теории и истории словарного состава русского языка», Киев, 1972, стр. 82.

²⁹ Е. И. Мельников, указ. соч., стр. 98—114.

³⁰ А. Дж. Эфендиева, Заимствования из восточных языков в русском языке позднего средневековья (XVI—XVII вв.). АҚД, Л., 1975, стр. 4.

³¹ «Этимологический словарь русского языка», под ред. Н. М. Шанского, I, 3, М., 1968, стр. 7.

³² Л. Л. Кутина, Формирование языка русской науки, М.—Л., 1964, стр. 15.

³³ И. Г. Добродомов, Пути проникновения болгарских элементов в славянские языки, «Тюркизмы в восточнославянских языках», М., 1974, стр. 31.

³⁴ О. Н. Трубачев, Заметки по старославянской этимологии, «Этимологические исследования по русскому языку», IV, М., 1963, стр. 163—168.

³⁵ «Этимологический словарь славянских языков», 1, М., 1974, стр. 157.

³⁶ Л. М. Баш, К истории слова «резеда», «Р. яз. в shk.», 1974, 4, стр. 95.

³⁷ Ю. А. Романев, Два заимствования, «Этимологические исследования по русскому языку», 5, М., 1966, стр. 125.

фонемы (-j-, -k-, -n-, -t-, -f-, -d-, -g-, -b-, -m-), в праславянском — по меньшей мере их двух (-je-, -jь-, -ja-, -kь-, -ka-, -no-, -na-, -nь-, -to-, -ta-, -tь-, -tь), а в современных славянских языках — из минимум двух до четырех» (стр. 180; попутно можно заметить, что вместо «из минимум двух» следовало бы написать: «из минимум одной», ср. слова *горка*, *тропка* и проч.).

Автор стремился охватить по возможности все суффиксы, приставки и способы сложения слов, а затем, упорядочив материал, очень кратко описал историю каждой из морфем.

При этом оказались неотмеченными праславянские суффиксы -*то* (ср. *письмо*, *бельмо*), -*сло* (ср. *масло* из **maz-slo*, *весло* из **vez-slo*), -*es-* (в слове *белесый*). В слове *начало* автор напрасно усматривает первоначальный суффикс -*ло*: «Вероятно, **lo* имеем в *начало*, ср. Мейе 1902, 317 вопреки Варбот 1969, 87» (стр. 234). Действительно, в книге Ж. Ж. Варбот «Древнерусское именное словообразование» (М., 1969, стр. 87) слово *начало* наряду с *мыло* и т. п. рассмотрено как образование с суффиксом **-dlo*. Надежным подтверждением такой реконструкции является словин. *črdlo*, ср. р. «малое количество» — производное с суффиксом -*dlo* от глагола **črditi*, **čьrdь*. Как отмечает О. Н. Трубачев («Этимологический словарь славянских языков», IV, машинопись, s. v. *črdlo*), кашубскословин. *črdlo* соотносится с кельт. **keneilo*:- ирл. *cenél* «род», валл. *cenedd*, др.-корн. *kinethel*³⁸. В книге не описаны некоторые способы словообразования, в частности так называемое усечение (например, *зауряд* «заурядная личность» в реплике Репетилова в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», а также употребляющееся критиками-литературоведами и музыковедами *изыск* «изысканный художественный прием», с ударным *ы*, встречающееся еще у И. Северянина; ср. иноязычные с разговорным оттенком *интим*, *примитив*), заместительная префиксация (т. е. возникновение слова путем отбрасывания одной приставки и присоединения другой: соотношения типа *прилигнуть* — *отлигнуть*, но, конечно, не *лигнуть* — *отлигнуть*)³⁹, флективное образование прилагательных от существительных [ср.: *золотой* и *золото*,

вдовый и *вдова*, *вороной* и *ворон*, *голубой* и др.-русск. *голубь* «голубь»; ср. еще *пятый*, *шестой* и т. д., а также др.-русск. *березьи*, *росьи* (Срезневский)]. Пары типа *золото* — *золотой* любопытны с точки зрения исторического развития лексики, будучи реликтами древнейшего состояния нерасчлененности существительных-прилагательных⁴⁰.

Несколько мелких замечаний. На стр. 187 рассматривается суффикс -*чанин* (под заголовком статьи -*анин*, -*янин*). А. А. Абдуллаев поставил вопрос об относительной давности суффикса, отметив, что эта морфема действительно часто, но, вопреки В. Кипарскому, не всегда взаимодействует с суффиксом -*ец* и что в болгарском языке суффикс -*чанин* также известен («Русская речь», 1967, 1, стр. 69—70). На стр. 315 рассмотрена приставка *ка-* (и *ко-*, *ку-*). Было бы уместно привести и ее алломорфы *чи-*, *чу-* (например, в глаголе *расчихвостить*)⁴¹.

Изредка встречаются опечатки: *грубий* вм. *грубий* (стр. 186), *вороб(а)* вм. *вороб(а)* (стр. 365), *упыр* вм. *упырь* (стр. 49), *дейгать* вм. *дейгать* (стр. 50), *камерюнкер* вм. *камер-юнкер* (стр. 133), *матрица* вм. *матрица* (стр. 134), *гарцовать* вм. *гарцевать*, *полировать* вм. *полировать* (стр. 163), *стеклянный* (завод по производству посуды) вм. *соврем. стекольный* (*стеклянный* в таком употреблении встречается лишь у русских писателей XIX в.) (стр. 176), формы *сотона* (стр. 82), *ярмонка* (стр. 104) следовало дать с пометами «диал.» (dial.) и «устар. русск.» (altg.) — *брякнц* напрасно приводится как непременно приставочный глагол (с дефисом впереди, стр. 41); слова *дебаркадёр* (стр. 149), *шедёр* (стр. 167) следовало дать и в современной огласовке, *суффлёр* (стр. 163) — в современном написании (*дебаркадёр*, *шедёр*, *суффлёр*); на стр. 68 дано в немецком тексте *Kasan* вместо *Kasan* «Казань». На стр. 18 привождется по-немецки слова М. Горького о том, что писатель должен писать по-русски, а не по-явотски, не по-балахонски. Последнее слово здесь неверно передано немецким *Rotwelsch* «поблатному», следовало написать: *Bala-*

³⁸ См. также: О. Н. Трубачев, Формирование древнейшей ремесленной терминологии в славянской и некоторых других индоевропейских диалектах, «Этимология», М., 1963, стр. 50—51.

³⁹ «Грамматика русского языка», М., 1970, стр. 265, 271; М. А. Михайлов, К образованию слов путем мены префиксов, «Уч. зап. Горьковск. ун-та», 114, 1970; И. С. Удуханов, О замене приставок, «Р. яз. в шк.», 1974, 3, стр. 91—94.

⁴⁰ А. А. Потебня, Мысль и язык, ЖМНП, 1862, стр. 131—134 (отгиск); е го же, Из записок по русской грамматике, III, М., 1967, стр. 37—67, 82 и сл.; В. М. Жирмунский, Происхождение категории прилагательных в индоевропейских языках, ИАН ОЛЯ, 1946, 3; С. Д. Кацнельсон, Язык поэзии и первобытно образная речь, там же, 1947, 4.

⁴¹ Н. М. Шанский, Слова с приставкой *ко-* и ее алломорфами в русском языке, «Этимологические исследования по русскому языку», VII, М., 1972, стр. 203—204.

chpanisch (Балахна — город в Горьковской области).

В заключение необходимо подчеркнуть, что в подобного рода сравнительно небольших по объему обобщающих историко-лексикологических исследованиях, охватывающих собой всю письменную

многовековую историю языка, разные неточности и пробелы неизбежны, так что общая оценка рецензируемой монографии остается высокой, бесспорно положительной.

Г. Ф. Одинцов

L. Hadrovics. Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert (Mit 12 Faksimiles). — Budapest, Akadémiai Kiadó, 1974. 564 стр.

До недавнего времени исследователи сетовали на практически полное отсутствие работ, посвященных изучению памятников старой градищанско-хорватской письменности¹. Сегодня этот пробел (если иметь в виду его лингвистическую сторону) в большей степени восполнен: перед нами фундаментальный труд известного венгерского слависта, крупнейшего знатока градищанско-хорватского языка (ГХЯ) в Австрии Л. Хадровича «Письменность и язык градищанских хорватов в 18 и 19 столетиях», изданный совместными усилиями двух национальных академий — венгерской (Magyar Tudományos Akadémia) и австрийской (Österreichische Akademie der Wissenschaften). Монографию составляют три неодинаковых по объему раздела: «Письменность» (стр. 15—44), «Язык» (стр. 45—493) и «Образцы текстов» (стр. 495—539). Чтобы написать столь объемистую книгу, автор многие годы разыскивал в библиотеках и архивах Будапешта, Загреба, Вены и других городов старые градищанские издания и рукописи.

В первом разделе книги Л. Хадрович дает обстоятельное описание этих памятников письменности, начиная с рукописных текстов: это молитва «Отче наш» и ячка (так градищанцы называют свои народные песни), записанные в 1564 г. (а не в 1561 г., как обозначено в книге, см. стр. 21) неким Georgium Sossouřsz², grosvarasdorffский судебный протокол 1625 г., текст так называемого «горного права» 1769 г., проповеди из Паннонхальма 1805—1833 гг., перевод известного латинского назидательного сочинения «De imitatione Christi», сделанного И. Ж. Карнером в 1812 г. (находится в библиотеке загребского архиепископства), и различные сборники духовных и народных песен. Из печатных изданий

религиозного характера представлены: обнаруженный Л. Хадровичем в библиотеке Будапештского университета экземпляр хорватского перевода книги проповедей вюртембергского теолога и проповедника Йоханнеса Бренца [перевод сделан Антуном Далматинским и Стипаном (Конзулом) Истрийским в 1568 г.] и до настоящего времени совершенно не известная евангелическая книга 1732 г. анонимного автора («Horvaczko evangyelye»), находящаяся в Венгерской национальной библиотеке (Széchényi-Könyvtár), так называемый «Lektionar» Ладислава Валентича («Eriztole i vanyelja», 1741), два катехизиса в переводе неизвестных авторов («Horvatzski katekizmus Aliti kratak nauk kerschanszki», 1747 и «Obchinszke miszje», 1759), молитвенники Ловришаца Боговича («Hisa zlata», 1754), Годефрида Палковича («Duhovna kiticza», 1760), Еремаша Шоштарича («Marianszko czveche», 1766), Семеона Клефаца («Vrata nebeszka», 1804 и «Marianszko czveche», 1803), наиболее ценный в языковом отношении назидательный труд Эберхарда М. Крагеля «Csetvero-versztni duhovni perszta» (1763), неоднократно издававшиеся сочинения Йозефа Фицко (1824, 1829, 1836, 1837) и некот. др. Из литературной продукция светского содержания наиболее ценной находкой автора исследования является первый градищанский календарь на 1806 г. («Novi horvaczki kalendar na leto... 1806») и хорватско-немецкий школьный учебник («Slabikar aliti jimen knyuz'icza», 1806).

Хронологически источником языкового анализа послужили памятники, датированные в период между 1732 и 1836 гг. (частично использован также сборник народных песен Франа Курелаца «Jaske», созданный в первой половине XIX в., но изданный лишь в 1871 г.). В ряде случаев, однако, автор выходит за эти рамки, используя материал XVI в. в большей степени, XVII в. Так, в список основных источников почему-то попал судебный протокол 1625 г.; в разделе «Орфография» анализируются системы правописания в памятниках XVI в. (стр. 46—47), две стихотворные книги 1609 и 1611 гг. ранее неизвестного и открытого в 1969 г.

¹ См., например: N. Venić, Pjesništvo Gradišćanskih Hrvata, «Gradišćanski Hrvati (Posebna izdanja Sakavskog Sabora)», Zagreb, 1973, стр. 97.

² Градищанский исследователь М. Мершич считает верным прочтение этой фамилии, как Vuković. См. его книгу: «Znameniti i zaslužni Gradišćanski Hrvati», [Rijeka], 1972, стр. 11.

хорватского поэта Гргура Мекинича (Pythirgaues) и упомянутый ранее судебный протокол 1625 г. (стр. 47—49). Поскольку сборники Мекинича были открыты после того, как основная часть книги уже была написана, автор сумел лишь поместить образцы текстов из этих сборников (стр. 495—496), не меняя названия монографии.

С самого начала орфографические системы письменного ГХЯ XVI—XIX вв. развивались под влиянием венгерской и в тесном родстве с кайкавской традициями, хотя язык всех источников является чакавским. Венгерские лигатуры *sz*, *cz*, *gy*, *ly*, *ny* и др. используются в градицанских текстах (с теми или иными вариациями) для передачи соответственно *s*, *c*, *d*, *lj*, *nj* вплоть до 70—80-х годов XIX в.; с кайкавской традицией связано, например, обозначение *č* и *ć* обычно посредством *ch*, а затем и *cs*; диакритика впервые появляется лишь в 1806 г. (в издании «Slabikar...») и связана с попыткой обозначить *ž* посредством *z'* (до того *ž* смешивали с *š* или же обозначали особыми знаками). Лишь в последней трети XIX в. гайнца (созданная хорватским просветителем Людевитом Гаем хорватская латинизированная система) с ее характерной диакритикой постепенно вытесняет системы, в той или иной мере связанные с венгерской традицией.

В фонетической части монографии (стр. 53—86) показано, что перед нами чакавский диалект икавизированного типа, в котором *ě* дало в большинстве случаев *i* (*bižim*, *človik*, *viditi*), реже — *e* (*běli*, *tělo*) и еще реже — *to i*, то *e* (*dělonedilja*). Здесь, как и в целом по книге, автор приводит все встретившиеся в анализируемых текстах примеры. В сильной позиции *ъ* и *ь* всегда дают *a* (*dъch* — *nahdahne*, *osъlъ* — *osal*), *р* — обычно *u* (*subota*), реже — *o* (*sobota*), *е* — *e* (после мягких согласных и *j*: *jezik*). Характерная чакавская черта — переход ударного *o* в *u* — проявилась и в ГХЯ (*kuľik*, *tulik*); вторичное, или беглое, *a* используется уже широко (*misal*, *Turak*), хотя в некоторых случаях (*denas*, *meč*) и позициях (*dostojen*, *ošter*) возможно также *e*. Характерные для современных градицанских говоров дифтонги *je* и *jo* отмечены автором и в текстах (*diel*, *kuo*). Слововые *l* и *r* дали соответственно *u* (*dužan*, в одном случае — *i*: *dibak*) и *er* (*kerv*) (в последнем случае, вероятно, не без влияния орфографии). Старые *lj* и *nj* в отдельных случаях депалатализировались: *spasitel*, но *spasitelji*; *činenje* — вместо ожидаемого *činjenje*³.

³ В последнем примере автор усматривает явление диссимилятивной депалатализации, допуская при этом также и возможность действия «морфологической аналогии» с формами типа *jantenje*, *zamuđenje*, *prosenje* (стр. 73). Вряд ли можно

Одной из примечательных особенностей консонантизма является выпадение (характеризирующееся, однако, нерегулярностью) отдельных согласных в начале слова, как, например, *v* [*vladati* > *ladati*, но *vlas*; *vnogo* (< *mъnogo*) > *nogo* и др.], *p* (*ptica* > *tica*), *g* (*gdo* > *do*); что касается *h*, то его выпадение в приводимых автором примерах вряд ли следует объяснять неясностью этимологических связей слова (стр. 76). Причина, на наш взгляд, проста: выпадение *h* происходит в случаях, когда по соседству с ним оказываются согласные, значительно отличающиеся от *h* артикуляторными характеристиками: *hvaliti* > *valiti*, *shranjen* > *sranjen* и т. д. В приведенных же в книге примерах типа *hasan*, *dohajati* выпадения может не быть, поскольку *h* соседствует с гласными.

Ориентируясь на венгерский способ обозначения долгот гласных, некоторые авторы текстов (одни последовательно, как, например, Крагель, другие — реже, как, например, Фицко) снабжают слова акутовым знаком. Автор монографии подробно и тщательно определяет, в каких случаях знак служит для выражения долготы, звуковой окраски (тембра) слова или же собственно ударения (стр. 77—86).

В книге Л. Хадровича словообразование является одним из наиболее обширных разделов (стр. 86—187). Достаточно подробно описано образование существительных муж., жен. и ср. родов. Наиболее специфичными здесь являются: группа существительных на *-uš* (а также *-aš*, *-iš*), возникшая под венгерским влиянием (*biruš*, *jiliš*) и в дальнейшем достигшая большой продуктивности; существительные жен. рода с суффиксом романского происхождения *-ij* (*a*) (*permeštija* < нем. *Bergmeisteramt*), набирающие продуктивность, и уже достаточно высокопродуктивная группа с суффиксом *-b(a)* [*tužba* < *tužiti* и даже *protimba* от предлога *proti(v)*, по аналогии с *himba*, *obramba*, стр. 107]. Весьма интересна группа сложных прилагательных, созданных по немецкому образцу: *snigobel* (нем. *schneeweiß*), *hvaleuridan* (нем. *lobenswert*) и др.

На примере словообразования наречий блестяще показано становление одной из самых молодых славянских частей речи (стр. 146—159), причем вскрыты не только внутренние процессы образования наречий от других частей речи, но и (что характерно, пожалуй, только для ГХЯ, а также для тех славянских диалектов, которые граничат с немецким и венгерским языковым ареалом) показано, как

согласиться со вторым допущением, поскольку палатализация *n*, с одной стороны, и *t*, *d*, *s*, с другой, дала бы корреляты разного качества, ср. *n* — *nj* и *t* — *č*, *d* — *đ*, *s* — *š*.

эта молодая категория проявляет взаимную «помощь» по отношению к этим частям речи, например, к глаголу. Мы имеем в виду сильно развитую под немецким и венгерским воздействием тенденцию к переходу наречий в глагольные приставки⁴: *gori stati* [ср. нем. *auf(er)stehen*, венг. *felkelni/feltámadni*], *kraj pojti* (нем. *weggehen*), *naiper povidati* (нем. *vorausagen*), *najzad peljati* (нем. *zurückführen*, венг. *visszavezetni*), *prik dati* (нем. *übergeben*, венг. *átadni*), *skupa dojti* (нем. *zusammenkommen*) и др.

Рассматривая вопросы исторического словообразования, не следует, как нам думается, пренебрегать синхронным аспектом анализа языкового материала, т. е. тем, что в современной лингвистике известно как «синхрония в диахронии»; забывая об этом положении или недостаточно последовательно проводя его, исследователь может прийти к результатам, которые в той или иной мере будут противоречить фактам конкретно-исторического развития языка. Автору рецензируемой книги в некоторых случаях не удалось этого избежать. Так, к существительным муж. рода с деминутивным суффиксом *-ac(-ьса)* автор, наряду с такими формами, как *bratac*, *klinac*, *stolac*, производящие основы которых достаточно прозрачны (*brat*, *klin*, *stol*), относит также существительные *konac* «конец», *lonac* «горшок», *novac* «деньги», *otac* «отец» (стр. 96), производность которых можно, на наш взгляд, установить только на праславянском уровне (что иногда делается в книге, ср. выведение *konac* из *is-koni* и *na-čg-ti*). Для рассматриваемого периода отмеченные существительные называть деминутивными уже нельзя⁵.

Сомнительно также, чтобы для существительных жен. рода *gnjilina* «гниль» и *grmljavina* «гром» производящими были глагольные основы *gnjiti*, *grmiti* (стр. 108), а для глаголов типа *prigospodariti* «похозяйствовать», *namolestiti* «подсаждать», *romtriti* «помирить», *prisiliti* «вынудить; заставить» и даже *zaslužiti* «заслужить» и др. (стр. 162) — соответствующие существительные *gospodar*, *mesto*, *mir*, *sila*, *sluga*. Для *gnjilina* производящей основой послужила все-таки форма *gnjil* (*gnjila*), для *grmljavina* — *grmljav* (ср. на стр. 127 прилагательные типа *pukljav*,

irnjav и др.)⁶, для остальных существительных — соответственно глагольные формы (а не существительные): *gospodariti* (этот глагол упоминается на следующей странице книги), *mestiti* (*se*), *miriti*, *siliti*, *služiti*.

Ограничив себя рассмотрением только трех способов словообразования — суффиксального, словосложения (куда относится также префиксальный способ — из предлогов) и нулевой суффиксации, автор тем самым вынужден был трактовать формы типа *ponoviti* не как префиксально-суффиксальные (*po + nov + iti*), а как суффиксальные [*ponov + iti*, хотя формы прилагательного *ponov(i)* анализируемые тексты не подтверждают].

Морфологическая часть, хотя и занимает скромные размеры (стр. 188—264), содержит очень подробное и последовательное описание всех изменяющихся классов слов. Система словоизменения старого ГХЯ остается в основе также чакавской, хотя исследователем отмечены некоторые кайкавские черты (см. стр. 232, 237, 260 и др.). У существительных Л. Хадрович установил полное отсутствие колебаний в роде (что довольно частое явление в сербско-хорватских диалектах), а также последовательное употребление существительных *list* «письмо», «лист» и *lov* «охота» только в жеп. роде (стр. 188). Склонение существительных в основе то же, что в праславянском периоде. Из новых явлений интересен процесс постепенной утраты вокатива и замена его им. падежом (*očenaš* и *otac naš*), хотя в религиозных текстах этот падеж еще продолжает употребляться. Формы им. падежа мн. числа от существительных муж. рода унифицированы — имеют только флексии *-i*, без чередования заднеязычных (это сохраняется в современном ГХЯ): *vragi*, *duhi* (см. также стр. 200). Старое наращение у существительных ср. рода *-es* проявляется нерегулярно: *tvojih čud* «твоих чудес», но: *iz nebésih* «с небес» (стр. 197—199). У прилагательных ощущается остаточный характер именного склонения (*do mala vrištena*), в отличие от широко употребляющегося местоименного (стр. 225 и далее). Склонение же числительных, остающееся в основе чакавским, сложнее, чем в сербско-хорватском, так как наряду с древними формами возникли новые (обычно по аналогии); *četiri* «четыре» склоняется, как прилагательное во мн. числе, а числительные от 5 до 10 в им., род. и вин. падежах не изменяются (стр. 231).

Формы аориста и имперфекта еще используются, однако только в старых евангелических текстах, причем аорист-

⁴ Полнее это явление, открытое Л. Хадровичем, освещено в его статье «Adverbien als Verbalpräfixe in der Schriftsprache der burgenländischen Kroaten» («Studia slavica», 1958, 4).

⁵ А существительные с беглым *a*, возникшим в иноязычных словах (*harac* «борец» < венг. *harc*, *tanac* < нем. *Tanz* и даже *Ferenac* < венг. *Ferenc*), и вовсе никогда не были деминутивными и, следовательно, не имели суффикса *-ac* (см. стр. 97, а также 99).

⁶ Ср. эти формы причастия и прилагательного в словаре: P. S k o k, Etimološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knj. I. A — J, Zagreb, 1971, стр. 579, 623.

ная форма 3-го лица мн. числа *-še* перенесена и на имперфект (*andeli služāše njeti*, стр. 237). Нет уже различия между супинном и инфинитивом; видовая корреляция вполне продуктивна. Однако Л. Хадрович отмечает, что под немецким и венгерским влиянием авторы текстов часто путают и смешивают совершенный и несовершенный виды (стр. 189); для 3-го лица ед. числа императива все активнее используется конструкция *neka +* форма настоящего времени (*neka služi* «пусть служи»; старое деепричастие (*kleče* «стоя на коленях», *leže* «лежа») еще сохраняется, однако его остаточность уже ощутима, поскольку эти формы вытесняются новыми типа *gledajuć(i)* «глядя», *hvaleć(i)* «хваля» (см. стр. 189, 236).

Синтаксис — самый обширный раздел монографии (стр. 264—429). И это не случайно. В работах по истории сербско-хорватского языка вопросы синтаксиса всегда занимали самое скромное место. Синтаксис обходили стороной авторы наиболее значительных исследований сербско-хорватских памятников — Т. Маретич, М. Решетар, Ф. Фанцев, А. Вайан и др. В монографии Л. Хадровича синтаксису отведено одно из главных мест. Автор отказался от традиционного синтаксического анализа, предложив разработанный им так называемый функциональный метод, или учение/теорию (нем. *Funktionslehre*), который дает возможность «показать непосредственный ход языкового развития» (стр. 264) и проследить, как язык реализует созданные им слова и их формы в тексте, вкладывая в них каждый раз новое смысловое содержание (стр. 265). Раздел состоит из аналитической («Синтаксис классов слов и словоформ», стр. 265—380) и синтетической частей («Учение о предложении», стр. 381—429).

С особой тщательностью и пристальным вниманием к малейшим функциональным оттенкам рассматривает Л. Хадрович синтаксис именных частей речи: если это род существительных, то приводятся все зафиксированные исследователем особенности проявления этой категории в тексте (вместе с зависимыми словами, через посредство которых и определяется род); если это числительное, то подробнейшим образом описаны его функции в связи с соседствующими словами. Особо выделена развившаяся в ГХЯ под влиянием немецкого языка новая категория — артикль — на основе числительного *jedan* (стр. 280—281). Во всех деталях представлен синтаксис именных словоформ (стр. 286—362), причем функциональные особенности таких падежей, как род., дат. и вин., рассмотрены в плане их именного и обстоятельного использования. В монографии проанализированы падежные и функциональные особенности всех градицанских предлогов (их 44, исключая варианты). Такие пред-

логи, как *k*, *na* и некот. др., описаны с учетом их способности образовывать обстоятельные и именные конструкции. Глагол также описан в плане проявления его грамматических категорий — возвратности, вида, времени и т. д. (стр. 362—380).

В синтаксической части, касающейся простого предложения, представлено описание субъекта и объекта и согласование между ними, атрибута, приложения, средств связи частей предложения. Функции простого предложения рассматриваются в плане их традиционного деления на повествовательные, восклицательные, побудительные и вопросительные. В развитии бессоюзных предложений определенную роль сыграл немецкий язык (ср. *ako je tomu tako* < нем. *wenn dem so ist*, стр. 383), а на приложение оказал воздействие венгерский язык (не *apoštol Péter*, а *Péter apoštol*, стр. 388—389). Среди сложноподчиненных предложений Л. Хадрович особо выделяет группу придаточных, сформированных на базе четырех типов простых предложений, называя их «зависимым повествовательным», «зависимым вопросительным» и т. д. В традиционном синтаксисе они рассматриваются в изъяснительном типе. Относительные предложения Л. Хадрович делит на местоименно-соотносительный и присубстантивный, или определительный, подтипы. Выделение и именование остальных придаточных типов совпадает с традиционным — придаточные места, времени, условия, следствия (и модальные), сравнительные, причинные и целевые.

Словарный состав (стр. 430—493) письменных памятников, помимо общеславянских, сербско-хорватских и собственно чакавских элементов, содержит значительное количество калек и заимствований из итальянско-латинского, немецкого, венгерского, а также (реже) тюркского источников. Причем очень большая часть заимствований характерна и для кайкавского диалекта, что, как предполагает Л. Хадрович, говорит о длительном контакте будущих градицанцев с кайкавцами еще до переселения в нынешнее Градище (Бургенланд), а также о кайкавском влиянии уже на новой родине. Автор помешает глоссарий (стр. 440—493) с целью показать особенности формы и семантики заимствованных слов.

Последний раздел книги (стр. 495—539) особенно ценен: он содержит представленные в хронологическом порядке образцы текстов всех анализируемых памятников. В каждом конкретном случае сохранены оригинальные системы правописания, что дает возможность проследить их эволюцию. Читению монографии помогают обстоятельно составленные указатели — грамматических понятий и слов, отраженных в основной, грамматической, части. К книге приложено 12 факсимиле

первых страниц градищанско-хорватских печатных изданий XVII—XIX вв.

В заключение отметим, что труд Л. Хадровича является поистине пионерским. В нем впервые в славистической науке собраны и описаны ранее малоизвестные или вовсе не известные рукописные и печатные памятники градищанско-хорватской письменности. Впервые мы имеем достаточно полное и добросовестно выполненное лингвистическое описание этих памятников, могущее стать блестящим образцом для последующих работ в этом направлении. Можно сказать, что монографией Л. Хадровича в исторической грамматике сербско-хорватского языка (той ее части, что касается письменных памятников) открыта дорога к более широкому и разностороннему исследованию вопросов синтаксиса. Книга венгерского слависта несомненно является крупнейшим достижением южнославянского языкознания и славистики в частности. Однако ее значение не ограничивается только этим. Монография Л. Хадровича — это эпохальное событие в жизни современного градищанско-хорватского населения Австрии. Ее появления гра-

дищанцы ждали с нетерпением⁷, поскольку она не только открывала новую страницу в их культурной истории, но также подготовила «основы для создания будущей грамматики литературного градищанско-хорватского языка»⁸. Добавим также, что, по заявлению самих градищанцев, некоторые печатные памятники, открытые Л. Хадровичем, как, например, календарь на 1806 г., заставляют историков градищанско-хорватской литературы отодвинуть вглубь более чем на полвека хронологические рамки рождения литературы светского содержания (до появления книги Л. Хадровича единодушно считали, что первый градищанско-хорватский календарь был издан в 1864 г.).

А. Д. Дуличенко

⁷ См., например, статью: K. Preč, Otkriće dosad nepoznatih starih gradišćanskohrvatskih knjig. «Hrvatske novine», Zeljezno/Eisenstadt, 1973, 47, стр. 1—2.

⁸ N. B [en čič], Jedna izvanredna knjiga, «Hrvatske novine», 1974, 49—50, стр. 5—6; см. также заметку неизвестного автора «Impozantna studija o jeziku Gradišćanskih Hrvatov», «Hrvatske novine», 1974, 45, стр. 4.

E. Albrecht. Bestimmt die Sprache unser Weltbild? Zur Kritik der gegenwärtigen bürgerlichen Sprachphilosophie. — Berlin, Academie-Verlag, 1974. 185 стр.

Книга Э. Альбрехта, известного специалиста по логике и семиотике, представляет собой заметное явление в научной жизни Германской Демократической Республики. В этой работе рассматривается широкий круг проблем, оживленно обсуждаемых в настоящее время в мировой философской литературе.

Книга охватывает вопросы логико-лингвистического анализа, критику разного рода вариантов логического позитивизма и неопозитивизма, проблемы связи языка и философского мировоззрения. Хотя публикаций на эту тему было уже довольно много¹, работа Э. Альбрехта тем

не менее привлекает к себе внимание. Она интересна не только обращением к новейшим зарубежным лингвистическим и философским учениям, но и бескомпромиссностью своего критического подхода. В книге наглядно и с правильных методологических позиций показана языковая ситуация в ФРГ, дана принципиальная оценка аналитической философии, так называемой общей семантики и других школ философии языка. Исследования философских основ лингвистики представляют необходимую предпосылку для построения и разработки марксистско-ленинской теории познания. По этим понятным причинам необходимость четкой критической оценки различных форм проявления буржуазной философии в современном мире не вызывает сомнений. При этом нужно в первую очередь уяснить себе вопрос, почему проблема языка стала столь актуальной и считается даже одной из центральных тем современной буржуазной философии.

Одним из философов, концепцию которых Э. Альбрехт подвергает критическому рассмотрению, является О. Ф. Больнов. Больнов во многих своих сочинениях, в особенности в работе «Аспекты современной немецкой философии», пытается защитить идею определяющей ро-

¹ Ср.: В. З. Панфилов, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971, стр. 66 и сл.; Л. В. Уваров, Образ, символ, знак. Анализ современного гносеологического символизма, Минск, 1967; Н. Г. Комлев, Компоненты содержательной структуры слова, М., 1969, стр. 122; K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, I, Warszawa, 1960; W. Drogoszewski, Językoznawstwo a pogląd na świat, «Poradnik językowy», 1960, 4; «Naturforschung und Weltbild. Eine Einführung in philosophische Probleme der modernen Naturwissenschaften», Berlin, 1967.

ли языка в философии. Он полагает, что язык на протяжении столетий не привлекал серьезного внимания философов и ни в одной из философских систем прошлого не занимал центрального места. «Более того, со времени боконковского учения об идолах мы находим широко распространенную явную либо прикрытую вражду по отношению к языку. И если в последние десятилетия где-либо и была разработана собственно языковая философия, то это только у самих языковедов, таких, как Пауль или Есперсен, де Соссюр или Сепир, которые, в интересах исследования собственной проблематики, вынуждены были заняться философским осмыслением своего предмета. Это была так сказать домашняя философия языковедов, но со стороны профессиональных философов она находила мало внимания и еще меньше поддержки»².

Больнов констатирует далее, что эта ситуация в последнее время в корне изменилась. Указывая на работы Кассирера, Липса, Хайдеггера, Гадамера, Либрукса, он обращает внимание также на решающую роль, которую сегодня лингво-философские вопросы стали играть в англосаксонских странах. Игнорируя усилия марксистских философов и лингвистов по разработке этой проблематики, Больнов однозначно направляет свои идейные устремления против материалистического понимания языка. Особенно это вытекает из его работы «Язык и воспитание». Э. Альбрехт не соглашается с пятью ложными постулатами Больнова и приводит аргументацию в пользу своего несогласия. Эти постулаты следующие. Во-первых, Больнов утверждает, что человек, будучи «заключенным в круг своего языка», имеет ограниченное языком мировоззрение; во-вторых, мировоззрение одного человека отличается от мировоззрения другого человека в силу различия их языков; мировоззрение ограничено родным языком; в-третьих, не только мировоззрение, но и способ действий и поведение детерминированы предшествующим языковым опытом; в-четвертых, слово как инструмент общения не только истолковывает действительность, но и преобразует и формирует ее; наконец, Альбрехт критически анализирует пятый постулат Больнова о том, что язык не только соотносится с внешней действительностью, но и является орудием становления человека.

Проанализировав сущность лингвистического неопозитивизма и так называемого лингвистического анализа, автор приходит к заключению, что неоправданные претензии этих современных буржуазных философских направлений, нашедших распространение в Англии, Австрии,

Скандинавии, США, а в последнее время также в ФРГ, в особенности взгляд неопозитивистов о том, что философские обобщения представляют собой якобы результат злоупотребления языком, должны быть решительно отвергнуты.

Две философские школы XX в. — логический позитивизм (логический эмпиризм) и аналитическое (или лингвистическое) направление в философии — в существенной степени определяются работами Л. Витгенштейна. В центре исследований Витгенштейна стоит его работа «Логико-философский трактат» (1921). Известно, что в этом трактате высказываются основные мысли неопозитивизма, абсолютизирующие роль языка в процессе познания.

В своей работе Э. Альбрехт показывает, что философия Л. Витгенштейна как существенный источник логического позитивизма страдает следующим основным пороком — отказом проникнуть в существо явлений и путем познания объективных закономерностей способствовать овладению закономерностями мира. Несмотря на ряд ценных частных результатов в области логики и семантики, такая философия не способна быть мировоззренческой и методологической основой частных наук. Она не в состоянии помочь человеку ориентироваться в политико-социальных задачах нашего времени, так как, вопреки мнимой критике в адрес традиционной философии и разоблачению ее как метафизики, философия Витгенштейна ведет к агностицизму и иррационализму. Она представляет собой, как и весь выводившийся из нее неопозитивизм, выражение кризисного состояния буржуазного сознания XX в.

Переходя к критике влияния Ч. Пирса на лингвистический позитивизм, Э. Альбрехт квалифицирует последнего как основателя прагматизма. Прагматической называет Э. Альбрехт также и триадную классификацию знаков, а семиотику как общую теорию знаков в ее субъективно-идеалистической форме он характеризует как ничего общего не имеющую с материалистическим пониманием знака. Пирсом знак определяется как то, что объявляется знаком, причем каждое нечто в принципе может быть объявлено знаком.

На «триадной знаковой функции» основывается разработанное Ч. Моррисом понимание «измерения знака». Отсюда же выводится и его дефиниция семиотики как науки о знаковпроизводительном поведении человека, а вслед за этим и деление семиотики на с е м а н т и к у как учение, исследующее знаки в их связях с обозначаемым ими объектом, на с и н т а к т и к у как теорию формальных отношений между знаками и п р а г м а т и к у как учение, которое исследует знаки в их отношениях к тем, кто их производит, воспринимает или понимает. Между

² O. F. B o l n o w, Aspekte der gegenwärtigen deutschen Philosophie, «Universitas», 1965, 8, стр. 815.

позитивизмом и учением Пирса существуют явные точки пересечения, что подтверждает, например, их единый подход к критерию истины.

Критикуя В. Крафта, Э. Альбрехт показывает, что логический анализ языка без учета отношения языка к объективной действительности до сих пор оказывал тормозящее воздействие на развитие науки. Дело в том, что если мышление отрывается от реальности, как это имеет место у Р. Карнапа и многих представителей Венского кружка, то язык становится собранием пустых слов, знаковой системой, которая фактически не тождественна даже искусственным знаковым системам, ибо она отрицает всякое объективное содержание.

Поскольку неопозитивисты в знаках, используемых в языке науки, не усматривают никакого объективного значения (оно выводится только из синтаксиса), то для них истинность или ложность существуют не в соответствии наших мыслей объективной реальности, а в употреблении слов или злоупотреблении ими, т. е. в способе связи знаков друг с другом. Неопозитивист Штегмюллер, последовательно продолжающий линию Карнапа, Тарского, Айера и Крафта, характеризует истину как зависящую лишь от языковой системы величину.

Когда неопозитивисты начинают говорить о вопросах этики, педагогики, литературы или политики, они отстаивают идеи, которые служат интересам реакционной буржуазии. Оспаривая познавательный характер всех оценочных суждений и приписывая познавательную ценность только научным высказываниям, — таковые они сводят к естественнонаучным и логико-математическим, — они, подобно апологетической буржуазной философии второй половины XIX в., расклевывают единство науки. Особенно неокантианцы Виндельбанд и Риккерт старательно обосновывают существование пропасти между культурно-научными и естественно-научными областями, между историческими науками и законополагающими науками: абсолютно противопоставляются друг другу так называемые идеографические и номотетические науки³. Позитивистское противоположение научных высказываний, которые выражают знания, и оценочных суждений, ко-

торым не может быть приписан познавательный характер, несет явную агностическую окрашенность. Неудивительно, что один из теоретиков неокантианства Г. Рорахер развертывает аргументацию, имеющую целью показать, что искусство и наука диаметрально противоположны по своим методам. Э. Альбрехт считает, что такое противопоставление в теоретико-познавательном отношении несостоятельно, что искусство и наука имеют одну систему отношений — действительность, т. е. реальный внешний мир. То, что объединяет науку и искусство — это их теоретико-познавательная ценность.

В следующем разделе работы, озаглавленном «Общая семантика как политический инструмент антикоммунизма в США», автор показывает, что и это направление абсолютизирует лингвистический анализ. В отличие от традиционного понимания семантики, под этим учением подразумевается не семасиология, а наука о человеческом общении через посредство языка. Мнение, что язык во всех случаях есть инструмент социального общения, в капиталистических условиях оказывается иллюзией и пропаганда этого тезиса представляет собой намеренное или в отдельных случаях субъективно произвольное оправдание существующего общественного строя. По мысли автора книги, семантический анализ на базе позитивизма служит только реакционным политическим целям империализма. Вместе с тем автор подчеркивает, что семантический анализ на базе диалектического и исторического материализма так же правомерен и оправдан, как и логический анализ языка, хотя, конечно, эти методы столь же мало могут быть универсальными методами получения истины, как и метод математической логики.

В главе «Находятся ли языковая структура, картина мира и структура культуры во взаимозависимости?» автор выступает против реакционной идеи о так называемых «примитивных» языках и связанной с этим точки зрения, что соответствующая структура языка определяет и структуру культуры и картину мира. Экзистенциалистский тезис о неперевоодимости и лингвистический агностицизм выводятся из идей французского позитивиста Леви-Брюля, находившегося под влиянием теории Дюркгейма. Известно, что эта идеология оправдывала французский империализм. Противопоставление «пралогического» и логического мышления противоречит всем известным фактам и вытекающим из них обобщениям. Автор показывает на конкретном примере, к чему может привести ложное истолкование структуры языка. Так, Чань Тунь-Сун утверждает, что западная логика основывается якобы на законе идентичности (тождества), а базисные структуры китайского языка — на систе-

³ «Номотетические» науки в терминологии В. Виндельбанда (1848—1915) — это науки, которые занимаются формулированием общих закономерностей, не вдаваясь в описание отдельных фактов. Ими должны быть естественные науки в отличие от наук исторических, не способных якобы сформулировать никаких законов и занимающихся описанием единичных, неповторимых фактов. Эти последние называются «идеографическими» науками.

ме корреляций. Китайская система, по мнению Чань Тунь-Суна, если вообще ее можно назвать системой, не основывается на законе идентичности. Далее он говорит: «Марксизм в своем существе это философия, занимающаяся политическими и общественными процессами. Марксизм отличается от китайского мышления тем, что главный акцент он ставит на противоречие и тем самым на классовую борьбу, в то время как китайское мышление делает упор на результат или предопределение такого противоречия. Марксистский вариант логики можно назвать „логикой противоречия“ и тем самым отличить его от китайской корреляционной логики»⁴. Из критики понятия об идентичности языковой структуры, картины мира и структуры культуры Э. Альбрехт делает верное заключение, что подобная идеология, пытающаяся противопоставить так называемое «западное» и «незападное» мышление, является полностью ненаучной.

Таким образом, на поставленный в заглавии книги вопрос, определяет ли язык нашу картину мира, Альбрехт отвечает отрицательно: «Переведенные почти на все языки земного шара произведения классиков марксизма-ленинизма понимаются рабочим классом и трудящимися всех стран и стали основой борьбы против империализма и за национальное освобождение, демократию и социализм. Картина мира определяется, следовательно, не языком, ибо это означало бы, что существует столько мировоззрений, сколько языков или языковых семей. „Теория“ языковой картины мира связана с отрицанием законов отражения мышлением объективной реальности посредством языка и направлена против логики и марксистско-ленинской теории познания» (стр. 82).

Другая разновидность неопозитивизма — структурализм, — напротив, отрицает взаимосвязь и взаимообусловленность указанных феноменов. В последующем разделе автор говорит о разрушении структурализмом единства языка, мышления и действительности. Структурализм, по убеждению Альбрехта, под теоретическо-познавательным углом зрения и в аспекте его политической функции как идеологии монополистической буржуазии тесно связан с неопозитивизмом и общей семантикой. Автор подвергает критике работы Соссюра, Якобсона, Леви-Стросса, Хомского, Катца, Фодора и других, показывая, что, будучи перенесенными на социально-политическую базу, эти структуралистские взгляды ведут к механицизму и формализму.

Критикуя структурализм, надо помнить, однако, что это направление довольно неоднородно как в историческом развитии, так и в современном его разветвлении. В пору становления структурализма в языкознании и литературоведении его сторонники стремились, несмотря на антифилософскую направленность работ его некоторых представителей, преподнести структуралистскую идеологию в качестве новой философии, которая должна была занять место старых субъективистских систем. Более того, в середине 60-х годов нашего столетия широкие круги интеллигенции, как свидетельствует, например, французский исследователь Л. Сэв, воспринимали структурализм «как новую и свободную форму приобщения к марксизму»⁵. Само понятие структуры современная мысль восприняла из гегелевской и в еще большей мере из марксистской диалектики. «Можно с полным основанием утверждать, что понятие структуры было впервые научно применено основоположниками научного коммунизма в середине XIX в. к такому явлению человеческого бытия, как само общество...»⁶.

Этот подход принес немало позитивных результатов и в иных сферах приложения, включая лингвистику, литературоведение, филологию вообще, этику, эстетику и другие области.

Таким образом, сам структурный подход к явлениям, в том числе к языку, закономерен и вполне научен⁷. Однако многие его модификации в своих основах вылились в отрицание содержания и генезиса явления (текста, в частности, художественного произведения), возводя в абсолют поверхностную формальную структуру его элементов.

И поскольку — в этом Э. Альбрехт совершенно прав — марксистско-ленинское мировоззрение как научная идеология находится в непримиримом противоречии со всеми формами буржуазной иде-

⁵ Л. Сэв, О структурализме (Заметки об одной из сторон идеологической жизни Франции), в кн.: «Теория, школы, концепции. Художественный образ и структура», М., 1975, стр. 8.

⁶ Там же, стр. 9. Л. Сэв имеет в виду работу К. Маркса «Г критике политической экономии».

⁷ Ср. например: «Язык как вторичная материальная система обладает структурой, понимаемой как его внутренняя организация» (В. М. Солнцева, Язык как системно-структурное образование. М., 1971, стр. 25 и сл.). Уже 30 лет назад Р. А. Будагов успешно использовал термин «структура» для синтаксических описаний (см.: Р. А. Будагов, Семантика слова и структура предложения, «Уч. зап. ЛГУ», 69, Серия филол. наук, 1946, 10, стр. 153—172).

⁴ Chan Tung-Sun, Chinesen denken anders, «Wort und Wirklichkeit. Beiträge zur allgemeinen Semantik», Darmstadt, 1968, стр. 275—276.

логии, оно не может не выступать против таких разновидностей структурализма. Структурализм, выдающий себя за направление, «свободное от идеологии» и желающее разорвать все «идеологические схемы», сам глубочайшим образом связан с идеологией. «Ибо идеология это не самостоятельная форма сознания, она принимает соответствующую форму в связи с другими формами сознания» (стр. 97).

Особый интерес представляет для советского читателя последний раздел книги «Замечания по вопросу о лингвофилософской ситуации в ФРГ». Известно, что влияние структурализма и аналитической философии языка, а также общей семан-

тики в ФРГ собственно не велико. Однако там огромное распространение получили лингвофилософские идеи Л. Вайсгербера и экзистенциалистов Хайдеггера и Ясперса. На фоне анализа и критики названных идей автор представляет читателю ряд западногерманских апологетов такой идеологии и приводит развернутую принципиальную критику в их адрес с позиций марксизма-ленинизма.

Работа Альбрехта читается с интересом, поскольку она затрагивает вопросы, выдвинувшиеся сейчас на авансцену научных споров. Книга написана в живой, полемической форме.

Н. Г. Комлев

И. М. Мальцева, А. И. Молотков, Э. М. Петрова. Лексические новообразования в русском языке XVIII в. — Л., «Наука», 1975. 371 стр.

Вышла из печати еще одна коллективная монография из серии «Очерков по исторической лексикологии русского языка XVIII века», выпускаемых словарным сектором Института русского языка АН СССР. Данная монография по тематике и основной направленности исследования фактов становится в ряд с ранее вышедшей книгой «Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного в русском литературном языке XIX века» (М., 1964), хотя последняя включается в серию изданий иного рода (грамматических). Этой же общей проблеме была посвящена известная работа Ю. С. Сорокина «Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы XIX века» (М. — Л., 1965). Рецензируемая книга предвзвешивает оба названные исследования по хронологической отнесенности описанного материала, смыкая этим изучение словообразования нового времени с теми наблюдениями, которые сделаны в нашей науке на базе письменных памятников средне-русского периода.

Во введении к книге справедливо указывается на то, что в XVIII в., в связи со значительными преобразованиями в общественной и культурной жизни, русский язык пополняется чрезвычайно большим количеством лексических новообразований, причем использование тех или иных словообразовательных средств в ряде случаев приводит к их дальнейшему развитию и типизации. Постоянный учет авторами этого последнего фактора увеличивает широту проблематики исследования, выводя ее за пределы круга вопросов, непосредственно входящих в означенную тему.

Говоря о достоинствах этой интересной и нужной книги, хочется, прежде

всего, отметить предельную строгость в отборе материала. Авторы остановились на новообразованиях в кругу имен существительных, имен прилагательных и отыменных глаголов, четко определив для себя аспекты их описания. Именно это позволило в ряде случаев ограничить задачу многообразия лексики без ущерба для общего замысла исследования. Все выбранное для анализа получает детальное толкование, четкую содержательную и хронологическую характеристику. Ни в одном из разделов книги не замечается той «приблизительности» в оценке фактов, которая так характерна для ряда работ очеркового типа, охватывающих более или менее широкий круг явлений.

Исследование новообразований в лексике определенного хронологического этапа развития языка предполагает постановку ряда важнейших вопросов, как непосредственно связанных с историей общественной жизни и культуры народа, так и чисто лингвистических. Из вопросов первого рода необходимо отметить, прежде всего, вопрос изучения тематической отнесенности вновь образованной лексики (а нередко и ее категориально-грамматической характеристики), а также выяснение тех каналов, по которым она проникала в речевое общение, конкретных стимулов, «начальных пунктов» ее вхождения в систему языка и дальнейшего распространения. Из вопросов второго рода хочется подчеркнуть важность выяснения фактора продуктивности различных словообразовательных типов и моделей и исследования тех многообразных семантических связей, которые ставят изучаемые группы на определенные места в общей лексической системе языка. Следует сразу же заметить, что все эти вопросы, определяющие, как нам ка-

жется, научную значимость монографии подобной тематики, предусмотрены авторами и успешно ими решаются в рецензируемой книге, так же как и множество других вопросов, связанных с языковой системой или особенностями речевого употребления изучаемых лексических единиц.

Тематическая характеристика новообразований во многих случаях предусматривается самими классификационными рубриками (см., например, лексико-тематические группы новообразований на *-ство* в кругу имен существительных, новообразования от названий животных в кругу имен прилагательных, семантико-тематические группировки внутри двух общих лексико-семантических групп глаголов) либо особо выделяется при изложении внутри характеристики новообразований по их лексико-семантической принадлежности (тематическая отнесенность прилагательных с суффиксами *-н-* и *-ов-*, прилагательные в составе терминологических сочетаний из определенных областей социальной жизни и др.). Такая подача материала способствует четкому определению тех сфер общественной деятельности, где появление новых понятий было наиболее интенсивным и (что особенно интересно для лингвиста) показывает тот круг понятий, для которых надобность в специальном, иногда более точном, обозначении была особенно актуальной. Приложенный к тексту словник включает основной комплекс новообразований в их конкретном выражении и дополняет, таким образом, те сведения по их тематической (как и словообразовательной) стороне, какие читатель может извлечь из самого изложения.

В книге уделено большое внимание выяснению непосредственных причин и конкретных путей появления той или иной группы слов. Эта линия более широко и последовательно проведена в двух обширных по объему и материалу частях монографии, посвященных именам. В поле зрения авторов постоянно находится проблема различения лексики, образованной от иноязычных производящих основ, и прямых заимствований из родственных языков, а также другие частные вопросы, связанные с соприкосновением русского языка с другими. В этом отношении интересны, например, наблюдения, касающиеся образования некоторой части существительных на *-ость*, прилагательных на *-ный*, *-овый* и др. Весьма показателен материал, касающийся таких стимулов появления новых слов, как необходимость нахождения русского эквивалента при переводе и т. п. Обращают на себя внимание сведения этого рода, изложенные в аспекте сравнения различных языковых систем, которые содержатся в разделе, посвященном отсутствию прилагательным. Особняком в отношении постановки данных вопро-

сов стоит III часть монографии, наиболее четкая по интерпретации материала в русле теории словообразования, лексикологии и лексикографии, но почти не осложненная наблюдениями по части влияния внешних факторов на то или иное конкретное явление. Впрочем отчасти это может объясняться иным характером самого языкового материала (главная лексика).

Вопросы продуктивности словообразовательных типов непосредственным образом входят в проблему изучения самой словообразовательной системы в определенный период языкового развития. Для XVIII в., как времени интенсивного формирования структурных особенностей в системе языка и норм литературной речи, они приобретают особую важность.

Авторам удалось показать появление ряда новых моделей в кругу исследуемых классов слов, особенности ограничений в словопроизводственной базе, характерные именно для периода XVIII в., и другие конкретные проявления деривационного процесса. Особой тщательностью в анализе особенностей связи производящей основы и суффикса отличается описание новообразований в сфере прилагательных.

Теоретическое значение словообразовательного материала, содержащегося в книге, который ценен уже одной своей познавательной стороной, увеличивается тем, что авторы описывают его с учетом фактора супплетентности. Так, читатель имеет возможность увидеть взаимозависимые тенденции, которые проявляются в конкуренции суффиксов имен существительных *-ость* и *-ство*, имен прилагательных *-ов-* и *-н-*, глаголов *-а-*, *-ова-* и производного *-нича-* и т. д. В разделе, посвященном глагольной лексике, вопрос супплетентности введен в диахроническую сферу и удачно совмещен с теоретическими установками автора, касающимися двух типов новообразований: 1) слова, возникшие в связи с необходимостью выразить новые понятия, и 2) слова, заменившие те старые образования, которые не соответствуют по своей форме складывающимся в языке системным отношениям (см. вводные замечания на стр. 248).

Замечания общего, принципиального характера в связи с изложением словообразовательного аспекта темы даны излишне скупо в I части книги, посвященной именам существительным. Это приводит в отдельных случаях к затруднениям в оценке явлений. Так, известно, что малая частотность употребления той или иной группы лексем может зависеть как от слабой продуктивности словообразовательной модели, так и от других, внутренних или внешних по отношению к деривации причин. В связи с этим такой, например, факт, как установление процентного соотношения образований

на -ость от основ иноязычных прилагательных по сравнению с дериватами от русских и славянских прилагательных (всего около 2%) ставит читателя перед вопросом: объясняется ли это словообразовательными ограничениями, связанными с иноязычными звуковыми комплексами, степенью языковой ассимиляции самих источников (т. е. иноязычных прилагательных) или, наконец, тем, что столь же невелика в это время их доля в общем количестве имен прилагательных. Не хватает в некоторых случаях и объясняющих замечаний при включении в одну рубрику неоднородного материала. Общеизвестно, что при описании словообразовательных групп лексики приходится считаться с фактом перемещения словообразовательных связей в результате исторических изменений в семантической мотивированности деривата. Об этом явлении сказано в ряде мест книги, но все-таки представляется нежелательным без непосредственной оговорки давать перечень имен от основ глагольных и глагольно-именных прилагательных, включая в него такие полярные образования, как *знатность* или *складность* (где связь адъективной основы с глаголом, по-видимому, только генетическая¹) и *нежность* или *зычность* (где связь адъективной основы с глаголом, напротив, только семантическая).

Следует, однако, отметить, что критическое замечание по поводу недостаточного количества звеньев, связывающих конкретный языковой материал I части книги с общими теоретическими положениями, не касается аспекта семантической характеристики лексики. Этот аспект представлен детальным исследованием лексико-семантических разрядов имен внутри их словообразовательных типов с необходимыми обобщениями. То же самое можно сказать о других разделах рецензируемой работы. Авторам удалось показать конкретную реализацию связи семантических свойств исследуемых классов слов с их словообразовательной природой.

¹ См. толкование слова *знатный* в «Словаре Академии Российской», СПб., 1792, ч. III, стр. 93—94.

Частные закономерности, в которых проявляется зависимость семантики слова от источников и средств его образования, представлены читателю во всем том многообразии, какое мог дать использованный материал.

В рецензируемой работе удачно соединяется аспект показа системных связей внутри определенных групп лексики с вопросами исторической судьбы тех или иных лексических групп. Факторы изменения семантической структуры слова, устранения дублетности пар и т. п. обычно получают необходимые объяснения. Можно сказать, что анализ материала в книге в целом спроецирован в диахронию, хотя в различных ее частях и параграфах эти проекции в разной степени теоретически обоснованы и в разной степени последовательны или случайны.

Специальную теоретическую преамбулу содержит раздел монографии, посвященный отыменным глаголам. Данная преамбула отнюдь не представляется излишней, и поэтому было бы целесообразно предварить эти вводящие замечания (разумеется, сняв специальную ориентацию на глагол) всю книгу, а не только ее последнюю часть. Это было бы вполне возможно, поскольку кардинальных расхождений в авторских позициях различные части книги не показывают. Эти части неодинаковы лишь по степени подчиненности соответствующим исходным позициям самого анализа языковых явлений.

В ряде случаев можно спорить с авторами по поводу интерпретации отдельных явлений, соглашаться или не соглашаться с классификацией и методом подачи языкового материала, но книга в целом, бесспорно, должна быть оценена положительно и квалифицирована как нужное, ценное для нашей науки исследование. Огромная предварительная работа коллектива, которая видна по страницам этой книги, сообщает содержащимся в ней сведениям ту необходимую надежность, которая очень важна при построении здания исторической лексикологии и словообразования.

В. Л. Георгиева

Н. Б. Базилина. История цветообозначений в русском языке. — М., «Наука», 1975. 288 стр.

Книга, посвященная истории цветообозначений в русском языке, оказалась весьма своевременной: тираж 4300 экземпляров разошелся в очень короткий срок. Казалось бы, частная специальная тема предполагает узкий круг читателей. Однако история цветообозначений, их функ-

ционирование и жизнь в современном языке привлекают внимание все более широкого круга исследователей и читателей. Сам автор подчеркивает, что «в последние два десятилетия к лексике цветообозначений проявляется явный интерес как в зарубежной, так и в советской линг-

вистике» (стр. 3) и полагает, что «изучение цветообозначений стало своеобразной „модой“» (стр. 5)¹.

Попытаемся разобраться в том, насколько интерес к цветообозначениям обусловлен самой жизнью и возможно ли этот интерес, особенно в последнее время, столь легко назвать «модой»?

Памятники XI—XII вв. демонстрируют, как может показаться с первого взгляда, почти безразличное отношение русского языка к цветовым обозначениям. Автор исследования напоминает о том, что внимание творцов древнерусских памятников не было сосредоточено на деталях, портретные характеристики и описания пейзажей были весьма лапидарны. Эти особенности повествования наглядно раскрываются при сравнении славянских переводов и их оригиналов, в частности, арабских, сирийских, армянских (см. стр. 15—17). В переводах, как правило, опускаются описания одежды, внешности, где, как известно, чаще всего даны именно цветовые характеристики. Можно сказать, что средневековая наша литература, как черно-белое кино, не знала цвета: главное — передать цепь событий, динамику их развития, движение (стр. 52 и сл.).

Между тем реальная действительность была многоцветной, и деловые бумаги уже отражали это многоцветье: паспортные характеристики тех или иных лиц, описание товаров — качество, фактура, цвет. Автор на конкретном материале раскрывает значение деловых записей: деловое письмо играет вполне определенную роль в формировании цветообозначений (стр. 70 и сл.).

Реальная многокрасочная жизнь врывается в художественную литературу словесным цветовым портретом, цветным пейзажем, интерьером (XVII в.). Заметим, уже на заре кинематографа, во времена камеры-обскуры, возникла мечта снимать все «как... есть, с абрисом и красками»². Еще ранее пытались соединить звук с цветом, создать цветомузыку³. В наш век цветного кино, цветного телевидения, цветной рекламы внимание к цвету закономерно. Сравним обилие газетных цветовых метонимий и метафор: *зеленая улица* (свободный путь

в прямом и переносном значениях), *зеленый друг* (лес), *голубой экран* (телеэкран), *голубые дороги* (воздушные и водные пути), *голубые плантации и нивы* (пруды для разведения рыбы), *золото голубое* (гидроэнергия), *зеленое* (чай), *черное* (нефть, уголь, чугун), *белое* (хлопок, рис) и т. п.

Очень ценна попытка Н. Б. Бахилиной на конкретном материале представить всю картину развития цветообозначений в русском языке: цветовой канон, определенный ряд постоянных эпитетов в литературе и цветовое разнообразие в деловом языке (от XI до XVII в.). В XVII в. в литературе впервые начинает проявляться интерес к цвету» (стр. 265). К середине XVIII в. оформляется лексико-семантическая группа цветообозначений, в общих чертах уже близкая к современной (стр. 266). Так сам авторский замысел — показать исторический путь развития цветообозначений вместе с формирующейся в русском языке категорией качества — определяет композицию книги.

Исследование Н. Б. Бахилиной состоит из двух частей. Часть первая — «История формирования лексико-семантической группы цветообозначений» — посвящена «цветообозначениям в памятниках XI—XIV вв.» (1 гл.) и «цветообозначениям в памятниках XVII в.» (2 гл.). Часть вторая — «История групп цветообозначений, переживших наиболее значительные изменения» — распадается на пять глав, каждая из которых представляет одну цветовую группу. Объединяются цветовые прилагательные вокруг доминанты, которая наиболее обобщенно выражает тот или иной цвет и функционирует в современном русском языке как абсолютное цветовое обозначение. Это группы красного (1 гл.), синего (2 гл.), коричневого (3 гл.), оранжевого (4 гл.) и фиолетового (5 гл.) цветов.

Цветообозначения позволяют показать давние родственные связи славянских и — шире — индоевропейских языков и языковые контакты более позднего времени. Ср. гнездо слов с индоевропейским корнем **rudh-* (*рудой* — *румяный*) и более поздний «фиолетовый» ряд с устойчивейшей еще дифференциацией цветовых оттенков (*фиолетовый*, *сиреневый*, *лиловый*).

Формирование цветообозначений связано с разными свойствами предметов. Так, цветообозначения группы *рудой* — *румяный* означали природные цвета: цвет лица, кожи, цвет волос, шерсти или цвет неба, земли, растений, т. е. того, что не было окрашено самим человеком (стр. 133). Цветовые определения могли быть обобщенными (*белый* «светлый», *синий* «темный»). Ассоциативные связи цветовых определений способствовали развитию символики (*белый* — ангельский), но эти же связи определяли

¹ См. об этом, в частности: S. S k a g d, The use of colour in literature. A survey of research, «Proceedings of the American philosophical society», 90, 3, 1946 (1183 названия). В поле зрения автора работы о цветообозначениях — американские и западноевропейские.

² В. Ф. Одоевский, 4338-й год. Петербургские письма, М., 1926, стр. 22 (этот фантастический роман написан в 1837—1839 гг.).

³ См. об этом: К. Леонтьев, Музыка и цвет, М., 1961, стр. 25—28.

и конкретно-предметные значения (*каурый, вороной «конь»*).

Опираясь на данные, привлеченные Н. Б. Бахилиной, нужно особо подчеркнуть, что формирование норм словоупотребления зависит от того или иного хронологического периода с его социальными и эстетическими особенностями. В этом свете не представляется безоговорочным утверждение, обычно не вызывающее возражений, что «практически нормы литературного языка „добываются“ путем наблюдений над словоупотреблением авторитетных писателей»⁴. Норма ориентируется не только на сознательное индивидуальное словоупотребление, но и на коллективное, общепринятое словоупотребление. Поэтому так велика роль делового и разговорного языка. Жаль, что автор рецензируемой книги, переходя к современности (XIX—XX вв.), не обращается к языку газет, радио, телевидения, к разговорной речи и к судьбе цветообозначений в этой речевой сфере. Автор опирается в этой части своего исследования лишь на язык «авторитетных писателей».

Проанализированный автором книги большой «цветовой» материал с XI в. до текущих десятилетий XX в., хотя и представленный избирательно (в текстах или таблицах), позволяет проследить прихотливый путь развития цветообозначений. Н. Б. Бахилина выделяет две линии в развитии цветообозначений: литературную и специальную, терминологическую, противопоставляя их в оппозиции «неточное — точное». Эпитет *синие* в сочетании *синие волосы*, взятый из литературных источников, противопоставит по степени точности паспортной характеристике — волосы *красносеры* или *желты*, так как передает оттенок, бросающийся в глаза, а не сам цвет волос (стр. 265). Однако сравним аналогичные терминологические сочетания, специальные наименования: *голубая лошадь*, *голубой песец* (см.: В. Даль, Толковый словарь).

Специальные, терминологические цветообозначения подчинены требованиям точного определения, но «яблочно-зеленый цвет в минералогии» (стр. 265) так же, как и «медово-желтый», условен и в достаточной степени не точен. «Ведь яблоки бывают самых различных оттенков: темно-зеленые незрелые плоды, бледно-зеленые „антоновские“, желтовато-зеленый „апис“... Или мед: если он липовый, то цвет его почти белый..., а если гречишный, то темно-коричневый. Так на какой же сорт меда похож минерал, описываемый в учебнике как „ме-

дово-желтый“!»⁵. Или ср. рекомендацию из «Правил о рисовании цветов»: «Арбуз бывает темно-зеленого яблочного цвета».

По-видимому, здесь необходим функциональный подход, который устранил прямолинейность оппозиции «точность — неточность». В художественной литературе коммуникативная функция эпитета переплетается с функцией эстетической. В то время как в других сферах языкового общения господствует функция коммуникация.

Цветообозначения в ранних источниках — это сравнения с известными предметами: земля, песок, глина, червец. Сила конкретных представлений препятствует образованию «пустой» абстракции, абсолютизации цветового значения. В абстрактном наименовании теряется выразительность конкретного образа. Слово с забытой этимологией оказывается условным, но удобным наименованием определенного цвета. Автор предлагает проследить историю абстрактного наименования *красный* в ряду *рудой (рудый) — румяный — червлень (червлень) — черчатый* и др. (стр. 108—173). Сила конкретных представлений поддерживает ассоциативные связи «цвет — сравнение — образ». Поэтому в наши дни часто наблюдается потребность заменить абстрактные цветообозначения конкретными, в особенности в художественной литературе. Ср.: *глаза цвета пчелы, жолудя, фиалковые глаза* (И. Бунин), *капустные глаза* (М. Шолохов), *цинкового цвета море, цинковый туман* (К. Паустовский).

Интересно отмеченное автором явление своеобразной цветовой тавтологии. Если утеряна прозрачность конкретного цветового наименования, то оно теряет образность. *Оранжевый* цвет (франц. *orange* «апельсин») — «...русские люди (в том числе и образованные, знающие иностранные языки), не связывают его с цветом апельсина» (стр. 243). Сложное прилагательное — *апельсиново-оранжевый* (М. Шолохов) — оживляет конкретно-предметные связи.

В цветообозначениях уже в древний период развиваются переносные осмысления: *очи белы* (т. е. ясные, чистые, светлые; ср. знаменитые *лучистые глаза* княжны Марьи у Льва Толстого); *ризы смаглы* (темные, звук печали). Интересны ранние цветовые метонимии и метафоры: *зелено вино*. Это словосочетание вряд ли можно ставить в один ряд с *каша зеленая с маслом* или *патока зеленая* (стр. 83—84). *Зелено вино* — вино из винограда, ассоциативно связанное с зелеными виноградными лозами. Буквальное цветовое значение (*зеленый*) переплетается с переносным и превращается как бы в пе-

⁴ К. С. Горбачевич, Нормы литературного языка и толковые словари, сб. «Нормы современного русского литературного словоупотребления», М.—Л., 1966, стр. 11.

⁵ В. В. Шаронов, Свет и цвет, М., 1961, стр. 107.

цветовое — относительное. Ср.: *зеленое вино* — виноградное вино и хлебные и медовые напитки⁶. На цветových прилагательных наглядно проявляется и закон полисемии: сквозь новое переносное значение как бы просвечивает основное — цветное⁷. Ср. *зеленое вино, голубой цветок* (символ романтизма), *красная гвоздика* (цветок революции), а также *желтая пресса, розовые очки, голубая мечта* и т. п.

На фоне истории формирования цветообозначений вообще (I часть рецензируемой книги) автор предлагает проследить «историю групп цветообозначений, переживших наиболее значительные изменения» (II часть). Каждая группа цветových прилагательных объединяется, как уже отмечалось, вокруг определенной доминанты, ставшей абсолютным цветообозначением: *красный, синий, коричневый*... Входящие в одну группу цветových наименования выражают разные оттенки одного понятия цвета и синонимизируются. Ср. *бурый* (конь — сивка-бурка, корова — буренка, земля), *карий* (глаза, очи), *коричневый* (сочетаемость почти беспредельна).

Заметим, цветовая доминанта близка к понятию родового значения. Собственно родовое наименование для цветового ряда может быть как бы бесцветным. Оно выражает общее понятие присутствия или отсутствия цвета, окраски: светлый — темный, цветной — бесцветный, цветной — черно-белый и т. п. Можно даже сказать, что в древнерусских памятниках литературы мы обнаруживаем прежде всего родовые обозначения цвета. Синонимический ряд выражает уже

дифференцированные оттенки одного цвета. Ср. *рудой — румяный — червленый — алый — кумачный — шарлаховый — пунцовый* и *красный*. Так цветовой синонимический ряд показывает сложность взаимоотношений родового и видового понятий, зависимость лингвистических классификаций от экстралингвистических факторов — психологических, эстетических, исторических.

Книга, посвященная истории цветообозначений, в первую очередь адресована историкам языка, но она, безусловно, интересна и для психологов, и для искусствоведов, и для историков вообще, и, конечно, для специалистов по современному русскому языку. С этой последней позиции мы и стремились подойти к рецензируемой, нужной и интересной книге, чтобы еще раз подчеркнуть, опираясь на историю формирования цветообозначений — явления, казалось бы, частном, — некоторые общие закономерности развития лексики: 1) связь синхронии с диахронией, 2) обусловленность языковых процессов социальными и культурно-историческими факторами, 3) сложность и неоднозначность ассоциативных и синонимических связей в языке, 4) формирование цветообозначений в связи с формированием нормы литературного языка.

И еще несколько слов в заключение. В книге Н. Б. Бахилиной дан список принятых сокращений. Их расшифровка дает наглядное представление о количестве разнообразной литературы, которая послужила источником исследования (более 300 названий). Завершает книгу указатель цветообозначений, проанализированных автором. Он раскрывает содержание книги, делает ее удобным словарем-справочником, где на широком языковом и культурно-историческом фоне истолковано более 150 цветообозначений.

А. А. Брагина

⁶ См. об этом: А. Н. Веселовский, Из истории эпитета, в его кн. «Историческая поэтика», Л., 1940.

⁷ Р. А. Будагов, Закон многозначности слова, в его кн. «Человек и его язык», М., 1974, стр. 117 и сл.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

15 января 1976 г. в Институте русского языка АН СССР состоялись седьмые ежегодные чтения памяти академика Виктора Владимировича Виноградова. Во вступительном слове член-корр. АН СССР Ф. П. Филин осветил роль В. В. Виноградова в истории советского языкознания, особо отметив значение его грамматических исследований, оказавших большое и плодотворное влияние на все последующее развитие отечественной грамматической науки.

Чтения 1976 г. были посвящены семантическим аспектам в грамматике. В докладе Ю. С. Маслова (Ленинград) «Семантическая типология морфем» было рассмотрено соотношение собственно-семантических и служебно-семантических функций морфем и соотношение между значением морфемы и значением того целого, в состав которого она входит. Собственно-семантические функции наблюдаются там, где морфемы указывают на нечто, лежащее вне языка; служебно-семантические функции — там, где морфемы указывают на отношения между языковыми элементами или оформляют языковые единицы определенным образом, обеспечивающим их использование в составе единиц более высокого яруса. Выполняя служебно-семантические функции, морфемы несут внутрикодую информацию о синтагматических и парадигматических отношениях между элементами языка, о формальных классах этих элементов и т. п. Обычно одна и та же морфема обладает и собственно-семантическими и служебными функциями, но существуют и морфемы — носители только служебно-семантических функций.

Раскрывая второй параметр семантической типологии морфем, докладчик указал, что значения морфем могут: а) прямо входить в значение целого и отражаться в лексико-графическом толковании слов (*ручка* «маленькая рука»); б) превращаться в компоненты «внутренней формы» (*ручка двери*); в) полностью деактуализироваться (значение суффикса *-ат-* в слове *медвежатина*). В любом

случае, подчеркнул в заключение докладчик, морфемы с «ущербными» или чисто служебными значениями не следует исключать из числа морфем.

А. В. Бондарко (Ленинград) в докладе «Грамматические значения и речевой смысл» охарактеризовал два направления в исследовании грамматической семантики: «отвлеченно-понятийное», не учитывающее тонких различий в языковых значениях при тождестве смысла, и «конкретно-языковое», для которого характерно различение разных аспектов семантики. С позиций второго из указанных направлений, опирающегося на богатую грамматическую традицию, в том числе на труды В. В. Виноградова, основным предметом в области грамматической семантики являются категориальные грамматические значения и их речевые реализации. Категориальные значения докладчик определил как обладающие свойством обязательности инвариантные значения, присущие грамматическим классам и единицам. Они образуют ядро грамматической семантики, окруженное периферийной сферой некатегориальных значений. Объективированные категориальные значения следует отграничивать от конкретных и индивидуальных смыслов отдельных высказываний. Под речевым смыслом, указал докладчик, понимается передаваемое и воспринимаемое в речи содержание, основанное на связи и взаимодействии следующих компонентов: 1) эксплицитная языковая информация, вытекающая из взаимодействия и интеграции речевых реализаций языковых значений в данном тексте, выраженных формальными средствами; 2) имплицитная контекстуальная информация, вытекающая из отношения данного текста к более широкому контексту; 3) прагматическая информация, вытекающая из эмоциональных, образных и других стилистических элементов текста; 4) неязыковая информация — ситуативная и энциклопедическая.

От речевого смысла следует отличать план содержания текста — ту семантическую сферу, в которой реализуется рече-

вой аспект языковых значений. Различие «отвлеченно-понятийного» и «конкретно-языкового» подходов к грамматике было проиллюстрировано в докладе на примерах категории залога. По мнению автора, ориентация не только на понятийные единицы, но и на тонкие различия в языковых значениях при понятийном тождестве целесообразна и при универсально-типологическом анализе грамматических категорий.

В докладе Д. Н. Шмелева (Москва) «О семантике в грамматике» шла речь о различных аспектах синтаксического исследования в их связи с лексической и грамматической семантикой. Указав на необходимость избегать совмещения разных аспектов исследования синтаксиса современного русского языка, когда такое совмещение приводит к неопределенности устанавливаемых грамматических категорий, докладчик остановился на проблеме определения объема сказуемого. Не представляется оправданным расширение объема сказуемого за счет включения в него слов, относящихся к семантически неполным глаголам.

По мнению докладчика, следует учитывать в «формулах предложения» синтаксическую валентность образующих предложения слов, что и должно адекватно отразить его семантическую структуру. При определении структурных схем предложения существенны также порядок слов и фразовое ударение. В докладе также был рассмотрен вопрос о семантическом членении предложения и вопрос о том, что следует понимать под «глубинной структурой» предложения. Так, докладчик считает, что предложения типа *Ветер качнул лодку* и *Ветром качнула лодку* отражают различные «глубинные структуры».

Н. Д. Арутюнова (Москва) прочитала доклад на тему «О семантической области предикатов, сочетающихся с именами чувств». Указывая в заглавии доклада проблема имеет два аспекта: лексический и собственно семантический. Основная часть доклада была посвящена первому из названных аспектов. Поскольку внутренний мир человека моделируется по образцу материального мира, основным источником психологической лексики является лексика «физическая», используемая в данном случае во вторичных, метафорических смыслах. Отбор предикатов для сообщений о психической сфере обычно диктуется не одним образом, а целыми рядами образных представлений. При этом общее предикатное поле каждого имени формируется путем объединения противоречащих друг другу с точки зрения материального мира образов.

Этим определяются следующие особенности построения сообщений о компонентах психики: 1) скрещивание метафор, контаминация; 2) несвободная соче-

таемость слов; 3) развитие синонимических рядов, берущих начало в разных образных представлениях одного содержания. Переходя к семантическому аспекту проблемы, докладчик отметил, что атрибуты, обслуживающие имена чувств и восходящие к метафоре, стремятся приобрести одно из значений области предикатов, субъектом которых являются событийные имена.

В докладе И. Н. Кручининной (Москва) «Синтаксико-семантическое распределение подчинительных союзов и особенности системной организации сложного предложения» был рассмотрен вопрос о правомерности функционального подхода, требующего взаимного соотношения и взаимного противопоставления изучаемых объектов, к синтаксису сложного предложения. Установление парадигматических связей конструкций сложного предложения предполагает: 1) изучение функционального тождества организующих сложное предложение союзов и союзов слов, их позиционного и свободного варьирования; 2) определение соотносительных различительных признаков союзов и союзов слов (выявление оппозиций в союзной сфере).

Одной из характерных особенностей системной организации сложного предложения является существование в сфере сложного предложения наряду с бинарными небинарными (асимметрически-симметрическими) оппозиций. В докладе было показано, что недостаточное внимание к функциональным связям союзов приводит к таким ошибкам описания, как неразграничение инвариантных и вариативных (самостоятельных и заместительных) значений и отождествление в одном союзе двух самостоятельных союзов, а это неизбежно влечет за собой неразграничение типов и подтипов самих сложных предложений.

Изучение парадигматических связей конструкций сложного предложения может существенным образом уточнить объем, границы и взаимные связи типов сложного предложения и исключить возможность объединения в пределах одного типа семантически разнородных конструкций. В заключение докладчик подчеркнул, что функциональный подход к синтаксису не противоречит традициям русского классического языкознания.

Доклад М. В. Ляпон (Москва) «О смысловой структуре связующих средств в синтаксисе» был посвящен вопросу о категориальной специфике, семантической природе и собственно знаковой сущности реляционных средств синтаксического уровня. Слова реляционной категории (релятивы) рассматриваются как целостный комплекс, категориальная общность элементов которого обусловлена оценочной основой их смысловой структуры и формальной унификацией. Вопрос о смысловой сущности

релятива докладчик связывает с проблемой лингвистической релевантности категории оценки, предлагая отличать паралингвистическую ступень релевантности этого понятия от собственно лингвистической. Узколингвистический подход к оценочным средствам синтаксического уровня предполагает, по мнению докладчика, их формальную унификацию в рамках конкретного языка.

Уточняя сущность оценочной функции релятива, докладчик выделил три компонента оценочной ситуации: 1) оценивающий субъект (непосредственный источник информации); 2) объект, подвергаемый оценке; 3) оценочное средство, необходимым смысловым элементом которого является критерий, или аспект квалификации. Для выявления семантического потенциала союза, по мнению автора, следует рассматривать его как компонент текста, сигнализирующий об оценочной ситуации. На конкретных примерах, иллюстрирующих разные условия реализации релятивов *если* и *хотя*, было показано, что типичный подчинительный союз выступает в качестве оценочного средства с двумя объектами оценки. При таком подходе подчинительный союз предстает как релятив, который синхронно реализует свойства союза и свойства частицы, а его семантика выступает как синтез двух смысловых начал, формируемых на оценочной основе. Аргументируя преимущество лексико-синтаксического взгляда на реляционные средства в синтаксисе, докладчик подчеркнул, что истоки такого подхода обнаруживаются в грамматической концепции акад. В. В. Виноградова.

В докладе «О роли семантики в актуальном членении» Г. А. Золотова (Москва) связала некоторые дискуссионные вопросы актуального членения (функциональной перспективы) предложения с проблемой соотношения синтаксиса и семантики. Докладчик показал роль категориальной семантики компонентов предложения, способов их выражения и характера синтаксической связи между ними при определении исходной структуры «коммуникативных парадигм» и ее «актуальных» интенций. Актуальное членение в понимании автора доклада предстает как производное от двух величин — семантико-синтаксической структуры предложения и контекста, или конситуации.

А. С. Белоусова (Москва)

*

17 февраля 1976 г. в ЛО Ин-та языкознания АН СССР состоялись V чтения, посвященные памяти академика Виктора Максимовича Жирмунского. Открывая чтения, С. Д. Кацнельсон (Ленинград) отметил методологическое значение фун-

даментальных трудов В. М. Жирмунского в области полевой и исторической диалектологии немецкого языка, а также социальной диалектологии, его инициативу в создании Диалектологического атласа тюркских языков СССР. Это направление научной деятельности В. М. Жирмунского и его конкретные наблюдения над закономерностями функционирования территориальных и социальных вариантов языка были отражены в основной группе докладов, прослушанных на чтениях.

А. В. Десницкая (Ленинград) в докладе «В. М. Жирмунский о социальном и историческом аспекте диалектологических исследований» подчеркнула, что в результате глубокого анализа достижений и недостатков немецкой диалектографической школы В. М. Жирмунский пришел к пониманию единства языковых процессов во взаимообусловленности внутренней и внешней истории языка. Сформулированные им выводы о сохранении секундарных и утрате примарных фонетических признаков в процесе конвергенции диалектов и литературного языка или образования полудиалектов, обращение к диалектным данным в исследованиях по истории языка — результаты комплексного социально-исторического подхода к лингвистическим фактам.

Л. В. Зиндер и Т. В. Строева (Ленинград) в совместном докладе «В. М. Жирмунский как полевой диалектолог» показали развитие лингвистических интересов ученого от традиционного описания диалектов в ранних работах к проблемным вопросам социальной диалектологии и истории языка, поделились воспоминаниями о совместном с В. М. Жирмунским анкетировании среди носителей островных немецких говоров.

Доклад С. А. Мирнова (Москва) «Примарные и секундарные признаки и стилистическая дифференциация в диалектах голландского языка», в котором рассматривалась функциональная эволюция голландского просторечия начиная с XVII в., продемонстрировал возможность использования законов, открытых В. М. Жирмунским на материале немецких говоров, для объяснения процессов складывания литературной нормы национального языка.

В. П. Берков (Ленинград) в докладе «Голландский язык в Бельгии (проблема „фламандского языка“)» рассмотрел функциональный статус фламандского, голландского и валлонского языков в контексте современной лингвистической ситуации и в процессе исторической дифференциации, а также дальнейшего сближения голландского и «фламандского».

Лингвистической ситуации в зоне романо-германских контактов был посвящен доклад С. В. Смирницкой (Ленинград) «Романо-германская контактная зона в трудах В. М. Жирмунского».

Случаи контактного развития фонетических явлений на примере северноитальянских и ретороманских говоров и южнобаварских (горноалеманских и южнобаварских) были приведены в докладе Н. Л. Су х а ч е в а (Ленинград) «К проблеме палатализации k^{+a} - в ретороманской зоне». Сопоставление фонетических систем некоторых архаичных швейцарских говоров немецкого языка провела Л. Э. Н а й д и ч (Ленинград) («Редукция безударных приставок в немецких диалектах»). Процессы вокализации германского r в позиции после гласного рассмотрел Ю. А. К л е й н е р (Ленинград) («Некоторые проблемы развития r в германских языках»).

В докладе М. А. Б о р о д и н о й и Н. Г. К у з ь м и ч (Ленинград) «Диалектология, диалектография, история языка и ландшафтоведение (к развитию взглядов В. М. Жирмунского)» была сделана попытка проследить становление отдельных этапов лингвистических взглядов В. М. Жирмунского. Было отмечено, что в последние десятилетия в связи с интенсивным развитием лингвогеографического направления в советском языкознании значительно повысился интерес к тому кругу вопросов, с которых В. М. Жирмунский начинал свою деятельность диалектолога.

Ряд докладов был посвящен системным отношениям в языке на лексическом и синтаксическом уровнях. Ю. С. М а с л о в (Ленинград) («Немецкий перфект в диахронии и синхронии»), привлекая для сравнения данные хроник XV в., показал, что в синхронии современного немецкого языка сохраняются в модифицированном виде остатки былой семантики перфектных форм. Это наблюдается как в дистрибуции сложного и

простого перфекта в текстах, так и в относительной частоте употребления сложного и простого прошедшего, образованного от предельных и неопределенных глаголов. В. М. П а в л о в (Ленинград) в докладе «Номинализация глаголов и глагольных словосочетаний в ранненовонемецком языке» выявил этапы эволюции промежуточной функции отглагольных имен и рассмотрел средства ее грамматического оформления. На значение процесса номинализации в истории немецкого языка обращал внимание В. М. Жирмунский. В. А. М и х а й л о в (Ленинград) («Качественные прилагательные и антонимия») рассмотрел характер лексико-семантических отношений дополнительности, которые образуются в результате противоположения признаков различной интенсивности типа «больше — меньше», и место антонимии среди отношений, основанных на дополнительности.

Г. Ф. Б л а г о в а (Москва) в докладе «К методике изучения морфологии средневековых тюркских поэтических текстов» показала возможность соотнесения средневековых текстологических данных с современными диалектными данными для реконструкции промежуточных звеньев в развитии исследуемых языковых явлений. Доклад М. Д. С и м о н о в а (Улан-Удэ) «Значение картографирования для реконструкции праэвенкийского» показал необходимость последовательной фиксации исчезающих в современной лингвистической ситуации диалектных данных, использование которых остается важным условием для проникновения в историю ряда младописьменных языков.

Н. Л. Су х а ч е в (Ленинград)

CONTENTS

Articles: R. A. B u d a g o v (Moscow). Remarks on the Russian language in the modern world; **Discussions:** A. D. S v e j c e r (Moscow). Philosophical foundations of American sociolinguistics; V. I. M a k s i m o v (Leningrad). Grammatical theory and the practice of language study; R. K. P o t a p o v a (Moscow). Temporal patterns of speech in Germanic languages; I. R. G a l p e r i n (Moscow). Dependence of the sentence on the context; **Materials and notes:** N. S. G r i n b a u m (Kišinev). The dialect basis of the language of ancient Greek choral lyrics; A. A. J u l d a š e v (Moscow). Lexicalisation of Turkic grammatical forms as subject of derivational morphology and lexicology; M. Y. R a p o p o r t (Moscow). The vowel-shifts in the history of the Dutch language; Y. P. K o s t j u č e n k o (Leningrad). The role of the agents in the passive voice and the instrumental case in the Slavonic languages; G. N. A k i m o v a (Leningrad). Some features of the syntax of poetry; O. D. K u z n e c o v a (Leningrad). On the causes of lexicalisation in Russian dialects; A. I. S o l o g u b (Moscow). Declension of feminine nouns in the singular in Russian dialects; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: R. A. B u d a g o v (Moscou). Considérations sur la langue russe dans le monde moderne; **Discussions:** A. D. S v e j c e r (Moscou). Les bases philosophiques de la sociolinguistique américaine; V. I. M a k s i m o v (Leningrad). La théorie grammaticale et l'étude pratique de la langue; R. K. P o t a p o v a (Moscou). Sur la typologie de l'organisation temporelle du discours dans les langues germaniques; I. R. G a l p e r i n (Moscou). Sur la dépendance de la proposition du contexte; **Matériaux et notices:** N. S. G r i n b a u m (Kišinev). Sur les origines dialectales de la langue des chants chorales lyriques en grec ancien; A. A. J u l d a š e v (Moscou). Lexicalisation des formes grammaticales turques comme objet des études morphologiques derivationnelles et lexicologiques; M. J. R a p o p o r t (Moscou). Mutations vocaliques dans l'histoire du néerlandais; J. P. K o s t j u č e n k o (Leningrad). La notion de l'agent de la voix passive et le cas instrumental dans les langues slaves; G. N. A k i m o v a (Leningrad). Quelques particularités de la syntaxe de la poésie; O. D. K u z n e c o v a (Leningrad). Sur les causes de la lexicalisation dans les parlers russes; A. I. S o l o g u b (Moscou). Sur la déclinaison des noms féminins singuliers dans les parlers russes. **Comptes-rendus; Vie scientifique.**

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев,
Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора),
Б. А. Серебrenников, В. М. Солнцез (зам. главного редактора),
О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103031 Москва, К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55
Зав. редакцией *И. В. Соболева*

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 29/X-1976 г. Т-22427 Подписано к печати 29/XII-1976 г. Тираж 7215 экз.
Зак 1319 Формат бумаги 70×108^{1/8} Усл. печ. л. 14 Бум. л. 5 Уч.-изд. л. 15,6

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам высылаться не будет.

2. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

3. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 10 стр. машинописи.

4. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

5. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

6. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

7. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

8. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

9. Непринятые рукописи, как правило, не возвращаются.

10. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

11. Хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни. Объем хроникальной заметки — 3—5 стр.